УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА имени В. И. ВЕРНАДСКОГО

ФИЛОСОФИЯ
ПОЛИТОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Научный журнал
Том 3 (69). № 4

Журнал «Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского» является историческим правопреемником журнала «Ученые записки Таврического университета», который издается с 1918 г.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
Симферополь, 2017

ISSN 2413-1695
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ФС 77 – 61823
от 18 мая 2015 года

Учредитель – ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Регистрирующий орган – Роскомнадзор.

Печатается по решению Ученого совета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, протокол № 1 от 30 августа 2017 г.

Главный редактор – Шоркин Алексей Давыдович, д-р филос. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)

Редколлегия:

Берестовская Д. С.	д-р филос. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Вигель Н. Л.	д-р филос. н., проф., РГМУ (Ростов-на-Дону)
Габриелян О. А.	д-р филос. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Грива О. А.	д-р филос. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Кузьмин П. В.	д-р полит. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Лазарев Ф. В.	д-р филос. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Морозова Е. В.	д-р филос. н., проф., ГПГУ (Краснодар)
Николко В. Н.	д-р филос. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Романова А. П.	д-р филос. н., проф., Гуманитарный институт, АГУ (Астрахань)
Рыскельдиева Л. Т.	д-р филос. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Темненко Г. М.	д-р филол. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Фёдорова М. М.	д-р полит. н., Институт философии РАН (Москва)
Юрченко С. В.	д-р полит. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)

Ответственный секретарь: Иванова Р. А.
Редактор электронной версии: Костромицкая А. В.
Техническая корректура: Кузьменко Н. С.
Ответственные за выпуск:

Гросфельд Е. В.	канд. полит. н., доц., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Кузьмин Н. Н.	канд. филос. н., доц., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Зарапин О. В.	канд. филос. н., доц., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Сафонова Н. В.	канд. филос. н., доц., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Темненко Г. М.	д-р филол. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)
Цветков А. П.	канд. филос. н., проф., КФУ им. В. И. Вернадского (Симферополь)

Контакты редакционного совета серии:

Тел.: +7-978-736-7713 Факс: +7 (3652) 54-52-46
E-mail: raisaivanova2013@yandex.ru
Сайт: http://sn-philcultpol.cfuv.ru/

Журнал включен в перечень ВАК под № 2169 от 20.07.17.

Подписано в печать: 25.12.2017
Формат 70х100 1/16. 16.25 усл. п. л. Заказ № НП/144.
Тираж 50 экземпляров (бесплатно)
Дата выхода в свет 05.03.2018
Отпечатано в управлении редакционно-издательской деятельности
КФУ имени В. И. Вернадского
295051, г. Симферополь, бул. Ленина, 5/7

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 3–14.

УДК:316.752

ОБ ОНТОЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ФЕНОМЕНА ПРОШЛОГО И ПУТЯХ ЕГО ОСВОЕНИЯ

Антипов Г. А.

Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск, Российская Федерация

E-mail: Dr-eji2@yandex.ru

Обычно под историей понимают науку о прошлом, соответственно, все, что маркируется посредством понятия «прошлое», относят к её компетенции. В данном качестве могут фигурировать архаическое знание, религия, философия, идеология, общенаучное и обыденное знание. Размытым, неопределённым оказывается гносеологический статус и самой историографии, если трактовать её как науку в собственном смысле. Нет ясности в том, как, каким образом знание о прошлом включается в механизмы социального функционирования и развития, какова роль в них исторической науки именно как формы научного знания. Вопросы этого рода приобрели крайнюю степень актуализации в современных условиях. Об этом можно судить хотя бы по тому, что тема прошлого, истории едва ли не каждодневно фигурирует во всех видах СМИ. Яростные споры возникают по поводу оценки деятельности тех или иных персонажей даже самого отдаленного прошлого, по поводу трактовки событий целых исторических периодов. Особенно болезненные реакции вызывают попытки «переписывания» истории, как это чаще всего воспринимается и обозначается в общественном сознании. Совершенно явственно история становится адресатом политики, ее, так сказать, фигурантом. Появилось даже понятие «политика истории». Говорят об «альянсе истории и власти». Однако, если воспринимать историю в качестве собственно науки, подобные обстоятельства не могут не затрагивать некоторых базисных оснований научного познания вообще и их статуса применительно к историческому познанию. В статье предпринимается попытка анализа социокультурного и теоретико-познавательного контекстов, обусловливающих генезис подобных коллизий, попытка наметить пути их адекватной интерпретации.

Ключевые слова: историческая память, мемориальная практика, историография, наука, прошлое, политика, ценности, самоидентификация.

«Прошлое толкует нас» – назвал увидевший свет сборник своих статей, обратим внимание, в 1991 году Эрих Юрьевич Соловьев. Время, в которое адресована аналитика статей, – от «оттепели» до перестройки, а ее основной посыл можно сформулировать так: прошлое есть ключ к пониманию настоящего. И сейчас, очевидно, звучит подобное отнюдь не тривиально, что же говорить об эпохе, получившей название «застоя». Там свет в конце тоннеля полагали в ракурсе светлого будущего. Правда, это уже не то экстатически воспринимаемое будущее, доминировавшее в сознании общества непосредственно в развороте глобальной социальной катастрофы, ошибочно именуемой русской революцией, глобальной

катастрофы, приведшей к разрушению большинства социальных институтов и откату общества к структурам рабовладения и феодализма (ГУЛАГ, колхозы, сталинская азиатская деспотия).

Итак, «свет из прошлого» должен делать видимым то, что люди, пребывающие в настоящем, часто не видят или не хотят видеть. Тогда вопрос: как должна быть устроена «оптика», расширяющая подобным образом возможности ориентации в настоящем? Следует ли оттолкнуться от цицероновского historia magistra vitae, что в полном звучании выглядит так: «история – свидетель времён, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины»?

Позиция Соловьева выглядит так: «Люди минувших эпох живы для нас благодаря особого рода общественной практике – мемориальной. Она обеспечивает постоянное присутствие прошлого в актуальном сознании и препятствует тому, чтобы мы его подменяли или сочиняли» [7, с. 3–4].

Итак, история учит: «Стагнация, кризис, декаданс, реформа, реформация, революция, нашествие, разгром, пленение и т. д. – все это события, поддающиеся типологизации. У них есть своя стихийная логика, свои типы альтернатив, свои типы личной ответственности» [7, с. 4]. Правда, Соловьевым делается характерная оговорка, что типизации поддаются только ситуации морального решения, но не приёмы целенаправленной деятельности по управлению подобными ситуациями.

Но что, собственно, в этом «деятельностном» толковании исторического процесса должен содержательно обозначать концепт «мемориальной практики»? Вообще практика – специфически человеческая целеполагающая чувственно-предметная деятельность, имеющая своим содержанием освоение и преобразование природных и социальных объектов. В таком случае напрашивается вопрос об «объекте» мемориальной практики. Видимо, таковым следует считать прошлое. Образцы мемориальной практики, когда прошлое начинает толковать нашу жизнь, Соловьёв находит в работах Н. Я. Эйдельмана. Мемориальная практика, её основной вектор сводятся здесь к поиску в прошлом аналогов нашим сегодняшним ситуациям с целью использования присущих им дискурсов и ценностных иерархий в интерпретациях современных событий.

Вот как выглядела мемориальная практика в восприятии самого Эйдельмана. «В “войне за прошлое”, – находим у него, – сражение велось буквально за все утекшие века российской жизни: западники и славянофилы толковали о варяжских и киевских князьях; декабристов волновали новгородские свободы; Карамзин, публикуя том об Иване Грозном, одновременно вписывал его в историю русской общественной мысли XIX столетия, так же как и Пушкин, завершая «Бориса Годунова» [10, с. 50].

Конечно, война, сражения – здесь метафоры, но все же невольно вспоминается приписываемое М. Н. Покровскому motto: «история есть политика, опрокинутая в прошлое». Сам он, правда, столкнувшись с определённой оппозицией подобному толкованию ментальной ориентации историографии, слабо возражал, что он, мол, имел в виду исключительно «буржуазных» историков вроде Чичерина, Соловьева и т. д. Не помогло. В дальнейшем Покровский подвергся посмертному критическому бичеванию. Книги его изымались из библиотек, учебники по истории

переписывались в соответствии с якобы новой исторической концепцией. Разгром Покровского и его «школы» был представлен пухлым двухтомником «Против исторической концепции М. Н. Покровского».

В знаменитом романе Оруэлла «1984» Старший Брат выступает не только субъектом тотального управления обществом ангсоца, но и его прошлым, его историей. Изменялось, переписывалось содержание некогда опубликованных газетных статей, книг, журналов, брошюр, фильмов, фонограмм, документов и т. п. Прошлое подгонялось под настоящее: историю как старый пергамент выскабливали начисто и писали заново – столько раз, сколько нужно. Каждый, кто помнит или знает практику социалистического строительства в обществе, так сказать, совсоца узнает в нарисованной Оруэллом картине вполне реалистическое, лишь гротесково преувеличенное по законам литературного жанра, отражение упомянутой практики.

Но вот что примечательно на сегодня. Упомянутые войны и сражения за прошлое перекочевали из верхних слоев культуры в массовое сознание, во многом стали доминантами всего его пейзажа. Газетные заголовки типа «Войн за прошлое» в современных СМИ – обычный прецедент. Более того, тема «политики, опрокинутой в прошлое», в созвучных формулировках «исторической политики», «политики памяти» с 70-х гг. прошлого века становится чуть ли не доминантой западной историографии.

Тема эта разворачивается в нескольких, существенно разных контекстах. Во-первых, в плане отношения памяти, истории и власти. Вот репрезентативное на этот счет суждение Яна Ассмана: «Альянс власти и воспоминания имеет и проспективную сторону. Властители накладывают руку не только на прошлое, но и на будущее, они хотят, чтобы о них помнили, своими деяниями созидают себе памятники, заботятся о том, чтобы эти деяния рассказывались, воспевались, увековечивались в монументах или, по крайней мере, документировались в архивах. Власть “легитимируется ретроспективно и увековечивается проспективно”» [3, с. 75]. Таким образом, уже на заре государственности прошлое, историческая память становятся адресатом социального менеджмента. Прошлым делаются попытки управлять. Но как это возможно? В подобных ситуациях методологический анализ должен войти в контекст отношения знания к реальности, так или иначе находящей в нем выражение. В контексте же нашего обсуждения – это отношение знания, науки и других ментальных форм к прошлому.

Вопрос поставим так: откуда есть пошла история (предикат науки оставим пока за кадром). Для европейской цивилизации ответ очевиден: Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы происшедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом.

Итак, начало всему – Histories Apodeixis: буквально изложение сведений, полученных путм расспросов. Ясно, что в качестве собственно познавательной акции данную форму воспринимать нельзя. Тогда как квалифицировать произведение Pater historiae? По всему, полагаю, наиболее подходящей в данном случае является «практика». Подобное толкование вроде бы коррелирует с

имеющими сейчас место трактовками исторического знания в модальности конструирования. Утверждается, к примеру, что «любое знание о прошлой социальной реальности конструируют эту реальность» [8, с. 7].

Трудно не усмотреть в этом сближения с общей теоретико-познавательной традицией, идущей еще от Аристотеля. Согласно Стагириту науки (философия) подразделяются на теоретические, практические и творческие. Целью первых является «знание и понимание ради самого знания и понимания», т. е. истина и ничего более. Практическая философия имеет своей целью действие. Таковы, например, этика и политика. Цель этики – достижение справедливости, а политики – добиваться умения граждан повиноваться властям и законам. Творческие науки (философия) направлены на создание чего-либо ранее не существовавшего, что приносит либо пользу, либо наслаждение. Показательно, что в последний разряд попадали у Аристотеля поэзия, медицина, ваяние и т. д. – все, что у греков именовалось techne.

Вот это греческое techne и адресует нас в то «измерение» эпистемологии, в аспекте которого можно получить вменяемую интерпретацию методологического конструктивизма. В философской антропологии данный план нашел выражение в формах homo faber и animal laborans. Деятельность познания (там, где продуцируется знание) предполагает всегда наличие предмета, отчуждённого, так или иначе, от познающего субъекта, и продукт – модель, репрезентирующую некие характеристики данного предмета. Предикат «объект», фигурирующий обычно в постановках исследовательских задач, как раз и обуславливает указанное дистанцирование познающего от познаваемого. Сам же предмет не претерпевает никаких изменений, никакого перестроения. Целенаправленное изменение характеристик предмета составляет существо конструктивистского подхода и основное отличие его от, собственно, познавательного.

Принципиальный вопрос, требующий ответа в связи с этим, – вопрос о бытии прошлого.

Наиболее внятную постановку и внятное решение находим у Бл. Августина: «Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен, прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего это память; настоящее настоящего – его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание. Если мне позволено будет говорить так, то я согласен, что есть три времени; признаю, что их три. Пусть даже говорят, как принято, хотя это неправильно, что есть три времени: прошедшее настоящее и будущее: пусть говорят. Не об этом сейчас моя забота, не спорю с этим и не возражаю; пусть только люди понимают то, что они говорят, и знают, что ни будущего нет, ни прошлого» [1, с. 170].

Итак, прошлого не существует, поскольку оно есть память. Но память-то существует? Да, конечно, однако исключительно в нашей душе. Не так, как мир материальных вещей, как объективная реальность, данная нам в ощущениях. По

Августину и память, и время, а значит, и прошлое стационированы исключительно в душе, то есть в индивидуальном сознании. Как он сам шутливо замечает, «память – это как бы желудок души».

Однако в его трактатах имплицитно присутствует, по крайней мере намечается, и существенно иная трактовка всех упомянутых категорий. Там фигурируют такие реалии, как общество (состоящее из индивидов), прошедшие века, эпохи (эоны), сменяющие друг друга помимо свободной воли человека, не завися от функционирования индивидуальной памяти. Вообще, прорисовывается процессуальное «историческое» видение жизни человечества. На этом основании в Августине часто усматривают основателя философии истории, который первым построил глобальную историю человечества. Он говорит, что люди, к примеру, «при кратковременности земной жизни своей не обладают способностью проникать в дух предшествующих веков и других народов и сопоставлять этот дух с духом настоящего времени, которое переживают сами. Их близорукий взгляд может видеть только то, что в известном обществе, или в известный день, или в известной семье прилично каждому члену, или моменту, или лицу, – но не далее» [1, с. 36].

Может показаться странным, но в современном эпистемологическом дискурсе встречаются суждения, смысл которых в том, что статусом реальности обладает только прошлое. «На самом деле, – писал Л. Гумилев, – настоящее – только момент, мгновенно становящийся прошлым. Будущего нет, ибо не совершены поступки, определяющие те, или иные последствия, и неизвестно, будут ли совершены. Грядущее можно рассчитать только статистически, с допуском, лишающим расчет практической ценности. А прошлое существует; и все, что существует, – прошлое, так как любое свершение тут же становится прошлым. Вот почему история изучает единственную реальность, существующую вне нас и помимо нас» [4, с. 309–310].

Согласно Августину, прошлое нельзя наблюдать, поэтому оно не существует. Только настоящее существует, ибо дано в непосредственном созерцании. По Гумилеву настоящего нет, поскольку оно есть процесс постоянных изменений, а изменения как такового наблюдать нельзя. Напоминает Кратила, который утверждал, что ни о чем нельзя утверждать, ибо оно, в силу непрерывной текучести, успевает измениться за время нашего произношения утверждения. Но память останавливает этот процесс, демонстрирует мир в качестве чего-то «ставшего». И опять-таки мы сталкиваемся с двусмысленностью трактовки отношения мышления, познания к своему предмету.

Гумилев не замечал подобной двусмысленности, что и приводило его к парадоксальным, по видимости, выводам. «Для тех, кто умер, – писал он, – будь то микроб или баобаб, человек или зародыш, время исчезает… Память – преграда энтропии уже не бытия, а сознания. Именно память делит время на прошлое, настоящее и будущее, из которых реально только прошлое» [4, с. 309].

Вообще, время есть мера движения. Физическое время – мера изменений в природном мире, соответственно мерой изменений в социальном мире выступает историческое время. Физическое время подразделяет процессы изменений в физическом мире через соотнесение их, допустим, с движением стрелки по кругу циферблата или Солнца по небосклону и т. п.

Мерой исторического времени могли служить период царствования монарха, воспроизводство некоторого социально-политического порядка и т. п. Прекращение данного цикла (так сказать его смерть) означало для него и исчезновение времени. Можно сказать, что мы имеем дело с аналогом, правда отчётливо не сформулированным, для истории принципа относительности Галилея: «Наша Земля в действительности движется, хотя мы этого не замечаем, воспринимая движение только в сопоставлении с чем-то неподвижным». Аналогичным образом мы воспринимаем настоящее в этом его качестве как нечто существующее относительно исторической памяти, которая, в свою очередь, обеспечивает существование прошлого.

Можно констатировать наличие по крайне мере трех направлений «менеджмента» исторической памяти. Об одном из них выше уже говорилось. Это отношение политики, памяти и власти.

Вторая линия аналитики исторической памяти в современном культурологическом дискурсе представлена обращением к проблематике идентификации как «я-идентичности», так и «мы-идентичности». В настоящих условиях наибольшее внимание привлекают процессы формирования национальных идентичностей, которые основываются на представлении о нации как о воображаемой общности.

Третий разворот исследований, имеющих своим ориентиром историческую память, имеет в виду анализ природы, сущности, механизмов функционирования и изменения собственно исторической памяти, так сказать, эффектов воспоминания и забвения. Здесь подчас встречаются сочувственные ссылки на Ницше, полагавшего, что человеку по его природе скорее свойственно забывать, чем вспоминать. Но тогда вопрос: зачем вообще обращаться к прошлому, к воспоминаниям? Эти исследования так или иначе восходят к работам французского социолога Мориса Хальбвакса, эксплицировавшего в период между мировыми войнами феномен коллективной памяти (memoire collective). Ян Ассман включает аспект исторической памяти в социокультурное образование, именуемое им «коннективной структурой». Он поясняет, что эта структура связывает «вчера и сегодня, формируя и удерживая в живой памяти существенные воспоминания и опыт, включая в сдвигающийся вперёд горизонт настоящего образы и истории иного времени и порождая тем самым надежды и память. Этот аспект культуры лежит в основе мифических и исторических рассказов» [3, с. 15–16].

К обозначенному примыкает ещё одна манифестация темы исторической памяти – это ее отношение и взаимосвязь с историей и историографией. И здесь обнаруживаются нюансы, явно выбивающиеся из традиционных методологических моделей историографии. Прежде всего, тенденция к отождествлению истории (историографии) с памятью. К примеру, П. Хаттон постоянно использует довольно странное, на первый взгляд, понятие «память/история». В тупик, в первом приближении, может поставить и название его основной работы: «История как искусство памяти» [9].

Конечно, существует мнение, что история сродни искусству. Как говорят, это синтез теоретического и художественно-образного мышления. При более

внимательном прочтении книги Хаттона выясняется, что его «искусство» восходит к смыслу древнегреческого techne. Это тоже искусство, но не в нашем современном смысле слова. Имеется в виду искусность, мастерство. В классификации Аристотеля, как выше было уже отмечено, данная область человеческого бытия отождествляется с «творчеством» и составляет предмет «наук» творческих.

Показательно, что в начале всей «мемориальной» традиции в историографии оказались исследования техник запоминания, использовавшихся риторами Ренессанса. Но если принимать хаттоновскую трактовку «истории/памяти», то уже с позиций классификации знания по Аристотелю не может не возникнуть вопроса о гносеологическом статусе этой самой «истории/памяти».

Чтобы разобраться с этими и многими другими попутно возникающими вопросами, нужно поместить их анализ в трехмерное методологическое пространство. Во-первых, в плоскость отношения категорий «память – прошлое», во-вторых, «память – история» (социум), в третьих, «память – историография» (историческое познание).

Первую попытку такого рода предпринял в свое время Ницше в эссе «О пользе и вреде истории для жизни» [5]. Главный тезис Ницше: «история должна служить жизни. Но жизни вредит как избыток, так и недостаток истории… История принадлежит живущему в трояком отношении: как существу деятельному и стремящемуся, как существу страждущему и нуждающемуся в освобождении. Этой тройственности отношений соответствует тройственность родов истории, поскольку можно различать монументальный, антикварный и критический род истории» [5, с. 18].

Жизнь – первичное, иррациональное, «темное» начало бытия, сила, замыкающаяся на самое себя. Смерть и рождение (а в общем смысле – гераклитовское panta rhei) – вот ее основная характеристика, источник трагизма и несправедливости человеческого мира. Цветение жизни требует от человека постоянного изменения мира, в котором он живет, и самого себя. Но всякое изменение означает разрушение устоявшихся форм жизнедеятельности и вместе с тем творчества ее новых форм. В свою очередь, личность по своим свойствам, по своим мотивациям должна соответствовать велениям жизни. В конечном счете Ницше апеллирует к личностному аспекту, к формированию гармонически развитой личности.

Совершенно очевиден один из смыслов понятия «история», как его употребляет Ницше: история – процесс жизнедеятельности человека и его изменения во времени. Но что он имеет в виду, говоря о «тройственности родов истории»? Явно не историографию как науку в позитивистском смысле. Это не формы научного знания с точки зрения самых общих критериев, которые к таковым предъявляются, например, в социологии или экономике. Но вот к тому виду историографии, отцом которой принимается Геродот, смысловой мостик прокладывается. И единственное, в чем Ницше мог бы упрекнуть Pater historiae, состоит в том, что из «троицы» видов истории Histories Apodeixis сводится исключительно к «монументальному роду истории».

Монументальная история – это собрание прецедентов великих деяний великих людей. Жизнь нуждается в «услугах истории», и эти услуги заключаются, прежде всего, в том, что дает отдельным людям и целым обществам образцы преодоления, казалось бы, непреодолимого, «возможного невозможного».

Опять-таки возникает вопрос, более того, он настоятельно напрашивается: какова теоретико-познавательная природа феномена, именуемого Ницше историей, каков механизм влияния данного феномена на жизнь, о чем он столь много рассуждает и чего прямо-таки требует, дабы жизнь не остановилась? Очевидно, снова подчеркнем, речь не может идти об историографии в общепринятом смысле, истории как науке о прошлом.

Наиболее подходящая категория, позволяющая квалифицировать рассматриваемый феномен, – мемориальная практика. Историческая память – ее адресат. Способ ее существования быть коллективной памятью. Мемориальная практика представляет собой целенаправленную деятельность по перестройке или формированию фрагментов исторической памяти. В контексте исторической науки, исторического познания фрагменты исторической памяти («памятники») служат средствами познания. Однако собственно научные формы историографии появляются лишь в XX веке. Лишь об элементах научности в общей модальности мемориальной практики, форму которой историография сохраняет на продолжении двух с половиной тысяч лет со времён Геродота, есть основания говорить.

О наличии таковых говорил уже Аристотель. Вот как это выглядело: «Историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозою (ведь и Геродота можно переложить в стихи, но сочинение его все равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), – нет, различаются они тем, что один говорит о то, что было, а другой – о том, что могло бы быть» [2, с. 655]. Движение в подобной ментальности в историографии привело к формированию источниковедения, «критики источников». Реализация подобных процедур только и позволяет обрести критерии для демаркации того, что было на самом деле, от того, что только могло бы быть.

Данные критерии стали утверждаться в европейской культуре с конца XVIII века, обретя, как часто считается, репрезентацию в суждении знаменитого прусского историка XIX века Леопольда фон Ранке: «История возложила на себя задачу судить о прошлом, давать уроки настоящему на благо будущих веков. На эти высокие цели данная работа не претендует. Ее задача – лишь показать, как всё происходило на самом деле (wie es eigentlich gewesen)».

Сказанное подчас служит поводом называть Ранке «позитивистом». Но если мы имеем здесь дело с позитивизмом, то вовсе не в контовском духе. Подлинная история, как говорил он, предполагает соединение методического исследования с философским воззрением и художественным воспроизведением. Ясно, что подобного Конт и на дух не вынес бы. Тогда какая же «история» является адресатом ранкеанского отсыла?

Ответ: историческая память как совокупность складывающихся в культуре представлений о прошлом данного социума. Это именно представления, а не «знания», как они понимаются в научном дискурсе. И именно сюда смотрит

Фридрих Ницше в своем знаменитом эссе, много раз подчёркивая свое отвращение к научной историографии. А в методологической традиции неокантианства отождествление историографии с исторической памятью привело к довольно грубой аберрации разграничения «наук о природе» и «наук о культуре». Якобы последние, прежде всего история, отличаются от первых принципом «индивидуализирующего образования понятий». Налицо логическая аберрация, ибо по определению всякое понятие есть результат абстрагирования, характеризуя то общее, что присуще некоторому множеству объектов. «Индивидуальное» же есть всегда результат не абстрагирования, а конкретизации, противоположной абстрагированию по направленности процедуры. Продуктом конкретизации, вопреки Риккерту, становится не «понятие», а «образ», что, очевидно, представляет собой радикально иную ментальную форму, нежели «понятие». Если было бы позволено перейти в план семиотики, появилась бы возможность говорить об иконических моделях.

Градус удивления едва ли снизится, если обратиться к предлагаемым иллюстрациям «индивидуализирующего образования понятий», в частности такой: «Историк стремится воссоздать нам прошлое во всей его наглядной индивидуальности, и этого он достигает тем, что дает нам возможность как бы пережить прошлое заново, в его индивидуальном течении. Хотя он, как вообще всякая наука, и обязан пользоваться словами, имеющими общее значение и поэтому не могущими никогда дать нам непосредственного наглядного образа действительности, все же часто он будет стремиться вызвать в слушателе или читателе и некоторое наглядное представление, которое по своему содержанию далеко выходит за пределы совокупности содержания общих словесных значений» [6, с. 84-85]. Если же к этому добавить пресловутую процедуру «отнесения к ценностям» (заметим, наука по определению имеет всегда дело с объективной реальностью, воспринимаемой как существующая вне, и независимо от человеческого отношения к ней), то в истории, по Риккерту, не останется ни грана «научности».

Реальностью, на преобразование которой ориентирована мемориальная практика, является историческая память, присущая социуму наряду с памятью актуальной (оперативной). Содержание последней – совокупность всех форм культуры, определяющих человеческую целесообразную деятельность и отношения людей. Данные формы культуры, реализуясь в материале окружающей среды как природной, так и социальной, создают то, что по сути дела и можно считать цивилизацией. Всем этим создаётся план, интерпретируемый человеком посредством категории «настоящее».

План, выражаемый категорией «прошлое», определяется исторической памятью. Она-то и становится реальностью – предметом для мемориальной практики. Будучи непосредственно продуктом деятельности отдельных субъектов, «творцов», не только историков, но и писателей, художников, кинематографистов и т.д., историческая память в ходе стихийного процесса «отбора» превращается в форму объективной идеальной реальности, независимой уже от своих творцов. Формой репрезентации прошлого в исторической памяти следует считать образ. Специфически культурологическая интерпретация этого рода образов находит

выражение в понятии нарратива. Базовым основанием создания исторического нарратива, Риккерт здесь, конечно, прав, служит отнесение к ценностям. Собственно, научная по своим гносеологическим свойствам компонента мемориальной практики может здесь проявляться как акция коррекции памяти.

Ярким примером подобной акции может послужить нарратив об убийстве Иваном Грозным своего сына Ивана. Коллизии, развернувшиеся вокруг него, инициировались картиной Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Об этом убийстве наслышан почти каждый, оно нашло отражение даже в школьных программах, о нем писал Н. Карамзин в своей «Истории государства Российского». Однако при современном вскрытии гробницы царевича Иоанна в его останках не были обнаружены повреждения, которые он мог бы получить от удара отцовским посохом. Зато было обнаружено наличие в останках ртути, которое значительно превышало допустимую норму. На этом основании делается вывод о «естественном» характере смерти царевича. Возможно, причиной ее послужило неумеренное использование содержащих ртуть лекарств (сулемы) либо отравление.

Итак, мемориальная практика составляет особую форму социокультурной практики, смысл которой в адаптации общества к своему прошлому. Прошлое общества представлено исторической памятью, обладающей в определенном смысле объективным статусом существования, а значит, и прошлое представляет собой вид объективной реальности. Изменения общественной жизни так или иначе создают ситуации напряжения в связях прошлого и настоящего с его актуальными интересами и целями. Проявляются данные напряжения как коллизии исторической и оперативной памяти. Снятие подобных напряжений, обуславливаемое, конечно, интересами разных социальных групп, и составляет основной вектор мемориальной практики.

Что касается собственно исторической науки, то ее нынешнее состояние не выходит за границы эмпирического типа описаний, какие бы то ни было теории, сопоставимые с имеющимися в достаточно развитых науках, здесь ещё отсутствуют. Появление собственно научной истории – дело более или менее отдаленного будущего. Причем данная форма освоения прошлого (собственно научная история), следует подчеркнуть, включается в значительно более обширный массив культуры, другими элементами которого выступают мемориальная практика и философия истории. Последняя (точно так же, как и формирующиеся фрагменты собственно научной истории) так или иначе «обслуживает» потребности мемориальной практики, подобно тому как естественные науки обслуживают в конечном счёте сферу практики материальной.

Если обращаться к современной западной философии истории, то все вышеизложенное окажется вполне сопоставимым с утвердившейся там категорией коммеморации. Коммеморация – это механизмы функционирования и сохранения культурной памяти. Представляется, что наше акцентирование представления о мемориальной практике привносит в данный контекст слабо выраженный там аспект динамики, человеческой активности, придавая означенным процессам гносеологически более объемный характер.

Список литературы

1. Августин Аврелий / Августин Аврелий. Исповедь: Абеляр П. История моих бедствий. М.: Республика, 1992. – 335 с.
2. Аристотель. Поэтика // Соч.: В 4-х т. Т.4 / пер. с древнегреч.; Общ.ред. А.И. Доватура. – М.: Мысль, 1984. – 830 с. – (Филос. наследие Т. 90).
3. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. – М.: Язык славянской культуры, 2004. – 368 с.
4. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилёв. – М.: «Институт «ДИ-ДИК», 1997. – 640 с.
5. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ф. Ницше. О пользе и вреде истории для жизни. Сумерки кумиров, или Как философствовать молотом. О философах. Об истине и лжи во внеправственном смысле. – Минск: Харвест, 2003. – 384 с.
6. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / Г. Риккерт. – М., 1995. – 241 с.
7. Соловьёв Э. Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры) / Э. Ю. Соловьёв. – М.: Политиздат, 1991. – 432 с.
8. Феномен прошлого. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 476 с.
9. Хаттон П. История как искусство памяти / П. Хаттон. – СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2003. – 423 с.
10. Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия: Секретная политическая история России XVIII–XIX вв. и Вольная печать / Н. Я. Эйдельман. – М., 1884. – 384 с.

Antipov G. A. On the Ontological Status of the Past and on the Ways of its Development // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 3–14.

The history is normally regarded as a science of the past, and, accordingly, all what is marked by notion of the past is referred to its competence. In this capacity such things as archaic knowledge, religion, philosophy, ideology, scientific, and everyday knowledge may appear. However the epistemological status of the historiography itself is quite uncertain, in case it is treated as a science in the proper sense. It is not clear, how knowledge of the past is included into the mechanisms of social functioning and development, what is the role of historical science taken as a form of scientific knowledge. Questions of this kind have acquired the extreme degree of actualization in modern circumstances. This can be observed from the fact that the topic of the past, of the history is almost everyday appearing in all kinds of media. The fierce disputes arise in regard to the evaluation of the activity of some of different characters even of the most distant past, or in regard to interpretation of the events of the whole historical periods. Especially painful reactions are caused by the attempts to "rewrite" history, as it is often perceived, and indicated in the public consciousness. Quite clearly, the history is becoming the recipient of politics, its, so to say, defendant in the case. The notion "politics of history" appeared. Someone talks about "the alliance of history and power." However, if you perceive the history as a science per se, such circumstances cannot ignore some of the basic foundations of scientific knowledge in general and their status in relation to historical knowledge. The article analyzes the socio-cultural and theoretical contexts, contributing to the genesis of such conflicts, and outlines the ways of their adequate interpretation.

Keywords: historical memory, memorial practice, historiography, science, past, politics, values, self identity.

References

1. Avgustin Avrelij. Ispoved': Abeljar P. Istorija moih bedstvij [Confession: Abelard P. History of my Disasters]. Moscow, Respublika, 1992, 335 p.
2. Aristotel'. Pojetika [Poetics] Soch. : V 4-h T. Moscow, 1984. T. 4, 830 p.
3. Assman Ja. Kul'turnaja pamjat': Pis'mo, pamjat' o proshlom i politicheskaja identichnost' v vysokih kul'turah drevnosti [Cultural Memory: Writing, Memory and Political Identity in the High Cultures of Antiquity]. Moscow, Jazyk slavjanskoj kul'tury, 2004, 368 p.
4. Gumiljov L.N. Jetnogenez i biosfera Zemli [Ethnogenesis and Biosphere of the Earth]. Moscow, «Institut «DI-DIK», 1997, 640 p.
5. Nicshe F. O pol'ze i vrede istorii dlja zhizni. Sumerki kumirov, ili Kak filosofstvovat' molotom. O filosofah. Ob istine i lzhi vo vnenravstvennom smysle [About an Advantage and a Harm of History for Life. Twilight of the Idols or How to Philosophize with a Hammer. About Philosophers. About Truth and Lies in Amoral Sense]. Minsk: Harvest, 2003, 384 p.
6. Rikkert G. Nauki o prirode i nauki o kul'ture [Sciences About Nature and Sciences about Culture]. M., 1995, 241 p.
7. Solov'jov Je.Ju. Proshloe tolkuet nas: (Ocherki po istorii filosofii i kul'tury) [the Past Interprets us: (Essays on the History of Philosophy and Culture)]. Moscow, Politizdat, 1991, 432 p.
8. Fenomen proshlogo [The Phenomenon of the Past], Moscow, Izd. dom GU VShJe, 2005, 476 p.
9. Hatton P. Istorija kak iskusstvo pamjati [History as an Art of Memory]. SPb. «Vladimir Dal'», 2003, 423 p.
10. Jejdel'man N.Ja. Gercen protiv samoderzhavija: Sekretnaja politicheskaja istorija Rossii XVIII – XIX vv. [Herzen Against Autocracy: the Secret Political History of Russia of the XVIII – XIX] Vol'naja pechat, Moscow, 1884, 384 p.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 15–23.

УДК 17

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИКИ МЕНЕГЕТТИ В ИХ СВЯЗИ С НЕОТОМИЗМОМ: ПРОБЛЕМА ПОИСКА ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВ ОНТОПСИХОЛОГИИ

Благовестный М. Б.

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация.

E-mail: pelennor@mail.ru

В статье поднимается проблема определения статуса онтопсихологического учения А. Менегетти в структуре философского знания. Поиск решения проблемы возможен, в частности, через историко-философский анализ онтопсихологической этики. Принимая во внимание биографические факты создателя онтопсихологии, а также мнения некоторых исследователей, выдвигается гипотеза, предполагающая существование общей теоретико-мировоззренческой основы онтопсихологического учения А. Менегетти и неотомистского направления в философии в вопросах этики. Рассматривается концепция зла как лишенности бытия. Обнаруживается практически полное совпадение представлений о зле как недостатке бытия в исследуемых теориях. Рассматривается концепция «двойной морали» в онтопсихологии, разделяющей внешне-социальную и личностно-экзистенциальную сферы этики. Раскрывается схожесть этой концепции с представлениями об этике Ж. Маритена и рассуждениями о законах Э. Жильсона. В представлениях об этическом идеале А. Менегетти также обнаруживаются аналогии с неотомистами. Делается вывод о близости позиций онтопсихологии и неотомизма применительно к рассматриваемым этическим вопросам. Исследование этики онтопсихологического учения, в особенности исследование ее историко-философских корней, может быть частью более широкого исследования, призванного ответить на вопрос о месте онтопсихологии в структуре философского знания.

Ключевые слова: онтопсихология, этика А. Менегетти, этика неотомизма, концепция зла, концепция «двойной морали».

Определению места той или иной теоретической концепции в структуре философского знания должен предшествовать ее всесторонний историко-философский анализ. Утверждать новизну, значимость или, напротив, вторичность содержания философских идей невозможно без их соотнесения с философской традицией. Онтопсихологическая теория сегодня активно изучается и развивается психологами, в частности на кафедре онтопсихологии факультета психологии СПбГУ, но мало изучена с позиций философии.

Онтопсихология – теория, созданная итальянским ученым Антонио Менегетти, претендует как на особое место среди психологических дисциплин, так и на собственную философскую позицию. Эта позиция изложена Менегетти главным образом в работах «Основы философии», «Онтопсихологическая философия», «Онтологическое познание и сознание», «Интеллект и личность».

Мировоззренческие основания онтопсихологической концепции А. Менегетти сегодня находятся в области неопределенности с точки зрения их места в структуре философского знания. Например, Гай Сантибаньес Идальго (Guy Santibañez Hidalgo) из Чилийского университета настаивает на теологической основе онтопсихологического учения, которая, с его точки зрения, пронизана религиозным мировоззрением, выраженным с помощью языка психологии.

Из биографии Менегетти известно, что он получил классическое католическое образование, продолжительное время работал и преподавал в Университете св. Фомы Аквинского и, в общем, был буквально взращен католическим окружением. Закономерно, что христианская философия в общем и католицизм в частности оказали большое влияние на становление А. Менегетти как ученого, но в то же время сам он вовсе не причисляет себя к каким бы то ни было последователям христианской философской традиции. Однако тем большее значение имеет глубокое и последовательное изучение идейных основ, претендующее на дисциплинарную автономию онтопсихологической концепции. Научный статус онтопсихологии как направления в психологии также не является определенным и пока остается предметом споров.

Для психолога Менегетти нетипично много внимания уделял разработке философской основы, в том числе этической, для построения собственной теоретической концепции. Несмотря на тот факт, что онтопсихологию часто относят к гуманистическому направлению в психологии, ее философские основания, в том числе этические, пока не были подвержены полноценному анализу. Базовые этические представления А. Менегетти, предлагаемые к рассмотрению, изложены им в работах «Основы философии», «Онтопсихологическая философия», «Интеллект и личность» и «Этический критерий человека».

Предполагается, что они имеют общую мировоззренческую основу с католической теологической философией вообще и с этикой неотомизма в частности. В рамках данной статьи ставится задача сравнить, насколько близки этические представления Менегетти взглядам крупных представителей неотомизма Жака Маритена и Этьена Жильсона. Для этого проведем сравнительный анализ этических постулатов А. Менегетти и неотомистских философов Ж. Маритена и Э. Жильсона.

Поиск общего между онтопсихологической теорией и неотомизмом обоснован несколькими причинами. Во-первых, II Ватиканский Собор (1962–1965 гг.) ознаменовал новый гуманистический поворот в католическом мировоззрении. Такое значительное событие в католическом мире (это последний на сегодня собор, имеющий статус Вселенского для римского католичества) не могло не повлиять на молодого священника. Наиболее актуальные темы, поднятые на соборе, будут подробно разбираться им в будущих монографиях, составляющих философскую основу онтопсихологии. Во-вторых, несмотря нечастые обращения и к античным философам, и к мыслителям Нового времени, Менегетти рассматривает философские вопросы, в том числе этические, сквозь призму дня сегодняшнего, акцентируя внимание на современных ему взглядах на те или иные вопросы. Таким

же образом действуют неотомисты Маритен и Жильсон: имея общую для всего католичества философскую базу в виде наследия Фомы Аквинского, они пытаются интерпретировать его согласно духу своего времени.

Рассмотрим два ключевых положения этики А. Менегетти – онтология зла и представление о двух моралях, или о так называемой двойной морали.

Менегетти, говоря о природе зла, понимает его как явление, не имеющее субстанциальной основы. Он говорит об убывании бытия, лишенности онтологической почвы: « “Злом”, “виной”, “грехом”, “осквернением природы” и т. п. надлежит определять любую вещь, которая уменьшает бытие субъекта» [1, с. 166]. «Если хорошее действие увеличивает бытие и ведет по направлению к блаженству, то обратное действие ведет к непрерывным потерям, вплоть до возникновения сознания вечных мук, когда субъект обнаруживает в себе виновника ущерба и своих несчастий» [1, с. 167].

Природа зла интересует основателя онтопсихологии не столько сама по себе, сколько как возможность применить ее для описания человеческой личности – он сразу переходит от онтологии зла к психологии субъекта. Впрочем, для него вообще онтология и психология субъекта практически неотделимы друг от друга. Также можно с уверенностью утверждать, что онтологический базис здесь имеет ярко выраженные черты классической метафизики, вплоть до аристотелевского представления о ней. Подробнее о влиянии античной метафизики на труды А. Менегетти написано в моей статье «Античные истоки онтопсихологической философии» [2, с. 164].

Концепцию зла как лишенности бытия или блага в развернутом виде находим у Ансельма Кентерберийского в трактате «О падении диавола» и практически в неизменном виде обнаруживаем у неотомистов: «…все, что относится к сфере зла как такового, выражается в терминах небытия, ничто, уничтожения. Ибо зло как таковое – это лишенность, т. е. не просто отсутствие какого-то блага, не просто лакуна или какое-либо ничто, но отсутствие должного блага, недостаток или отсутствие формы требуемого бытия в данном бытии, и зло свободного акта – это лишенность регуляции и формы, искажающая и поражающая небытием осуществление свободы» [2, с. 57]. Так емко переформулирует схоластическую концепцию Ж. Маритен.

Если обратиться к размышлениям о зле другого крупного представителя неотомизма, Э. Жильсона, находим следующее: «благо всякого сущего заключается в том, что является для него подходящим с точки зрения формы сущего, а зло – в том, что противоречит этой форме и, следовательно, стремится разрушить ее. Поскольку же форма человека – эта сама его разумная душа, можно считать хорошим всякий согласный с разумом акт, а плохим – всякий акт, противоречащий разуму» [4, с. 326]. В работах «Интеллект и личность» и «Онтопсихологическая философия» А. Менегетти мы обнаруживаем цепь рассуждений, из которых следует, что онто Ин-се (или душа [5, с. 53]) имеет две главные способности или «позиции» – интеллект и волю. Правильно реализуемый синтез этих способностей формирует «онтическое сознание», которое ведет к благу и истине, неправильный – к ошибкам, разрушению и злу. Онтическое сознание – это состояние личности,

позволяющее считывать неискаженные сигналы или импульсы, исходящие от онто Ин-се как бытийной основы конкретного человека. Эта основа имеет трансцендентную божественную природу, а поскольку божественную, потому неискаженную, истинную.

Таким образом, понимание природы зла в этике Менегетти и в этике неотомизма очень близки, только онтопсихология по мере выстраивания этической составляющей стремится постепенно дистанцироваться от метафизических построений, чтобы перенестись в антропологическую и психологическую плоскость.

Моральная концепция А. Менегетти исходит из существования двух видов морали: социальной, выражающейся в виде внешних норм, правил, законов – «Все мы рождаемся в мире, в котором уже установлена мораль» [6, с. 28], и так называемой онтической, существующей как индивидуальная интуиция личности, которая вырабатывает собственную уникальную этическую парадигму в процессе совершения жизненных выборов. «Всякий раз, когда человек находится в той или иной экзистенциальной ситуации, единственное решение определяется онтическим сознанием, то есть истиной собственного бытия» [7, с. 62]. Онтическая этика имеет не социальную, а индивидуальную природу, исходящую из глубины субъекта, из онто Ин-се. Термин «онто Ин-се» в онтопсихологии с некоторыми оговорками идентичен понятию души. «Человек, распознавший собственное онто Ин-се и следующий его направлению, ошибиться не может» [6, с. 53]. Онтическая этика представляет собой индивидуальный вектор морально-нравственной ориентации, необязательно совпадающий с любой внешне-социальной ориентацией, а иногда и вступающий с ней в противоречие. Как и в случае с разъяснением природы зла, обнаруживается стремление связать этические с психологическим: « “Мораль” означает обычай и поэтому является модой, моделью, стереотипом, структурой поведения» [6, с. 33]; общие правила и нормы здесь стоят в одном ряду с индивидуально-психологическими явлениями. Отметим, что переходы от онтологии и этики к психологии в работах Менегетти носят скорее спонтанный характер, границы между ними не являются четко очерченными, но имеют весьма текучий, диффузный характер.

У Ж. Маритена аналогичным образом признается существование объективных норм морали. Однако он говорит о сложности отношений социального и индивидуально-человеческого, признавая в итоге существование другой этики, возвышающейся над общепринятыми нормами и правилами: «Однако во многих случаях <…> образующих ткань нашей моральной жизни, человек сталкивается с множеством вступающих в конфликт долженствований и многообразием правил, которые пересекаются друг с другом в конкретных обстоятельствах, так что встает проблема: что же я действительно должен делать?» [3, с. 36]. Выход кроется в глубине личности: «Именно тут ему следует прибегнуть к regulae arbitrariare практической мудрости, к тем правилам, которые не просто учитывают все объективные частные обстоятельства, но становятся решающими только с силу основных влечений субъекта (предположительно правильных) и наклонностей его добродетелей» [3, с. 36]. Ж. Маритеном признается уникальность каждого

морального события, т. к. моральное событие является конфигурацией сложившихся обстоятельств и волевого выбора-действия субъекта в этих обстоятельствах.

Предельное основание этики – «мера даров Святого Духа выше, нежели мера моральных добродетелей, мера дара верного решения выше меры практической мудрости» [3, с. 37].

В рассуждениях о феномене закона Э. Жильсон в общем виде определяет его (закон) как «правило, которое предписывает или запрещает некоторое действие, т. е. правило деятельности», причем оно должно быть основано на требованиях разума. Это требование обязательно, иначе происходит подмена: неразумные правила, например приказы тирана, не могут стать законом на самом деле, ведь «там, где отсутствует разум, нет ни закона, ни справедливости, но одна только голая несправедливость» [4, с. 331]. То есть не все те правила, модели поведения и нормы морали, что присутствуют в обществе, могут именоваться законами в истинном значении этого понятия, согласно Э. Жильсону. Что касается истинных законов, отвечающих требованию разумности, то они являются частными случаями божественного закона. Первый закон, источник всех прочих законов, исходящий от Бога, именуется «вечным законом» [4, с. 332]. Человек как наделенное разумом существо «обязан знать, чего требует от него вечный закон, и сообразовываться с ним» [4, с. 332] Понятие вечного закона у него тождественно понятию естественного закона, когда речь идет о человеке и человечестве. Далее, Э. Жильсон рассуждает о неизбежных противоречиях, возникающих между человеческими законами как общими правилами и частными повелениями сообразовывать уникальные поступки с требованиями вечного закона. Двойственность этики в философии Э. Жильсона заключается в понимании закона, который исходит от Бога, разумен и истинен, а несоответствующие этим критериям законы не могут являться таковыми, хоть и называются иногда тем же словом. Здесь мы видим не иерархию моральных императивов, а отношение истинности и ложности.

В «Онтопсихологической философии» А. Менегетти находим: «Бог запечатлел свой закон в сердце человека, то есть “написал сердце человека”, организовав его бытие, поэтому единственным законом человека является его собственное бытие». Используя две способности онто Ин-се (души) – интеллект и волю, человек либо сообразует свои мысли и действия с законом, «запечатленным» в его самости Богом, либо отклоняется от него. Тогда вполне понятно, почему для онтопсихологической этики «моральный императив – это автономия, понимаемая как безусловная верность собственной структуре» [7, с. 62]. Сравним с высказыванием Э. Жильсона: «первое предписание естественного закона, которому подчиняется человек, – утвердиться в своем бытии» [4, с. 333]. Верность собственной структуре и необходимость утвердиться в своем бытии означают примерно одно и то же: необходимость направлять волю, мысли и поступки, сообразуясь с собственной уникальностью (личностью), которая, в свою очередь, имеет божественную волю источником собственного существования. Это то же, что и имеющие божественный источник импульсы, которые «в каждом существе

направлены на то, чтобы привести его к собственной полноте» [3, с. 60]. Стремление к полноте бытия, к увеличению бытия, напомним, значит положительное движение к благу (в противоположность деструктивному движению к злу, понимаемому как уменьшение бытия, как стремление к лишенности бытия).

Таким образом, А. Менегетти и неотомистов Ж. Маритена и Э. Жильсона объединяет двойственное отношение к морали. Они признают двойственность морали, существующей в модусах внешне-социального и внутренне-экзистенциального. Более того, они видят один источник происхождения этой двойственности – отпадение от божественного закона или образца, происходящее в результате действия свободной воли человека.

Стоит указать на то обстоятельство, что на определенном уровне можно говорить о снятии противоречий между внешне-социальной моралью и внутренне-экзистенциальной. Для человека это происходит тогда, когда «его высшая и теперь уже в высшей степени свободная любовь к Богу и Единству заставляет его следовать закону, ставшему его собственным законом, ставшему его личностным призывом, доносящим до него слово Того, кого он любит, – закону, по отношению к которому он является уже не Я, подлежащим отождествлению со всяким человеком, а самим этим человеком, тем человеком, названным его именем, к кому обращен этот закон, в его полном одиночестве перед Богом» [3, с. 40]. Противоречие между внешне-социальным и внутренне-экзистенциальным конечно вовсе не снимается с объективной точки зрения, но оно преодолевается с точки зрения внутренней жизни субъекта, осуществляющего уже интуитивно-мистическое разрешение любых этических противоречий. Это движение свободной личности, приобретающей «дары Святого Духа», более подробно разъясняется через представления о «преодолимых» и «непреодолимых» божественных побуждениях. Здесь мы не будем воспроизводить всю этическую метафизику Ж. Маритена, но сразу перейдем к ее выводу о том, что человек, свободно воспринимая или не преодолевая сначала преодолимое божественное побуждение, которое «уступает место само по себе, подобно цветку, уступающему место плоду, непреодолимому побуждению, под воздействием которого будет непреложно и свободно произведен благой акт» [3, с. 99], в итоге ничего не делает сам. Другими словами, «ничто не исходит от него как от первопричины»: достигнув определенного этапа, соответствующего реализации христианского идеала, человек становится проводником божественной воли, неискаженной «тварностью» его собственной человеческой природы, личностный эгоизм полностью уступает место «дарам Святого Духа», непреодолимому божественному побуждению. Здесь возможны параллели с разными восточными философиями, говорящими о «недеянии», о следовании дао и т. д. Однако нас интересуют параллели с онтопсихологическими представлениями. А. Менегетти предлагает несколько секуляризованную версию той же этической парадигмы. Преодоление антагонизма между внешним и внутренним у него разрешается через освобождающее принятие импульсов бытия,

транслируемых посредством Ин-се. «Ин-се тотального бытия суть благое, будучи образцовой, финальной и действующей причиной всякого другого бытия: все индивидуальные существа людей находятся в этой универсальной совокупности» [8, с. 33]

Исходя из логики развертывания метафизики неотомистов, где мера бытия соответствует мере блага, становится закономерно, что этический идеал у них будет связан с некоей полнотой бытия применительно к человеку: «человеческая душа и всякая телесная форма вообще представляет собой некоторое неполное совершенство, которое, однако, способно стать полным и испытывает в этом потребность» [4, с. 239] и «всякая мораль, таким образом, связана с тем, что наиболее экзистенциально в мире» [3, с. 34]. Находим у А. Менегетти в «Онтопсихологической философии»: «Этично лишь то, что индивид распознает как наиболее экзистенциально важное» [7, с. 83]. Возвращаясь к концепции преодолимых и непреодолимых божественных побуждений, еще раз отметим, что эти самые божественные побуждения направлены на восполнение бытия, «эти импульсы в каждом существе направлены на то, чтобы привести его к собственной полноте» [3, с. 60]. Через свободное действие или бездействие человек воспринимает или игнорирует эти импульсы и приходит к соответствующему экзистенциальному результату.

Менегетти развивает концепцию проекта (см., например, работу «Проект человек»), которая по форме хотя и может напоминать нам концепцию Сартра, но по сути она основывается на неотомистской метафизической антропологии.

«Человек представляет собой историческую личность и метафизический проект, следовательно, его душа – Ин-се – является сущностной формой, определяющей модус его бытия или небытия» [9, с. 49]. Человек выступает посредником по отношению к собственному онто Ин-се с момента начала своего существования, несущим ответственность за реализацию трансцендентного проекта. Этический идеал для онтопсихологического мировоззрения – это совершенное и максимальное соответствие импульсам онто Ин-се, через реализацию которых возможна в свою очередь актуализация подлинного бытия (проекта) человека. Вероятно, здесь уместно говорить о своеобразной интерпретации феномена святости, реализуемой с помощью языка психологии.

Итак, сопоставление этических взглядов А. Менегетти и этики неотомистов показало, что, во-первых, они имеют практически идентичную онтологию зла, выраженную в концепции зла как лишенности бытия, во-вторых, они близки в представлении о двойственности этики, разделяя ее на внешне-социальную (относительную, носящую конвенциональный характер) и внутренне-экзистенциальную (истинную, имеющую сакральный источник), в третьих, они имеют схожее понимание этического идеала человека как личности, свободно актуализирующей импульсы собственной бытийной основы – души, имеющей сакральную и трансцендентную основу. Возможно, что в других рассуждениях

Менегетти, особенно в отношении практических сторон этических вопросов, обнаружатся и существенные расхождения с неотомистами, стоящими на более традиционных христианских позициях. Однако исследования этих различий выходят за рамки данной статьи и могут стать полем для развернутой аналитической работы.

Исследование этической составляющей онтопсихологической концепции важно для формирования целостного понимания философско-мировоззренческих оснований онтопсихологической теории, которая до сих пор не была в достаточной мере подвергнута научно-философскому анализу.

Список литературы

1. Менегетти А. Основы Философии. – М.: БФ «Онтопсихология» 2007. – 268 с.
2. Благовестный М. Б. Античные истоки онтопсихологической философии // Известия Уральского федерального университета. – № 1 (137). – Изд-во Уральского университета. – 2015. – С. 164–171.
3. Маритен Ж. Избранное: Величие и нищета метафизики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. – 608 с.
4. Жильсон Э. Избранное. Том 1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. – М.; СПб.: Университетская книга, 1999. – 496 с.
5. Менегетти А. Интеллект и личность. – М.: ННБФ «Онтопсихология», 2006. – 224 с.
6. Менегетти А. Этический критерий человека. – М.: БФ «Онтопсихология», 2008. – 209 с.
7. Менегетти А. Онтопсихологическая философия. – М.: БФ «Онтопсихология», 2007. – 310 с.
8. Менегетти А. От сознания к бытию. – М.: БФ «Онтопсихология», 2010. – 412 с.
9. Менегетти А. Проект «Человек». – М.: БФ «Онтопсихология», 2010. – 384 с.

Blagovestniy M.B. Some Aspects of Menegetti Ethics in their Relation With Neo-Thomism: the Problem of Searching for Philosophical Foundations of Ontopsychology // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 15–23.

The problem of determining the status of the ontopsychological doctrine of A. Meneghetti in the structure of philosophical knowledge is been rised in the article. The search for a solution to the problem is possible, particulary, through the historical and philosophical analysis of ontopsychological ethics. Paying attention to biographical facts of the creator of ontopsychology, as well as the opinions of some researchers, a hypothesis is proposed that presupposes the existence of a general theoretical and philosophical basis of the ontopsychological doctrine of A. Meneghetti and the neo-Thomist trend in philosophy in matters of ethics. The concept of evil as lack of being is considered. An almost complete coincidence of ideas about evil is revealed as a lack of being in the theories under study. The concept of "double morality" in ontopsychology, which divides the external-social and personality-existential spheres of ethics, is considered. The similarity of this concept to the ideas of J. Maritain's ethics and arguments about the laws of E. Gilson is revealed. In the notions of the ethical ideal of A. Meneghetti, analogies with neo-Thomists are also found. It is concluded that the positions of ontopsychology and neotomism are similar in relation to the ethical issues under consideration. Investigation of the ethics of ontopsychological doctrine, especially the study of its historical and philosophical roots, can be part of a wider study, designed to answer the question of the place of ontopsychology in the structure of philosophical thought.

Keywords: ontopsychology, ethics of A. Meneghetti, ethics of neo-Thomism, concept of evil, concept of "double morality".

References

1. Menegetti A. Osnovy Filosofii [The Foundation of Philosophy], Moscow, 2007, 268 p.
2. Blagovestnyj M.B. Antichnye istoki ontopsihologicheskoj filosofii [Ancient Origins of Ontopsychological Philosophy] in Izvestija Ural'skogo Federal'nogo Universiteta, №1 (137), Izd-vo Ural'skogo universiteta, 2015, pp. 164–171.
3. Mariten Z. Izbrannoe: Velichie i nischeta metafiziki [Favorites: the Majesty and Poverty of Metaphysics]. Moscow, 2004, 608 p.
4. Zhil'son Je. Izbrannoe. Tom 1. Tomizm. Vvedenie v filosofiju sv. Fomy Akvinskogo [Favorites. Vol 1. Thomism. Introduction to the Philosophy of Thomas Aquinas], Moscow, SPb, «Universitetskaja kniga», 1999, 496 p.
5. Menegetti A. Intellekt i lichnost [Intellect and personality], Moscow, 2006, 224 p.
6. Menegetti A. Jeticheskij kriterij cheloveka [Ethical Criterion of a Human], Moscow, BF «Ontopsihologija», 2008, 209 p.
7. Menegetti A. Ontopsihologicheskaya filosofiya [Ontopsychological Philosophy], Moscow, 2007, 310 p.
8. Menegetti A. Ot soznaniya k bytiyu [From Consciousness to Being], Moscow, 2010, 412 p.
9. Menegetti A. Proekt «Chelovek» [Project «Human»], Moscow, BF «Ontopsihologija», 2010, 384 p.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 24–34.

УДК: 141.155.001.5.89

НЕОБРАТИМЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ

Габриелян О. А., Сулейменов И. Э.

Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, Казахстан

E-mail:esenych@yandex.ru

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация

E-mail: gabroleg@mail.ru

В приближении среднего поля рассматривается модель эволюционирующей системы. Показано, что в таких системах могут наблюдаться скачкообразные фазовые переходы. Выявлены условия, при которых такие скачки становятся необратимыми. Показано, что необратимый характер указанных переходов может интерпретироваться как запись распределенной информации в систему в целом. Приведены и осмысленны примеры социальных, политических, культурных, экономических феноменов и процессов, которые описывает предлагаемая математическая модель фазовых переходов. Среднего поля приближение – один из методов приближённого описания эффектов многочастичных взаимодействий в задачах многих тел в квантовой механике и квантовой статистике. Этот метод применяется в тех случаях, когда точное решение задачи отсутствует, а учёт конечного числа членов ряда возмущений теории недостаточен (например, если константа взаимодействия не мала или ряды теории возмущений обладают плохой сходимостью).

Ключевые слова: фазовые переходы, эволюционирующие системы, математическая модель, социальные, культурные, политические, экономические феномены, процессы.

Введение

Проблема необратимости, причем с различных позиций, обсуждалась в литературе по физике в течение продолжительного времени [1; 3]. Так, широко известна дискуссия, связанная с вопросом о симметрии уравнений классической механики относительно операции изменения знака времени, начало которой положили работы И. Пригожина.

В настоящее время данная проблема приобретает новое звучание в связи с попытками построения математических моделей, имеющих приложения для исторических, социальных, экономических процессов, а также феноменов культуры, в частности, с попытками использовать для этой цели результаты, полученные при рассмотрении сложных систем.

Известно, что отмеченные процессы протекают неравномерно; история знает многочисленные примеры качественных скачков, иногда интерпретируемых как культурные, а иногда как технологические революции. К ним можно отнести

социально-политические революции. Наиболее известным примером в данном отношении является возникновение практически всех атрибутов современной цивилизации за очень краткий по историческим масштабам промежуток времени на территории Древней Греции – «греческое чудо» (по терминологии [4]).

Системный кризис современной цивилизации, который на первых этапах возникновения рассматривался как глобальный финансовый кризис [5], делает актуальным вопрос об обратимости скачков, интерпретируемых как культурная/технологическая революция.

Природа качественных скачков (ароморфозов) в культурном и социально-экономическом развитии цивилизации анализировалась в работе [6]. В ней не было сделано попыток построить математическую модель, позволяющую выявить наиболее существенные черты ароморфозов.

Простейший вариант такой модели построен в данной работе, причем показано, что можно указать условия, при которых качественный скачок (ароморфоз) становится необратимым.

Простейшая формулировка модели ароморфозов в сложных системах. Рассматриваемая ниже модель формулируется, в частности, на основе результатов [6, 7]. В работах [9, 10] было показано, что существует механизм эволюции, принципиально отличающийся от известных ранее и восходящий к теории Ч. Дарвина.

В соответствии с этими концепциями считается, что:

– образование нового качества (в биологии – видогенез) носит мутационный (флюктуационный) характер, то есть новые признаки элементов системы возникают вследствие модификации уже существующих (в биологии – мутаций генома) под каким-либо внешним воздействием;

– мутации носят стохастический/случайный характер;

– мутации, интерпретируемые как благоприятные, закрепляются за счет механизма естественного отбора.

Применительно к задачам общей биологии дарвинистская точка зрения позволила, как известно, интерпретировать целую совокупность экспериментальных данных. Однако попытки применить эту концепцию к системам иной природы чаще всего сталкивались с непреодолимыми трудностями.

Весьма наглядную иллюстрацию к характеру таких трудностей можно дать, анализируя эволюцию познания в человеческом обществе, более конкретно, процесс инновационного развития. В этой области исследований случайной мутации можно поставить в соответствие появление нового изобретения (научной идеи, концепции и т. д.). Процессу закрепления мутации, очевидно, ставится в соответствие имплементация соответствующей идеи в общую систему научных знаний (внедрение изобретения в практику и т. д.).

Работы, проведенные в области теории инноваций, в том числе обобщенные в [5], однозначно показывают, что наличия «благоприятного признака», т. е. наличия потенциальной высокой отдачи от внедрения изобретения или имплементации научной идеи, отнюдь не достаточно для того, чтобы они действительно оказались воспринятыми. Известно множество примеров идей и

изобретений, о которых говорят, что они обогнали свое время. Более корректно: такие факторы в настоящее время трактуются через понятие информационного сопротивления общества, на протяжении всей истории человечества почти всегда остававшееся значительным [5].

Периоды истории, в течение которых инновационное сопротивление общества существенно понижалось, являются, напротив, достаточно редкими, вплоть до того, что используются такие термины, как «греческое чудо», технологическая революция и т. д.

Наглядные примеры такого рода показывают, что «благоприятный признак» закрепляется только тогда, когда для этого появились необходимые предпосылки, иначе говоря, модифицировалась сама система, к которой принадлежит элемент – носитель этого признака.

Еще одной проблемой, которую не удается решить в рамках мутационной интерпретации эволюционных процессов, является крайне неравномерный характер эволюции, что характеризуется специальным термином – ароморфоз (скачкообразные трансформации элементов системы, протекающие практически одновременно).

Это, равно как и оставшиеся неупомянутыми затруднения мутационных теорий эволюции, привело к разработке принципиального нового подхода, альтернативного мутационным теориям эволюции [7].

В соответствии с этим подходом рассматривается эволюция системы. Она предполагает наличие как минимум двух стадий эволюции. На первой стадии трансформируется совокупность связей между элементами системы, а сами элементы остаются практически неизменными. (Данная, латентная, стадия интерпретируется через эволюцию аналога нейронной сети, комплементарной рассматриваемой системе.) На второй стадии осуществляется отбор элементов, в наибольшей степени отвечающих новому состоянию системы.

Данный подход первоначально разрабатывался на основе аналогии между обществом и нейронной сетью. В рамках этой аналогии каждому индивиду в соответствие ставится отдельный нейрон, каналам связи между нейронами – коммуникации между индивидами, а нейронной сети в целом – ноосфера (или социумы, трактуемые как ее относительно самостоятельные фрагменты). Указанный одход можно распространить и на другие системы.

Соответственно, эволюцию сложной системы произвольной природы можно описывать, используя трехуровневую модель, в которой нулевой уровень отвечает системе без связей между элементами, первый – системе, в которой сформированы межэлементные связи, второй (самый высокий) – появлению аналога нейронной сети.

Прежде чем мы предложим математическую модель, описывающую данные феномены и процессы, приведем некоторые дополнительные примеры. Хотелось бы показать, что упомянутые выше примеры «греческого чуда» и теории эволюции Ч. Дарвина не являются некоторыми исключениями. Они яркие и часто упоминаемые, обладают регулярностью, наблюдаемой в эволюции сложных систем, поэтому на определенном этапе развития науки возникает потребность в описании

этих процессов на формализованном языке математической модели. Во-первых, такое описание приобретает наиболее высокий уровень объективности выявленной закономерности. Во-вторых, выявляет фундаментальную связность природных и социальных феноменов и процессов.

Рассмотрим, например, качественный переход государства, занимавшего территорию северной Евразии, в имперское состояние – в Российскую империю. Преобразования Петра I, безусловно, связаны с его харизматичностью, сопровождались насильственными действиями. Осуществленная им модернизация России и позднее политика Екатерины II были бы свернуты, если бы не был запущен механизм построения регулярного государства. По сути, они начали реализовывать концепцию камерализма как теории современного государства. У Петра I это был подход стихийный, основанный на его опыте посещения Европы и пребывания-обучения там. У Екатерины II это была политика продуманных действий. Например, создание уложенных комиссий. Обычное толкование историками этого феномена сводится к тому, что комиссии должны были придать российскому абсолютизму видимость сословно-представительной монархии, что соответствовало мировоззрению Екатерины II как просвещённого монарха. При этом делался вывод о ничтожности реальных результатов их деятельности. На наш взгляд, это не так. Результат не в том, что не был выработан тот или иной документ и он не стал руководством к действию, а в том, что был создан прецедент – представителям различных сословий (их уже помыслили в таком качестве!!!) было предложено подумать о регулярности своего государства. Появились носители идеи.

«К середине XVII века камерализм стал господствующей доктриной и мощной индустрией производства суждения в трех основных областях: организации государственных финансов, системы хозяйствования (Oeconomie) и упорядочивании общества (Polizei). Бесчисленные ученые трактаты и публицистические памфлеты начиная с XVI века распространяли представление о том, что целью правителя является достижение общественного блага всех подданных, а средством к этому является рациональная и благотворная деятельность просвещенных служащих, заседавших в королевских Kammer (членов советов, или коллегий). Наиболее известными продуктами камералистского мышления были экономическая доктрина меркантилизма… и теория административного устройства “gute Polizei” – упорядоченного и правильно управляемого государства. Меркантилизм диктовал политику интенсивной международной торговли с положительным балансом импорта и экспорта… Теория полицейского государства предлагала рационализировать и регулировать все сферы общественных отношений едиными законодательными нормами, исходящими от государя. Возникшая в конце XVIII века концепция “правового государства” критиковала идеал “полицейского государства” за возможность злоупотреблений со стороны законодателя и бесконтрольного административного аппарата – но сама идея единообразного и рационального регулирования общества, впервые возникшая в рамках теории полицейского государства, осталась неизменной» [8, с. 18]. Вот суть эпохи модерна в ее социально-политическом измерении. Внедренная сверху

абстрактная идея «государства» внедрялась в умы подданных, «формировалось представление о чиновнике как служащем этому государству – не из вассального подчинения сюзерену, и не ради корыстного злоупотребления должностью (“кормления”), а с целью внести вклад в общественное благо. Частью этого процесса было распространение идеи политического общества (“нации”) как более фундаментальной категории, чем сословия, − даже в странах с сильными кастовыми традициями. Камерализм стал основой современного, полностью секулярного социального мышления, осмысливающего общественные процессы в категориях частной выгоды, общественного блага, универсальной законности» [8, с. 19].

Россия сумела трансформироваться из «пороховой империи» в регулярное имперское государство. Абсолютизм самодержавия корректировался дворцовыми переворотами, а позднее и революциями. Екатерина II понимала это уже ясно. И ее переписка с французскими просветителями – это не дань моде, а попытка реализовать идеи камерализма в практике построения регулярного государства. Не всем государствам это удалось. Не осуществившими такую модернизацию – «пороховыми империями» – были Речь Посполитая, Османская империя, поэтому они распались. Каждая из них была вполне успешна в определенный исторический период. Но идея регулярного государства была блокирована, не оказалось достаточно количества носителей этой идеи, не сложились соответствующие связи между ними, как результат, процессы не стали необратимыми. В одном случае шляхетство сопротивлялось регулярности государства, в другом эффективные «новые воины» – янычары – встраивались в средневековую систему социальных отношений. Идея регулярного государства не стала воображаемым социальным будущим у различных социальных групп, и такая империя была обречена на поражение.

«Российская империя выступала в качестве средства окончательной “коллективной глобализации” прежде полуизолированных локальных сообществ Северной Евразии, включения их в культуру “современности”, понимаемой как “европейскость”. Таким образом, структурная “имперская ситуация” региона, постоянно перерабатывавшая различия и неравенство при помощи механизмов самоорганизации, получила институциональное воплощение в форме модерной империи. Эта империя опиралась не столько на военную силу, универсалистскую культуру или единое экономическое пространство, сколько на механизм современного государства. Точнее, опираясь на все вышеперечисленные “традиционно имперские” факторы, она организовывалась и управлялась при помощи государства как обезличенного социального механизма служения “общему благу”. Не исключено, что нагрузка имперского камералистского государства на население была на несколько порядков меньше, чем вероятная “цена” государства такого же уровня сложности, созданного каждой из бывших “пороховых империй” по отдельности. (Эта гипотеза вытекает из общих социологических моделей функционирования сложных систем и помогает объяснить сравнительно низкий уровень сопротивления имперской экспансии, однако не существует пока исторических исследований, подтверждающих или опровергающих ее)». [8, с. 139]. Сами историки осознают значимость изучения общих социологических моделей

сложных систем. Мы идем немного дальше и предлагаем математическую модель для описания любых сложных систем и фазовых переходов в них.

Не стоит думать, что такие модели могут описывать и объяснять только postfactum феномены и процессы далекого прошлого. Мы считаем, что предлагаемый нами подход позволяет эффективно исследовать и текущие социальные, политические, культурные, экономические процессы. Например, феномен евроинтеграции, его состояние и перспективы.

Однако вернемся к нашей модели. Переход от нулевого к первому уровню отвечает появлению устойчивых межэлементных связей, переходы следующего порядка – возникновению аналога нейронной сети. (Вся группа более высоких переходов может в приемлемом приближении рассматриваться как единое целое.) Каждый из уровней характеризуется определенной заселенностью – вероятностью того, что конкретный элемент системы будет находиться именно на нем.

Таким образом, рассматриваемая задача в первом приближении (приближении среднего поля) сводится к описанию динамики переходов между уровнями, которые обладают различными заселенностями.

Запишем соответствующие уравнения переходов в трехуровневой системе:

$$\frac{dN_0}{dt} = -\left(\alpha_0 N_2 + \beta_0 N_0\right)N_0 + \frac{1}{\tau_1}N_1 \qquad (1)$$

$$\frac{dN_1}{dt} = \left(\alpha_0 N_2 + \beta_0 N_0\right)N_0 - \left(\alpha_1 N_2 + \beta_1 N_1\right)N_1 + \frac{N_2}{\tau_2} - \frac{N_1}{\tau_1} \qquad (2)$$

$$\frac{dN_2}{dt} = \left(\alpha_1 N_2 + \beta_1 N_1\right)N_1 - \frac{1}{\tau_2}N_2 \qquad (3),$$

где Nk – заселенность уровня k, α_k – коэффициенты, определяющие вероятность перехода на более высокий уровень под воздействием элементов, находящихся на верхнем уровне системы, β_k – коэффициенты, определяющие вероятность перехода на уровень k+1 за счет взаимодействия элементов k-того уровня, τ_k – характерное время перехода с уровня k на уровень k-1.

Структура записанных уравнений выражает следующие предположения, вытекающие из качественного рассмотрения эволюционного механизма [7]. Первое слагаемое в уравнении (1) определяет частоту переходов из нулевого уровня на первый (образование несистемных связей) под воздействием элементов, находящихся на наиболее высоком уровне. Второе слагаемое в этом уравнении отражает частоту тех же переходов, но обусловленных взаимодействием элементов, находящихся на самом низком уровне. Третье слагаемое – частота обратных переходов, обусловленная спонтанным разрывом связей.

Слагаемые, фигурирующие в правой части уравнения (3), имеют аналогичный смысл, уравнение (2) можно рассматривать как комбинацию соотношений (1) и (3). Тот факт, что индуцированные переходы обусловлены именно элементами, находящимися на самом высоком уровне из рассматриваемых, вытекает

непосредственно из эволюционного механизма [6]. (Элементы системы, которые приобрели новое качество, начинают стимулировать появление подобных себе.)

Представляет интерес проанализировать точки покоя для базовой системы уравнений, введя обозначения

$$k_2 = \frac{N_2}{N_1},\ k_1 = \frac{N_1}{N_0},\ y_0 = \frac{N_0}{C},\ y_1 = \frac{N_1}{N_0},\ y_2 = \frac{N_2}{C}, \qquad (4)$$

$$\begin{cases} g_{11} = \alpha_0 \tau_1 C & g_{21} = \beta_0 \tau_1 C \\ g_{12} = \alpha_1 \tau_2 C & g_{22} = \beta_1 \tau_2 C \end{cases} \qquad (5).$$

Тогда от системы уравнений (1) – (3) несложными преобразованиями можно получить следующую систему алгебраических уравнений

$$(g_{11} k_1 k_2 + g_{21}) y_0 - k_1 = 0 \qquad (6)$$

$$(g_{12} k_1 k_2 + g_{22} k_1) y_0 - k_2 = 0, \qquad (7)$$

$$y_0 (1 + k_1 + k_1 k_2) = 1 \qquad (8).$$

Эта система уравнений допускает численное решение сравнительно простыми средствами.

Результаты численного моделирования

На рис. 1 – рис. 4 представлены зависимости заселенности верхнего уровня системы от различных управляющих параметров.

Из рис. 1 видно, что существует диапазон значений управляющих параметров, при которых кривые, описывающие заселенность верхнего уровня системы, становятся S-образными. Точнее при увеличении параметра g21, определяющего вероятность спонтанного образования несистемных связей между элементами нулевого уровня, имеет место плавный переход от монотонной кривой к S-образной.

Рис. 1. Зависимость относительной заселенности верхнего уровня y2 от величины управляющего параметра g22; g11= 6,5, g21= 0,05 (1), 0,1 (2), 0,2 (3), g12= 0,9.

Следовательно, при достижении определенного критического значения управляющего параметра g21 система скачком будет переходить из одного макроскопического состояния в другое. Можно видеть, что даже рассматриваемая простейшая модель обеспечивает появление ароморфозов и это согласуется с выводами [6]. Далее, значения управляющих параметров зависят от полного числа элементов в системе, т. е. рассматриваемые скачкообразные переходы могут иметь место и в силу простого увеличения числа элементов системы. В известном смысле полученный результат может трактоваться как математическое описание перехода из количества в качество.

Рис. 2 иллюстрирует влиянием параметра g11 на заселенность верхнего уровня. (Данный параметр определяет частоту индуцированных переходов, связанных с влиянием элементов, находящихся на самом высоком уровне, на образование несистемных связей.)

Рис. 2. Зависимость относительной заселенности верхнего уровня y2 от величины управляющего параметра g22; g11= 25 (1), 10 (2), 6,5 (3), g21= 0,05, g12= 0,9.

Можно видеть, что при выбранных значениях параметров постепенное увеличение указанного параметра фактически сдвигает рассматриваемые кривые к оси ординат. Сходное поведение обнаруживается и при увеличении параметра g12, рис. 3.

Рис. 3. Зависимость относительной «заселенности» верхнего уровня y2 от величины управляющего параметра g22; g11= 6,5, g21= 0,07, g12=2,1 (1), 1,5 (2), 0,9 (3).

Видно также, что полученные кривые действительно носят S-образный характер, что и свидетельствует о существовании скачкообразных переходов.

Рисунок 1 показывает, что именно параметр g21 контролирует переход от режима, в котором имеют место скачкообразные переходы к режиму, в котором изменения носят монотонный характер. Однако, наличие скачков не исчерпывает многообразия рассматриваемой системы. На рис. 4 приведены аналогичные результаты, полученные для несколько других значений параметров. Эти данные показывают, что может реализоваться режим, при котором S-образная кривая частично попадает в область отрицательных значений управляющего параметра.

Рис. 4. Зависимость относительной заселенности верхнего уровня y2 от величины управляющего параметра g22; g11= 6,5(1), 0,1 (2), 0,2 (3), g21= 0,07, g12= 1,5.

Такая ситуация означает, что обратный переход к состоянию с низкой заселенностью становится невозможен: эволюция системы рассматриваемого типа приобретает необратимый характер.

Подчеркнем также, что величины всех приведенных управляющих параметров g прямо пропорциональны числу элементов эволюционирующей системы. Следовательно, полученные результаты однозначно показывают, что необратимый характер эволюция может приобретать просто за счет увеличения числа элементов в системе.

Заключение

Таким образом, простейшая формальная модель эволюционирующей системы, построенная на основе новой концепции эволюции сложных систем, предложенной в [7], демонстрирует нетривиальные эффекты. (Следует подчеркнуть, что данные эффекты обнаруживаются даже в наиболее простом приближении среднего поля.)

Во-первых, в системе такого типа имеют место скачкообразные переходы, что позволяет использовать полученные результаты для интерпретации неравномерного развития различных природных и социальных систем. Указанные переходы

сопровождаются гистерезисными явлениями, т. е. обратный переход имеет место при другом значении управляющего параметра, нежели прямой.

Во-вторых, существуют условия, при которых такие переходы приобретают необратимый характер, т. е. формальное значение управляющего параметра, отвечающего обратному переходу, лежит вне физической области определения. Соответствующий переход, принимая во внимание выводы [6], можно трактовать как необратимую запись распределенной информации в среду.

В-третьих, величины управляющих параметров в рассматриваемой модели прямо пропорциональны общему количеству элементов в системе, т. е. наблюдаемые фазовые переходы могут быть обусловлены ростом элементов в системе. Это позволяет рассматривать полученные результаты как проявление диалектического закона перехода количества в качество.

Список литературы

1. Gemmer J., M. Michel, G. Mahler. Quantum Thermodynamics // Lecture Notes in Physics**. –** 2004. **–** Vol. 657.
2. Popescu S., A. J. Short, and A. Winter. Entanglement and the Foundations of Statistical Mechanics // Nature Physics. – 2006. – Vol. 2. – Iss. 11. – 754 p.
3. J. Gemmer, A. Otte, G. Mahler. Quantum approach to a derivation of the second law of thermodynamics // Physical review letters. – 2001. – № 86, 1927.
4. Vernant, J. P. Mythe et pensée chez les Grecs. Etudes de psychologie historique. – F. Maspero, 1978. – 229 p.
5. Nanotechnology versus the global crisis / Yergozhin Ye. Ye., Aryn Ye. M., Suleimenov I. E., Mun G. A., Belenko N. M., Gabrielyan O. A., Park N. T., Negim El-S. M. El-Ash., Suleymenova K. I. Seoul, Hollym Corporation Publishers, 2010. – 300 p.
6. Suleymenova K. I. Aromorphoses Phenomenon in the Development of Culture: a View from the Standpoint of Neural Net Theory of Complex Systems Evolution / K. I. Suleymenova, D. B. Shaltykova, I. E. Suleimenov // European Scientific Journal. – 2013 – Vol. 9(19). – P. 840-844
7. Suleimenov I. Non-Darwinists Scenarios of Evolution of Complicated Systems and Natural Neural Networks Based on Partly Dissociated Macromolecules / I. Suleimenov, S. Panchenko // World Applied Sciences Journal. – 2013. – 24 (9). – P. 1141-1147.
8. Герасимов И., Могильнер М., Глебов С. Новая имперская история Северной Евразии. Часть 2. Балансирование имперской ситуации: XVIII–XX вв. – Казань: AbImperio, 2017. – 632 с.
9. Avetisov V.A., Kuz'min V.V., and Goldanskii V.I. Handedness, Origin of Life and Evolution // Physics Today. – 1991. – № 44, 7, 33.
10. Delaye L., Lazcano A. Prebiological evolution and the physics of the origin of life // Physics of Life Reviews. – March 2005. – Volume 2, Issue 1. – pp. 47–64.

Gabrielyan O.A., Suleimenov I.E. Irreversible Phase Transitions in Complex Systems // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 24–34.

In the mean-field approximation, a model of an evolving system is considered. It is shown that in such systems jump-like phase transitions can be observed. The conditions under which such jumps become irreversible are revealed. It is shown that the irreversible character of such transitions can be interpreted as the recording of distributed information in the system as a whole. Examples of social, political, cultural, economic phenomena and processes that describe the proposed mathematical model of phase transitions are given and are meaningful.

Key words: phase transitions; evolving systems; mathematical model; social, cultural, political, economic phenomena, processes.

References

1. Gemmer J., M. Michel, G. Mahler. Quantum Thermodynamics. Lecture Notes in Physics**,** 2004, Vol. 657.
2. Popescu S., A. J. Short, and A. Winter. Entanglement and the Foundations of Statistical Mechanics. Nature Physics, 2006, Vol. 2, Iss. 11, 754 p.
3. J. Gemmer A. Otte G. Mahler. Quantum approach to a derivation of the second law of thermodynamics. Physical review letters, 2001, № 86, 1927.
4. Vernant J. P. Mythe et pensée chez les Grecs. Etudes de psychologie historique. F. Maspero, 1978, 229 p.
5. Nanotechnology versus the global crisis. Yergozhin Ye. Ye., Aryn Ye. M., Suleimenov I. E., Mun G. A., Belenko N. M., Gabrielyan O. A., Park N. T., Negim El-S. M. El-Ash., Suleymenova K. I. Seoul, Hollym Corporation Publishers, 2010, 300 p.
6. Suleymenova K. I. Aromorphoses Phenomenon in the Development of Culture: a View from the Standpoint of Neural Net Theory of Complex Systems Evolution / K. I. Suleymenova, D. B. Shaltykova, I. E. Suleimenov. European Scientific Journal, 2013, Vol. 9(19), pp. 840-844
7. Suleimenov I. Non-Darwinists Scenarios of Evolution of Complicated Systems and Natural Neural Networks Based on Partly Dissociated Macromolecules I. Suleimenov, S. Panchenko. World Applied Sciences Journal, 2013, 24 (9), pp. 1141-1147.
8. Gerasimov I., Mogil'ner M., Glebov S. [New imperial history of Northern Eurasia]. Part 2. Balancing the imperial situation: XVIII – XX centuries. Kazan: "Ab Imperio", 2017, 632 p.
9. Avetisov V.A., Kuz'min V.V., Goldanskii V.I. Handedness, Origin of Life and Evolution. Physics Today, 1991, № 44, 7, 33.
10. Delaye L., Lazcano A. Prebiological evolution and the physics of the origin of life. Physics of Life Reviews, March 2005, Volume 2, Issue 1, pp. 47–64.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 35–44.

УДК: 091:165.62

СТРУКТУРА ВООБРАЖЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ КАК КРИТЕРИЙ ИХ РАЗЛИЧЕНИЯ В РАБОТАХ Э. ГУССЕРЛЯ

Дрожецкая Е. В.

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва, Российская Федерация.

E-mail: elena_drozheckaya@mail.r

Проблема различения воображения и восприятия представляет для Э. Гуссерля принципиальное эпистемологическое значение. Утверждение о том, что восприятие, в отличие от воображения, предоставляет доступ не к копиям (образам) вещей, как полагают сторонники распространенной «теории отражения», а к самим вещам в их живой телесности, позволяет рассматривать опыт как легитимный источник знания (а в конечном итоге позволяет обосновать возможность науки). Поэтому важно провести между воображением и восприятием не количественную, а качественную, сущностную дистинкцию. Одним из критериев различения указанных модусов сознания является их структура. Однако данный критерий может представляться очевидным лишь на первый взгляд. В зависимости от сложности структуры актов сознания Э. Гуссерль подразделяет их на простые и составные (комплексные, фундированные) акты. В простом акте сознания предметность становится «изначально представимой» для нас, что позволяет сознанию в комплексных актах различными способами относиться к данной предметности (выносить суждения, оценивать, осуществлять бытийные полагания, эмоциональное отношение). Критикуя теорию отражения, Гуссерль обращает внимание на то, что воображение, в отличие от восприятия, является фундированным актом. Это означает, что определенный предмет является, однако сознание имеет в виду не данный предмет в его собственной самости, а посредством него (т. е. используя его как Bildobjekt («объект-образ»), аналог, репрезентант) относится к другому предмету, Bildsujet («основе образа»), который, со своей стороны, не является в живой телесности, а лишь репрезентируется. Данное утверждение имеет целью показать, что свойство «быть образом» придается предмету спонтанной деятельностью сознания и ни в коем случае не может быть рассмотрено как его «реальный предикат».Осуществляя критику «теории отражения», Гуссерль проводит различение между актом восприятия и актом воображения, в котором образ имеет физическую природу. Но существуют акты воображения, в которых образ является ментальным, именуемые Гуссерлем «фантазией». Первоначально Гуссерль осуществлял дескрипцию актов фантазии с помощью аналогичной схемы (Bildobjekt – Bildsujet), также считая данный акт фундированным. Однако в ходе дальнейших исследований он пришел к выводу, что «простое представление фантазии» является простым, а не комплексным актом сознания. Несмотря на то, что данная философская позиция представляется более обоснованной, она в то же время вновь возвращает нас к проблеме сущностного различения воображения и восприятия.

Ключевые слова: восприятие, воображение, фантазия, простые и фундированные акты сознания, Bildobjekt, Bildsujet.

Воображение и восприятие представляют интерес для феноменолога как различные способы, посредством которых сознание «имеет в виду» трансцендентный ему предмет (понятый в широком смысле). Осуществляя

дескрипцию данных модусов сознания, мы тем самым выявляем их сущностные видовые особенности. Однако изучение работ Э. Гуссерля[1] демонстрирует, что проблема различения воображения и восприятия выходит далеко за рамки осуществления феноменологией ее дескриптивной функции.

Так, впервые данная проблема формулируется Гуссерлем в качестве таковой в пятом «Логическом исследовании» в контексте осуществляемой им критики «теории отражения» («Bildertheorie») [1]. Не останавливаясь подробно на положениях указанной теории, нужно отметить, что одним из основных ее моментов является включение образа в структуру восприятия. Данная исследовательская позиция неприемлема для Гуссерля по ряду причин.

Во-первых, ее логическим следствием является невозможность объективного знания (следовательно, ставится под вопрос ценность науки в целом). Если мы полагаем, что сознание не может достичь вещи в ее самости, а имеет дело лишь с образом (копией, подобием) вещи, то налицо солипсическая конструкция, преодоление которой, исходя из заданных условий, весьма проблематично. Сам процесс познания ведет к тому, что нечто «всего лишь субъективное» заслоняет от нас объективность, на таких зыбких основаниях построить науку нельзя. В исследованиях Гуссерля познавательная составляющая играет существенную роль, в связи с чем он легитимирует эпистемологические права опыта, в то время как восприятие, согласно его убеждению, выступает в качестве «праисконного опыта». С этой точки зрения для Гуссерля важно продемонстрировать, что восприятие имеет дело не с квази-реальностью, имеющей сомнительный онтологический статус (Гуссерль прямо говорит о том, что существует лишь одна реальность, считая ее удвоение противосмысленным [2, с. 288]), а, напротив, прямо относится к вещи, достигая ее «живой телесности», т. е. объективной реальности как таковой.

Сторонники «теории отражения», пытаясь устранить солипсическое следствие своих посылок, нередко утверждают, что образы неким неясным способом проникают в сознание извне, «воспринимаются» сознанием. Но в этом случае сознание выступает как пассивная структура, природа которой поддается описанию с помощью пространственных терминов, как рецептивная способность человека, что в равной степени неприемлемо для Гуссерля. Следствием указанного утверждения является натурализм, предполагающий отождествление сознания с вещью.

Как полагает Гуссерль, мышление и бытие представляют собой два сущностно различных региона, несводимых друг к другу, и если мы намерены сделать свое исследование продуктивным, уникальная природа каждого из данных регионов не может быть утрачена. В данной исследовательской позиции фундировано основное гуссерлевское различение акта сознания и интенционального предмета, на который

[1] Предметом анализа в данной статье являются «Логические исследования. Т. II. Ч.1: Исследования по феноменологии и теории познания»(первоначальная редакция – 1901 г, впоследствии изложены автором в новой редакции) (далее по тексту – «Логические исследования») [1], «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая» (1913 г.) (далее по тексту – «Идеи I») [2], а также Лекции 1904–1905 гг. (текст N1 «Фантазия и образное сознание», включенный в том HuaXXIII, впервые опубликованный лишь в 1980 году) (далее по тексту – «Лекции») [3]

данный акт сознания направлен (учение об интенциональности сознания). Как отмечает сам автор, простота данного учения обманчива, о чем свидетельствует часто обнаруживающееся непонимание его со стороны ученых [2, с. 278–280]. Следует учесть, что для Гуссерля важно не то, чтобы указанное утверждение в качестве некоего абстрактного тезиса было принято к сведению, а, что гораздо сложнее, то, что необходимо основать в нем методологию исследования, что он и демонстрирует на собственном примере.

Своеобразной чертой сознания как онтологического региона является то, что оно обладает спонтанностью, т. е. свободно от каузальных связей, действующих в мире. Поскольку сознание по своей природе радикально отлично от вещи, с точки зрения Гуссерля, недопустимо наделение его пространственными характеристиками. Противосмысленно полагать, что в сознании как в некоем вместилище содержатся какие-либо предметы (в частности, копии вещей). В связи с этим Гуссерль в контексте критики «теории отражения» перефразирует Канта и утверждает, что «образность» не есть «реальный предикат» вещи. Для того чтобы посредством объекта, явленного нам «во плоти», мы созерцали иной, отсутствующий объект, необходим особый акт сознания, направленный на объект не в его собственном смысле, а как на образ другого объекта, не явленного «в живой телесности». И здесь возникает проблема различения воображения и восприятия. Очевидно, что нельзя доказать тезис о различной природе воображения и восприятия без проведения между ними качественной, а не количественной дистинкции. Положение о том, например, что воображение представляет собой менее отчетливое, «ослабленное» восприятие, не позволяет уловить своеобразие каждого из этих модусов сознания.

Одним из основных критериев сущностного различения воображения и восприятия, предложенным уже в рамках критики «теории отражения», выступает их структура. Гуссерль утверждает, что восприятие является простым, а воображение – фундированным актом [1, с. 385]. С целью прояснения данного положения необходимо обратиться к учению Гуссерля о простых и комплексных (составных, фундированных) актах, которое не может быть понято в отрыве от его воззрений относительно реельного и интенционального содержания акта сознания, ноэтического и ноэматического моментов, а также объективирующих актов, содержащихся в «Логических исследованиях» и «Идеях I».

Гуссерль для прояснения своего учения об интенциональности сознания в различных своих работах прибегает к разной терминологии, но основные положения, которые интересуют нас применительно к теме данной статьи, таковы.

В пятом «Логическом исследовании» Гуссерль различает реельное феноменологическое содержание акта (понятого не в смысле «действия», а как переживание сознания (интенциональное переживание)), с одной стороны, и интенциональное (реальное – в смысле отношения к вещественному) содержание акта.

Реельное (имманентное) содержание сознания, которое только и можно назвать содержанием сознания в истинном смысле этого слова, составляют следующие его части и абстрактные моменты (реельно выстраивающие акт частичные

переживания): ощущения (не-интенциональные переживания) и апперцепирующие их акты. Апперцепция (схватывание, толкование, интерпретация) не может быть сведена к притоку новых ощущений и представляет собой типологическое свойство акта, «модус сознания», «настроенности», наделяющий комплекс ощущений определенным смыслом [1, с. 351]. Апперцепция есть избыток, существующий в самом переживании, и отличается от ощущения, еще не подвергшегося обработке [1, с. 353].

Реельному содержанию акта сознания Гуссерль противопоставляет его интенциональное содержание (о «содержании» здесь можно говорить лишь условно), различая следующие понятия интенционального содержания: интенциональный предмет, интенциональную материю, интенциональное качество и интенциональную сущность акта [1, с. 365].

В «Идеях I» Гуссерль уточняет свою мысль с помощью учения о ноэзисе и ноэме. Сторону реельного содержания сознания он именует ноэтической стороной, которую, в свою очередь, описывает с помощью гилеморфической структуры, где чувственные данные выступают в качестве не-интенциональной hylé, а «одушевляющие» их акты сознания – в качестве интенциональной morphé. Интенциональное содержание сознания именуется ноэматическим моментом, при этом материи (dieMaterie) акта, понятой в смысле «Логических исследований», в «Идеях I» соответствует концепция ноэматического ядра [2, с. 403], тогда как термин «материал» (dieStoffe) в «Идеях I» Гуссерль использует для обозначения гилетического содержания, чувственных данных.

Как можно заметить, ноэтическая (актовая) сторона сознания наделена собственной структурой, абстрактные моменты которой составляют не-интенциональные и интенциональные переживания.

Поскольку для Гуссерля интенциональность является важнейшим свойством сознания, интенциональные переживания (смыслопридающие акты) играют в данной структуре существенно более значительную роль, чем гилетический слой. По его мнению, существо, которое бы обладало лишь переживаемыми ощущениями, но не способностью их предметно интерпретировать, не могло бы называться существом, наделенным психикой [1, с. 337]. Поэтому во всех указанных работах он отстаивает позицию, согласно которой воображение и восприятие представляют собой различные модусы интенциональности, различные типы апперцепции, а следовательно, не могут быть редуцированы к чувственным ощущениям и различены, исходя из степени отчетливости последних.

Даже в тех фрагментах, где Гуссерль высказывается о возможном различии гилетического наполнения воображения и восприятия[2], он настаивает на том, что «возможные различия в содержаниях уже не составляют различия между восприятием и воображением, которое скорее <…> есть различие актов как таковых»[1, с. 458].

---

[2] Так, уже в §§ 44, 45 пятого «Логического исследования» Гуссерль различает комплексы ощущений, подвергающихся схватыванию в актах восприятия и воображения: в случае восприятия он именует такие ощущения импрессивными, а в случае воображения – репродуктивными (фантазмами) [1, с. 458,460].

Поэтому структуру воображения и восприятия как критерий их различения необходимо исследовать именно применительно к интенциональным переживаниям сознания (с актовой, ноэтической стороны), а также к предметностям, конституируемым при помощи данных актов (с предметной, ноэматической стороны).

Приблизиться к пониманию учения Гуссерля о простых и фундированных актах сознания помогает его теория объективирующих актов.

Согласно концепции учителя Гуссерля Ф. Брентано, каждый психический феномен или сам является представлением, или основан на представлении [4, с. 24]. Гуссерль, хотя и не придерживается в «Логических исследованиях» тождественной формулировки ввиду возможных эквивокаций, полагает, что любое переживание (акт) сознания либо само является объективирующим актом, либо содержит в своей основе фундирующий его объективирующий («опредмечивающий») акт. По его мнению, «объективирующие акты имеют как раз уникальную функцию – изначально делать представимой предметность для всех прочих актов, ту предметность, к которой последние должны осуществлять свои новые способы отнесения» [1, с. 449].

На предметной стороне сознания (в его интенциональном содержании) Гуссерль коррелятивно различает материю и качество акта, единство которых составляет его интенциональную сущность [1, с. 380].

Материя интенционального акта есть такое его содержание, которое «в первую очередь придает ему отношение к предметному<…>посредством материи не только четко определено предметное вообще, которое подразумевается в акте, но также способ, каким акт его подразумевает» [1, с. 378], материя есть некий способ предметного отношения, не предписанный качеством акта.

Материя акта есть смысл предметного схватывания, с одной стороны, фундирующий качество акта, с другой – безразличный к различиям данного качества, материя акта характеризует его предмет как значимый для акта в качестве этого и никакого другого [1, с. 379].

Под качеством акта в «Логических исследованиях» понимается общее (типологическое) свойство, характеризующее акт, способ предметного отношения, модус (характер) предметной интенции, настроенности [1, с. 375].

Как полагает Гуссерль, «...всякая материя есть <…> материя некоторого объективирующего акта и только посредством такового может стать материей нового, фундированного в нем качества акта» [1, с. 449].

В зависимости от сложности структуры актов все акты сознания Гуссерль подразделяет на простые и составные (комплексные, фундированные).

Простые акты сознания – это объективирующие акты, в них качество и материя не различены. Как полагает Гуссерль, «только то обстоятельство, что интенциональная сущность всех иных актов комплексна, причем так, что она с необходимостью включает в себя сущность представления в качестве одной из своих составных частей, делает теперь различение между качеством и материей обоснованным» [1, с. 392–393].

В случае фундированного акта лежащий в его основе объективирующий акт предоставляет его содержание, т. е. материю.

При этом Гуссерль подчеркивает, что «многослойное строение <…> интенционального отношения осуществляется <…> не в соединении рядом стоящих или следующих друг за другом актов – тогда предмет с каждым актом заново присутствовал бы интенционально, т. е. как повторенный, но в строго едином акте, в котором предмет является один-единственный раз, однако в этой единственности его присутствия достигается цель комплексной интенции» [1, с. 390].

В то время как объективирующий акт является «полным и самостоятельным» актом, т. е. может существовать как отдельное переживание сознания, переплетенные с ним типологические свойства актов указанными характеристиками не обладают.

В «Приложении к §§ 11-му и 20-му» пятого «Логического исследования» Гуссерль относит восприятие к простым актам, а воображение – к фундированным актам сознания, полагая, что воображение как отражающий акт представления фундировано в восприятии и, в отличие от простого представления, непосредственно относящегося к трансцендентной вещи, относится к ней опосредованно [1, с. 384–386]. Поскольку данное «Приложение» в целом посвящено критике «теории отражения», с помощью которой описывается структура перцепции, в указанном фрагменте речь идет об образном сознании, в котором образ при изменении характера интенции может стать предметом восприятия, т. е. являться как физическая вещь (например, картина, скульптура и т. п.). При этом Гуссерль различает две предметности, конституирующиеся в акте воображения: являющийся «объект-образ» («Bildobjekt») и отраженный объект, выступающий в качестве «основы образа» («Bildsujet»). Данная схема применялась при анализе структуры представления К. Твардовским, являющимся сторонником «теории отражения», в его работе «К учению о содержании и предмете представлений» [5]. Критикуя применение данной схемы в отношении восприятия, Гуссерль сохраняет ее для воображения.

Что касается актов воображения, конституирующих свой объект в ментальном образе (фантазия), то в «Логических исследованиях» имеются фрагменты, где Гуссерль относит их к простым объективирующим актам (простым представлениям) [1, с. 391]. Однако в контексте, в котором допускаются такие выводы, Гуссерль решает иные задачи, которые не связаны с различением фантазии и восприятия.

В «Лекциях» Гуссерль уделяет рассматриваемой проблеме пристальное внимание.

В сферу воображения (образного сознания) Гуссерль включает как фантазию (внутренние образные представления, где образ имеет ментальный характер), так и образные представления«в обычном смысле этого слова» (с наличием физического образа). В этом смысле данный термин и будет использоваться в статье. При этом к фантазии он относит не только представление объекта, который схватывается в нейтральной установке, но также воспоминание и фантазирование ожидаемого объекта, являющиеся полагающими модусами сознания.

Первоначально Гуссерль считал как образное представление, так и фантазию комплексными актами и для их феноменологического описания использовал схему, на которую уже ссылался в пятом «Логическом исследовании». Количество элементов данной схемы различается в зависимости от того, является образ физическим или ментальным, то есть в зависимости от того, дан нам объект в образном представлении или в фантазии: в первом случае применяется трехзвенная схема, включающая в себя три предметности, а во втором – двухзвенная, включающая в себя две предметности.

В случае образного представления образ выступает в двояком смысле. Во-первых, образ является как физическая вещь и доступен чувственному восприятию, в котором полагается как реальный объект. В этом смысле об образе можно сказать, что картина висит на стене, при ее написании использовались такие-то краски, скульптура расположена в центре парка, изготовлена из такого-то материала и т. п. Гуссерль указывает: «Те же самые ощущения цвета, которые мы один раз интерпретируем как объективное расположение красок на бумаге, на холсте, в другой раз мы интерпретируем как всадника в образе, ребенка в образе и т. д.» [3, с. 21].

Образ, понятый в данном смысле, функционирует как пробуждающий ментальный образ. Вопрос об отношении физического и ментального образа достаточно сложен, в целом можно сказать, что Гуссерль признает наличие влияния первого на второй.

В случае фантазии физический образ отсутствует, ментальный образ конституируется без опоры на актуальное чувственное восприятие. Однако образ носит репрезентативный (репродуктивный) характер, то есть необходимо еще раз подчеркнуть, что приоритетным модусом сознания для Гуссерля является восприятие, осуществляющее прямое отношение к вещи.

Ментальный образ, который имеется и в случае собственно воображения, и в случае фантазии, Гуссерль именует также Bildobjekt («объект-образ»). Bildobjekt – это такой объект, который представлен (однако не в собственном смысле) не «как он сам», а как способ, благодаря которому осуществляется репрезентация, приведение к присутствию отсутствующего Bildsujet. Это ментальный образ, который сознание никогда не полагает в качестве реального объекта [3, с. 21] и который в случае фантазии «витает перед внутренним взором» как результат первичной апперцепции, а в случае образного представления вызывается физическим образом. Bildobjekt обладает собственным определенным способом явления, который в случае образного представления фундирован в восприятии физического образа.

Как в случае фантазии, так и в случае образного представления имеется Bildsujet («основа образа») – это и есть объект, на который направлено сознание, данный объект является, но не «во плоти», а посредством некоторой медиальной структуры – Bildobjekt.

В целях более ясного различения физического образа Bildobjekt (ментального образа) и Bildsujet Гуссерль приводит следующий пример: как физическая вещь (физический образ) на картине «Император Максимилиан на коне» присутствуют

переходы оттенков серого; данные в восприятии линии являются плоскими, однако при их созерцании в воображении перед нашим духовным взором возникает трехмерный ментальный образ всадника, что же касается нашего сознания, то оно направлено не на ментальный образ всадника (Bildobjekt), а посредством данного образа – на императора Максимилиана во плоти (выступающего в данном случае как Bildsujet) [3, с. 21]. Соответственно, в случае фантазии Bildobjekt – это то, что «витает перед нашим внутренним взором» (способ представления), тогда как Bildsujet – это и есть тот объект, который имеется в виду.

Существенным, с точки зрения Гуссерля, является то, что Bildobjekt есть аналогический репрезентант Bildsujet, первый в отношении последнего наделяется качеством подобия, сходства. Здесь мы имеем дело с имманентной репрезентацией. То есть, несмотря на наличие нескольких предметностей, явление только одно, поскольку Bildobjekt есть способ данности Bildsujet, именно в нем и через него мы созерцаем Bildsujet. Таким образом, для воображения как имманентной репрезентации важны как Bildsujet, так и Bildobjekt, поскольку Bildsujet приводится к присутствию именно через Bildobjekt. В случае принятия эстетической установки (которая отнюдь не всегда сопутствует образному сознанию) внимание может быть обращено на Bildobjekt даже в большей степени, чем на Bildsujet.

Сущностным для акта образного представления является сознание различия между Bildobjekt и Bildsujet. Это особенно важно для реализации эстетической установки. Как отмечает Гуссерль: «…если бы являющийся образ был с феноменологической точки зрения абсолютно идентичным подразумеваемому объекту, или, лучше сказать, если бы явление в образе не демонстрировало какого бы то ни было различия с явлением в восприятии объекта в его самости, то образное сознание едва ли могло возникнуть» [3, с. 22]. В «Лекциях» Гуссерль уделяет особое внимание проблеме конкуренции образного сознания (в структуре которого присутствует физический образ) с восприятием. Примером такой конкуренции во времена Гуссерля являлись восковые фигуры. В данном случае, когда провести различение между Bildobjekt и Bildsujet затруднительно и интенция постоянно колеблется от воображения к восприятию и обратно, возникает антиэстетическое чувство. «Эстетические эффекты – это не эффекты ярмарок» [3, с. 44], – отмечает Гуссерль.

В отличие от имманентной, трансцендентная репрезентация представляет собой не образное, а сигнификативное (символическое) сознание, в котором Bildobjekt и Bildsujet связаны лишь внешне, в связи с чем вначале является первый, а затем второй (то есть имеются два самостоятельных явления), и Bildobjekt исчерпывает себя в указательной функции. Интенция следует за указанием, осуществляемым Bildobjekt, и переходит к Bildsujet, не возвращаясь обратно. Можно сделать вывод о том, что имманентная репрезентация представляет собой смыслоосуществляющий акт в смысле §§17, 18 первого «Логического исследования» [1], в то время как трансцендентная репрезентация есть не что иное, как пустая интенция значения. Имеют место случаи дополнения трансцендентной репрезентативной интенции последующей имманентной репрезентативной интенцией (например, плохая

репродукция не позволяет созерцать Bildsujet, но может выполнять функцию знака, вызывающего в памяти более или менее адекватный образ картины).

По мере написания «Лекций» Гуссерль переосмысливал ранее сформулированные им идеи и в главе 8 прямо высказал точку зрения об отсутствии Bildobjekt в случае «простого фантазирования». К описанию структуры «простой фантазии», по утверждению Гуссерля, предложенная им ранее двухзвенная схема неприменима. С ноэтической стороны данный акт сознания характеризуется тем, что в качестве его гилетического наполнения выступают фантазмы, в отношении которых и совершается объективирующее схватывание. В результате объективирующего схватывания на ноэматической стороне не конституируется Bildobjekt, напротив, как указывает Гуссерль, «именно то, что не присутствует, и является незамедлительно» [3, с. 93], простая фантазия «относится к объекту так же прямо, как и восприятие» [3, с. 92].

Таким образом, Гуссерль в указанных работах последовательно придерживается своего первоначального тезиса о том, что восприятие является простым актом, тогда как воображение (в случае физического образа) – комплексным актом. Особое значение в контексте различения восприятия и физического воображения приобретает дескрипция эстетической установки, принятие которой связано, с одной стороны, с переключением внимания с Bildsujet на Bildobjekt (и модификацией нейтральности в отношении полагания Bildsujet), с другой стороны, с наличием ясного сознания различия между «объектом-образом» и его «основой» при одновременном сохранении имманентного характера образности.

В то же время Гуссерль изменил свою первоначальную точку зрения относительно простой фантазии, полагая, что данный акт, как и восприятие, обладает простой структурой, что, с одной стороны, представляется более соответствующим нашему внутреннему опыту, а с другой – вновь возвращает к проблеме отыскания критериев различения фантазии и восприятия с учетом сущностного для сознания свойства интенциональности.

Список литературы

1. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по феноменологии и теории познания / Э. Гуссерль; пер. с нем. В. И. Молчанова. – М.: Академический проект, 2011. – 565 с.
2. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая / Э. Гуссерль, пер. с нем. А. В. Михайлова. – М.: Академический проект, 2009. – 489 с.
3. Husserl E. Phantasy, imageconsciousness, andmemory (1898-1925). Dordrecht: Springer, 2005. – 723 p.
4. Брентано Ф. Психология с эмпирической точки зрения // Брентано Ф. Избранные работы. М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1996. – 176 с.
5. Твардовский К. К учению о содержании и предмете представлений. Психологическое исследование // Твардовский К. Логико-философские и психологические исследования. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. – 252 с.

Drozhetskaya E.V. The Structure of Image Consciousness and Perception as a Distinction Criterion in E. Husserl's Works // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 35–44.

The problem of makinga difference between image consciousness and perception playsa greatepistemologicalrole in Edmund Husserl's works. The proposition that perception, unlike the image consciousness, reaches the thing itself but not just the copy (image) of the thing, as it is supposed by the followers of the "image-theory", makes possible to consider the experience to be the legitimate source of knowledge (and finally to prove the possibility of science).Therefore it is very important to find out not quantitative but qualitative, essential,differences between perception and image consciousness. One of the moments, according to which the above-mentioned modes of consciousness may be distinguished, is their structure. This ideamay seem evident only at first sight. According to the complicacy of structure Husserl draws a distinction between simple acts of consciousness and complex(founded) acts of consciousness. In a simple act the object is set before consciousness as an object, becomes presented to consciousness, and this makes possibleto form further reference to this object (so that it may become an object of judgement, evaluation, feeling, desire etc.).Criticizing the "image-theory"Husserl points out that image consciousness is a founded act, unlike perception. It means that the object appears but isn't taken by itself, it functions like the representant, analogue (Husserl names it "Bildobjekt"), which makes possible for consciousness to have reference to another object, which doesn't appear and isn't presented, but is meant by consciousness, is re-presented (Husserl names it "Bildsujet"). This proposition shows that "being representative" can't be a "real predicate"of an object but is a result ofitspeculiar apperceptionas such by the spontaneous act of consciousness. Criticizing the "image-theory" Husserldistinguishes between the act of perception and the act of image consciousness in which image has physical nature. But it is necessary to mention that image may have mental nature as well. In the latter case an act of image consciousness is named "phantasy". At first he supposed that phantasy is also a founded act and gave a description of it using the same scheme (Bildobjekt – Bildsujet). But hereafter he came to the opinion that "simple presentation of phantasy" is not complexbut a simple act of consciousness. Despite the latter proposition seems to be more reasonable, it again risesthe problem of drawing a distinction between perception and image consciousness.

Key words: perception, image consciousness, phantasy, simple and founded acts of consciousness, Bildobjekt, Bildsujet.

References

1. Gusserl' E. Logicheskie issledovaniya. T. II. Ch.1: Issledovaniya po fenomenologii i teorii poznaniya [Logical Investigations. T. II. Ch.1: Investigations in Phenomenology and Knowledge]. Moscow, Akademicheskii Proekt, 2011, 565 p.
2. Gusserl' E. Idei k chistoi fenomenologii i fenomenologicheskoi filosofii. Kniga pervaya [Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy. First Book]. Moscow, Akademicheskii Proekt, 2009, 489 p.
3. Husserl E. Phantasy, image consciousness, and memory (1898-1925). Dordrecht, Springer, 2005, 723 p.
4. Brentano F. Psikhologiya s empiricheskoi tochki zreniya [Psychology from an Empirical Standpoint] // Brentano F. Izbrannye raboty. Moscow, Dom intellektual'noi knigi, Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo, 1996, 176 p.
5. Tvardovskii K. K ucheniyu o soderzhanii i predmete predstavlenii. Psikhologicheskoe issledovanie [On the Content and Object of Presentations. A Psychological Investigation] // Tvardovskii K. Logiko-filosofskie i psikhologicheskie issledovaniya. Moscow, «Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya» (ROSSPEN), 1997, 252 p.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 2. С. 45–57.

УДК 101.1

ФИЛОСОФСКИЙ ДИАЛОГ В КОНТЕКСТЕ КОМПАРАТИВИСТИКИ[1]

Зарапин О. В.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация.

E-mail: zaraoleg@yandex.ru

В статье ставится вопрос о соотношении диалога в значении формы философского текста и в значении концепта, используемого в современных компаративистских исследованиях. Вопрос о таком соотношении нацелен на прояснение условий, обеспечивающих концепту диалог с его компаративистской релевантностью. Данные условия выявляются в рамках типологических особенностей текстовой организации философского диалога. Понятие «тип» текста раскрывается в контексте используемой Платоном политически-философской метафоры философа как «основателя государства» (οἰκισταὶ πόλεως), который решает, чем занимаются поэты. Отмечается, что диалог есть не столько определенный тип текста, сколько «формат текстовой культуры», в рамках которого выделяются различные (практический, теоретический и «двусмысленный») типы философских текстов. Выдвигается тезис о типологической соотнесенности философского текста и религиозного, научного, художественного текстов. С точки зрения платоновской метафоры ставится вопрос и обозначается перспектива исследования политически-философских текстов как символических прототипов текстовой культуры диалога, рассматриваемой в трех ее типовых выражениях.

Ключевые слова: диалог, тип, формат, текстовая культура, компаративистика.

В лексиконе современных компаративистских исследований заметное место занимает термин «диалог». Выражение «диалог культур» [3; 5] стало традиционным, оно репрезентирует широкий фронт комплексных исследований и, не вмещаясь в рамки методологической постановки вопроса, заключает в себе мировоззренческую нагрузку, находящую свое философское выражение и осмысление в соотношении с такими понятиями, как «межкультурный диалог» [15; 28] и «межкультурная философия» [22].

Обратим внимание, что в компаративистском контексте концепт «диалог» наряду с рефлексией культуры репрезентирует также феномен междисциплинарности. Один из первых случаев подобной репрезентации можно увидеть в сочиненном П. Абеляром «Диалоге между философом, иудеем и христианином», а современное воплощение – в толковании диалога как встречи с Другим и поиска точек соприкосновения между, к примеру, «философией и наукой»

[1] Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант № 16-03-00120 «Влияние форматирования на смысл: изменения в текстовой культуре и трансформация коммуникации».

[25], «верой и неверием» [26], «наукой и буддизмом» [9], «творчеством и технологией» («science-art») [27]. В этом смысле междисциплинарный ресурс диалога раскрывается как способ взаимодействия различных «когнитивных практик» [16]. Близко к данному пониманию подходит Г. Д. Гачев в работе «Гуманитарный комментарий к физике и химии. Диалог между науками о природе и человеке». В почти назидательном тоне автор замечает: «Современный человек должен допустить, что те же явления, которые для него предстают в математических формулах, в строгих терминах разных наук, в моделях и графиках, осваивали и в мифологиях, в поэзии, в философии, в религиях…» [8, С. 13].

Замечание Гачева интересно тем, что дает мировоззренческий срез диалога как философского концепта, основу которого составляет усилие видеть во множестве языков единый мир выражения. С точки зрения этого усилия междисциплинарность стыкуется с выражением «диалог культур», которое передает мысль о том, что произведения культуры не есть застывшие «образцы» или «памятники», но имеют смысл как «опыты начинания – видеть, слышать, говорить, понимать» [5, С. 661]. Междисциплинарный диалог – это синхроническая картина, укорененная в диахронии культурной идентичности. В. С. Библер и А. В. Ахутин делают важное замечание: «Поэт, Философ, Герой, Теоретик, Мистик – в каждой эпохальной культуре они связаны как персонажи единой драмы и только в этом качестве могут вступить в исторический диалог. Платон современен Канту и может быть его собеседником лишь тогда, когда Платон понят в своем внутреннем общении с Софоклом и Евклидом, а Кант – в общении с Галилеем и Достоевским» [там же].

Каким образом соотносятся диалог как концепт, выражающий философское ядро компаративистской мысли, и диалог как наследуемая от античности форма философского текста? Вопрос отнюдь не надуманный, ведь фактически мы имеем дело с результатом определенного процесса, в ходе которого текст как локализованный внутри культуры предмет становится «точкой зрения» и трансформируется в язык описания самой культуры. Не видеть этот процесс в его действии – значит в конечном итоге упустить из виду сущность диалога и воспринимать его просто как вполне заменимую фигуру речи.

Но «диалог» – это не фигуральное выражение и не имя, его нельзя заменить на «общение», «коммуникация», «контакт» и т. п., как если бы шла речь о реальности, которую можно по-разному именовать. В том-то и дело, что философски схваченный диалог обозначает не реальность культурной жизни, а метафизически нагруженную позицию осмысления этой реальности. Поэтому у диалога нет синонимов и любое пере-называние будет означать другую позицию, дающую иную смысловую картину культуры. Коль скоро компаративистская мысль центрирована концептом диалога, условием значимости этого концепта является рефлексия того, что соотносит его с диалогом как формой философского текста. Мы полагаем, что такая рефлексия может быть представлена посредством вопроса о диалоговой форме философского текста с точки зрения ее типовой идентификации. В дальнейшем мы намереваемся показать, что в качестве релевантного компаративистике концепта диалог актуализируется в той мере, в какой коммуникативная ситуация текста диалога дает основание для построения

типологии философских текстов, в рамках которой понятие «тип текста» нагружается междисциплинарным значением.

Хорошо известно, что Платон в своих размышлениях об устройстве государства весьма критично относится к поэтам. Вопрос о том, каким должен быть поэтический текст, это вопрос, заданный философом, который мысленно занимает позицию «основателя государства» (οἰκισταὶ πόλεως) [18, С. 158] и которому важно «знать, какими должны быть основные черты поэтического творчества» (εἰδέναι ἐν οἷς δεῖ μυθολογεῖν τοὺς ποιητάς) [там же].

Обратим внимание на платоновское «мыслить как основатель государства». Как истолковать подобную позицию? Во-первых, это позиция, в которой Платон намеренно совмещает точку зрения философа, постигающего вечный Космос, и точку зрения политика, преследующего конкретные интересы государственного строительства. Во-вторых, сочетание философской рефлексии и политического расчета позволяет рассматривать и оценивать поэтические тексты как типажи, т. е. «отпечатки» философского «образца» (τύπος) речи, предназначенной к воспитанию молодых людей. В-третьих, «основание государства» является весомой политически-философской метафорой, в рамках которой понятие «тип текста» осмысляется, как бы мы сегодня сказали, в приближении к компаративистскому соотнесению поэзии и философии.

Насколько позиция Платона позволяет расширить рассуждения до типологии? Применима ли она к построению типологии философских текстов? Ответить на эти вопросы помогает Филон Александрийский, когда разъясняет библейскую идею творения мира посредством аллегории строительства города; эта идея вполне сопоставима с платоновской метафорой законодателя как «основателя государства».

У Филона Александрийского в «О сотворении мира согласно Моисею» мы находим следующее рассуждение: когда строится город, приходит человек, обученный зодческому искусству, и вначале в уме рисует все части города, который собирается строить. «Запечатлев, словно на воске, в своей душе образ каждой из частей, он воздвигает умопостигаемый город» [24, С. 54] (εἶθ’ ὥσπερ ἐν κηρῷ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τοὺς ἑκάστων δεξάμενος τύπους ἀγαλματοφορεῖ νοητὴν πόλιν [Philo., 19]). Затем, «взирая на образец» (ἀνακινήσας τὰ εἴδωλα), мастер начинает строительство города. В изложении Филона εἴδωλον и τύπους – это близкие и все-таки разные понятия, их отличает вопрос о том, идет ли речь об образце в смысле только задумываемого плана или уже применяемого в практике строительства.

Что нам дает аллегория Филона, сопоставляемая с мысленным экспериментом Платона? Метафора города (πόλις) дает не просто образ распланировки местности, в сравнении законодателя и архитектора проявляется антропоморфная структура, релевантная в отношении анализа текстовой культуры с точки зрения компаративистски осмысляемого понятия «тип текста». Данная структура имеет три части, следуя Филону, их можно обозначить так: 1) ум зодчего, в котором все части (τύπους) согласуются в целостности «умопостигаемого города»; 2) идеальные прообразы будущих строений (εἴδωλον); 3) реальный город как «чувственная сущность» (σωματικός οὐσία), выражающая замысел зодчего.

Попробуем спроецировать данную структуру на область текстовой культуры. В плане «чувственной сущности» мы имеем текстовую «реальность», в рамках которой фиксируемая в культуре ситуация сосуществования философского, научного, религиозного и художественного текстов рассматривается как выражение типики связывающих их отношений. В плане прообраза речь идет о типах текстов как идеальных конструктах, проявляющихся в реальности и определяющих, что и как связывает тексты. С чем соотнести «ум зодчего»? Мы полагаем, что соотносимым является понятие «формат», производный от него глагол «форматировать» подразумевает набор текстовых операций (определение шрифта, размер поля, оформление абзаца и т. д.), сопоставимый с представлением об «умопостигаемом городе» в качестве формы, посредством которой различные типы согласуются друг с другом как части одного целого.

Из этой конструкции следует, что понятие «тип текста» является двузначным (вспомним о филоновом разграничении εἴδωλον и τύπους). В первом значении оно схватывается в отношении к реальности текстовой культуры. Такой подход определяет соответствующий вариант типологии, нацеливая на вопрос о параметре, позволяющем разбить текстовую реальность на сегменты и идентифицировать каждый из них. Данный вариант типологии можно охарактеризовать как аналитический. Во втором значении тип текста схватывается в отношении формата, в этом случае построение типологии связывается с решением иной задачи – реконструировать условие согласованности различных типов и тем самым обозначить идеальное единство поля текстовой культуры. Разработка подобной задачи определяет направленность синтетической типологии.

Уклон в аналитическую сторону – заметная особенность современных лингвистических исследований, в рамках которых значительную роль играет функциональный подход. Функционально-стилевой параметр позволяет выделить пять типов текста: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художественный [7; 10]. Функциональный подход в рассмотрении проблемы типологии текстов не является исчерпывающим. Наряду с функциональным стилем выделяются также и другие параметры, определяющие собственные варианты типологии [1, С. 47–51].

Следует подчеркнуть, что рассматриваемые подходы опираются на параметры, в которых текст отражается как завершенное образование или готовый продукт, что позволяет ставить вопрос о типологии текста также и с другой стороны – с точки зрения процессов текстообразования. Такой подход, по мысли И. В. Кузнецова и Н. В. Максимовой, преодолевает ограниченности функционализма тем, что открывает «ретроспективу, восходящую к стилевому синкретизму, позволяет увидеть эволюцию типов текста» [11, С. 54–67]. Ретроспективно ориентированная типология определяется дихотомией «нарратив – ментатив» и соответствует теоретическим установкам нарратологии. Если к нарративному типу относятся художественные тексты, то ментатив представлен «научными, философскими текстами, а также многими текстовыми моделями публицистики, эпистоляриев, дневниковых записей» [там же, С. 55]. Их различает референция к событию (случайность, доходящая до несовпадения с действительностью в случае нарратива)

или процессу (объективность, мысленная реальность или идея в случае ментатива). В отношении научного текста в том смысле, в каком он воплощает теоретическое мышление, подобное размежевание между событийностью и процессуальностью означает выявление нормы (событие есть уклонение от нормы), которое осуществляется в рассуждении посредством того, что рассуждение членится как цепь дефиниций [23, С. 145].

Какова особенность аналитического подхода в вопросе типологии? Текстовую реальность можно разбить на различные типовые сегменты в зависимости от того, с какой целью это делается. Теоретическая цель неразрывно связана с вопросами прикладного значения предлагаемой типологии, и эти вопросы выражают широкий круг потребностей, например, в освоении профессиональных навыков текстовой деятельности (такой как академическое письмо), разработке алгоритма машинного перевода, усовершенствовании методик литературного перевода и проч. В какой мере ресурс аналитического подхода достаточен для решения философских задач? Не вызывает сомнений его продуктивность в такой важной области, как деятельность по переводу философских текстов, и предпринимаемые в этом направлении усилия переводчиков, сочетающих в себе философа и лингвиста, сложно переоценить.

Есть еще одна сторона проблемы, на которую стоит обратить внимание. Существуют тексты, расположенные как бы на стыке философии и науки, философии и религии, философии и художественной литературы. Факт существования подобных текстов вызывает вопрос о его возможности (со стороны философа необходимый для саморефлексии). Нельзя не заметить, к примеру, что «Исповедь» Августина – это религиозно-философский текст, который подобен «Мыслям» Паскаля. На чем основано утверждение такого подобия? Что такое религиозно-философский текст как синкретический конструкт? Или еще пример: В. И. Вернадский и его учение о ноосфере как своеобразный мост, связывающий естествознание и гуманитарную мысль. Как аттестовать основное произведение Вернадского «Научная мысль как планетное явление», где идея ноосферы получает свою концептуальную разработку? Как научный текст, перегруженный философским смыслом? Или коряво звучащим «научно-философское произведение»? Наконец, что такое «Философские повести» Вольтера: метафора в качестве заголовка, литературное произведение, созданное философом, или синкретический текстовый продукт, расположенный на стыке художественного выражения и философского размышления? Что выражает подход М. К. Мамардашвили к прочтению романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» в качестве метафизического текста – смешение философии и литературы или, напротив, попытку их размежевания?

Вопросов много, их не спишешь в специальную и узкую область исследований. Напомним наш вопрос: в какой мере аналитический подход к типологии отвечает потребности философа в саморефлексии? Это не академическое письмо и не машинный перевод, где можно задавать операциональный параметр выделения типов. Обращение к саморефлексии со стороны философа есть поиск смысла

текстовой культуры в целом, а это отвечает особенностям синтетического подхода к вопросу типологии. Сделаем два замечания.

Первое: понятие «синтетический тип» относится к формату как единому полю текстовой культуры, его назначение в том, чтобы выявить закрепленный в этом единстве порядок, согласованность содержания текстовой реальности как основание для типового сравнения, сопоставления или отождествления текстов. Второе: в той мере, в какой обращение к синтетическому подходу мотивировано соображением философской рефлексии, именно философский текст обозначает центр поля текстовой культуры. И на вопрос – как идентифицировать формат текстовой культуры? – есть резонный, с точки зрения философа, ответ: как диалог.

Какие синтетические типы текста позволяет выделить формат диалога? Вначале отметим, что особенность данного формата выявляется в оппозиции диалог/монолог и раскрывается как особенность коммуникативной ситуации диалога, построенной на ожидании ответной реакции собеседника. Подобная идея в центре внимания М. М. Бахтина: «В слове говорящего всегда есть момент обращения к слушателю, установка на его ответ. Это ярче всего проявляется в диалогической речи» [2, С. 209].

Следует полагать, что конструируемые в рамках диалогового формата типы текста являются также коммуникативно заряженными и конкретизируют ситуацию «обращения к слушателю» в различных вариантах того, как именно осуществляется это обращение и на какой ответ рассчитано. Одно дело – побуждать собеседника к дискуссии, ориентированную на знание, и другое – формировать убеждение как определенную модель поведения. В первом случае тип текста можно назвать теоретическим, его синтетическая значимость в том, что он связывает философский текст и научный. Второй тип мы обозначим как практический, его синтетичность реализуется в направлении связанности философского и религиозного текста.

Тип, обеспечивающий взаимосвязь философского и художественного текстов, отражает более сложную ситуацию адресации, разворачивающуюся одновременно в двух планах: познания и поведения. Мы обозначим его как тип «двусмысленного текста», отмечая особенность связанного с ним побуждения. М. К. Мамардашвили в анализе романа Пруста раскрывает «впечатление» как центральную тему в рефлексии стыка философского и художественного текстов [14, С. 20; 156]. Можно ли сказать, что эта тема репрезентирует типовую особенность текстовой культуры, в рамках которой перед читателем ставится задача «реализовать впечатление» как опыт смыслопорождения, открывающий в познании и поведении путь личностных актов? Данный вопрос фиксирует проблему описания предметности типов. Подход к ее решению можно видеть в том, чтобы описать синтетические типы как собственные типы философского текста. Отсюда два вопроса: 1) какие жанры философского текста репрезентируют типы? 2) Какие коммуникативные особенности текстов (обстоятельства порождения, цель текста и предполагаемый адресат) характеризуют формат и могут быть отнесены к разряду типовых особенностей?

Практический тип текста. Наиболее заметен в древней философии и репрезентирован жанрами: 1) «увещевания» (греч. προτρεπτικός) – платоновские

«Алкивиад I», «Евтидем» и «Клитофонт»; 2) «наставления» (греч. παραίνεσις) – «Наставление к супругам» Плутарха; «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки; 3) «утешения» (греч. παραμῦθία) – «Слово утешения к жене» Плутарха; «Утешение к Маркелле» Порфирия; «Утешение философией» Боэция.

Обстоятельства порождения: имеют одну сходную черту – это тексты, как правило, написаны по конкретному поводу и отражают некоторый поворотный момент в повседневной жизни человека. Таким поворотом может быть первое выступление на народном собрании (платоновский «Алкивиад I»), смерть близкого человека («Слово утешения к жене» Плутарха), несправедливый приговор и заключение в тюрьму («Утешение философией» Боэция), женитьба («Наставление к супругам» Плутарха) и т. д. Заметная их особенность в том, что повод написания текста находит свое выражение в содержании самого текста. Текст не дистанцируется от жизненной ситуации конкретного человека, но вбирает ее в себя и делает своим содержанием.

Цель текста: «приобщить к философии», «дать наставление» и «утешить» – все это разные целевые установки, их объединяет стремление вызвать в человеке умственную перемену (греч. μετάνοια как «сожаление» или «раскаивание»), которая не позволит поворотному моменту развиться в жизненную драму. Сократ разговаривает с Алкивиадом, чтобы разрушить юношеское самомнение как угрожающую судьбе силу, локализованную внутри и потому невидимую Алкивиаду. В «Нравственных письмах» Сенека прямо заявляет, что «наша беда не приходит извне: она в нас, в самой нашей утробе», поэтому мы не знаем о болезни и «не ищем врача» [20, С. 84]. Чтобы выздороветь, болезнь нужно осознать. В этом смысле философский текст разыгрывает повод для своего создания как зеркало, в котором читатель может увидеть собственную ситуацию, пусть буквально и не совпадающую с описываемым.

Адресат: определяется в соответствии с практической нацеленностью текста как человек, нуждающийся в совете. Им может быть не только неопытный юноша, но и искушенный в философских размышлениях Боэций, который также не видит в себе источник своих несчастий.

Каким образом выявленные особенности характеризуют диалоговый формат применительно к практическому типу философского текста? Обращение автора – это назидание, близкое к тому, что можно обозначить как напутствие или совет, соответствующий ему ответ разворачивается в диапазоне реакций от простой благодарности за совет до усилия по его претворению в жизнь.

Теоретический тип текста. В философии репрезентируется жанрами: 1) «трактат» («Этика» Б. Спинозы); 2) «размышления» («Метафизические размышления» Р. Декарта); 3) «опыты» («Опыты о человеческом разумении» Дж. Локка); 4) «лекции» («Лекции по истории философии» Г. Гегеля).

Обстоятельства порождения: могут отражаться в самом тексте и даже определять его построения так, как, например, в лекциях, но они не образуют ядро содержания, что существенно отличает теоретический тип от практического. К примеру, в «Рассуждениях о методе» Декарт в автобиографической манере описывает контекст происхождения своих идей о познании, но это не ограничивает

и не определяет смысл его методологического проекта. Здесь заметна тенденция выхода текста за рамки ситуативности повода к его созданию, замкнутость на содержании, выражаемая в установке на общезначимое.

Цель текста – в обнародовании идей, которые могут принести всеобщую пользу в силу своей новизны. Польза новизны подчеркивается в «Письме к читателю», с которого Локк начинает свои «Опыты». Он пишет, что чувствует «так мало желания печататься, что если бы не льстил себя мыслью, что этот «Опыт» может быть сколь-нибудь полезен для других» [12, С. 84], то оставил бы его для узкого круга друзей. И именно новизна является одной из причин подобного нежелания, поскольку неизбежно вносит конфликт с традиционными представлениями. Такой конфликт нельзя трактовать в качестве культурно-исторической особенности Нового времени. Как симптом он выявляет теоретический тип текста в разных исторических условиях. Это и публичное сжигание в древних Афинах книги Протагора «О богах», и осуждение еретических текстов Абеляра на Санском соборе. Наконец, не является ли «защита» диссертации своего рода институциализированной формой теоретического текста, которая позволяет сублимировать привносимый им конфликт?

Адресат теоретического текста трудно определим, не вносят ясности ни образовательные, ни сословные, ни профессиональные параметры. «Я желаю, – замечает Локк, – чтобы ее [книгу] понял каждый, кто даст себе труд прочесть ее» [там же]. Поэтому Локк идет на дополнительное усилие: учитывая естественное разнообразие вкусов и предпочтений, одну и ту же идею он выражает различными способами. Это показатель открытости текста любому читателю, правда, с оговоркой, что читательская позиция будет соответствовать цели текста, т. е. выражать заинтересованность в новом взгляде на вещи.

Каким образом коммуникативные особенности теоретического текста характеризуют его диалоговый формат? Обращение автора и читательский ответ связываются в отношении феории. Греческое θεωρία значит «учение», «созерцание», а также «путешествие», что подчеркивает новизну как существенную для нас коннотацию. Отправить человека с вопросом к оракулу – значит снарядить теора (греч. θεωρός). Какую реакцию предполагает его рассказ по возвращении? Думается, что здесь недостаточно выступить в роли заинтересованного слушателя. Получить ответ мало, его надо опробовать и испытать. Диалоговый формат теоретического текста можно представить как ситуацию научения или обучения, где автор демонстрирует определенную возможность, рассчитывая, что она будет освоена и опробована читателем как возможность его собственного мышления.

Тип «двусмысленный текст» представлен жанрами: 1) «утопия» и «антиутопия» («Государство» Платона, «Новая Атлантида» Ф. Бэкона, «Остров» О. Хаксли); 2) философский роман (Вольтер «Кандид»; Дидро «Племянник Рамо»; Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»; «Чума» А. Камю, «Тошнота» Ж. П. Сартра, «Дневник обольстителя» С. Къеркегора, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше).

Обстоятельства порождения в тексте не находят своего прямого отражения. Текст и внетекстовая реальность расходятся оттого, что в самом тексте создается подчеркнуто вымышленная и альтернативная реальность художественных образов и

метафор. Ключевой метафорой жанра утопии выступает «остров» как затерянный мир, оторванный от цивилизации и существующий особняком. Условность реальности подчеркивается, к примеру, Т. Мором стилистически: о порядках утопийцев мы знаем только со слов Рафаила Гитлодея, автор лишь пересказывает состоявшийся разговор. Эта же особенность заметна и в отношении философского романа. Вольтер в «Орлеанской девственнице» фальсифицирует автора созданного им произведения, задавая риторический вопрос: «К чему знать, кто автор?» [6, С. 21].

Цель текста варьируется от критики до апологии определенной философской идеи. Важная особенность в том, что эта идея зашифрована в сюжете, сплетается с обстановкой и персонифицирована во множестве диалоговых ситуаций. Понятно замечание Вольтера о том, что читателю следует «извлекать назидание из морали, скрытой в аллегориях» [там же]. И в качестве обобщающей характеристики текста можно взять фразу Вольтера о произведении, «в котором сказано больше, чем это кажется на первый взгляд» [6, С. 234]. Таким образом, текст косвенно транслирует идею, метафоры и художественные образы призваны воздействовать на читателя, по выражению Мамардашвили (он использует понятие «косвенный текст»[2]), – «внушить состояние», из которого разворачивается опыт смыслопорождения как личностный акт понимания. Индуцируемый текстом смысл характеризуется эквивокативностью, он отражает дорефлексивную позицию мысли, которая не разделяет форму и содержание и не выделяет особенности теоретического и практического подхода к предмету. Так, например, Заратустра у Ницше – это персонификация философского смысла, редуцирующего дуализм теоретического и практического к постижению, что «воля к истине» (Wille zur Wahrheit) подразумевает сущее, которое «должно подчиняться и покоряться» (es soll sich euch fügen und biegen!) [17, С. 108].

Адресат определяется негативно в смысле текста, созданного автором для себя. Образец такой самоадресации дает Руссо в «Новой Элоизе», подчеркивая, что этот текст не рассчитан ни на «людей со взыскательным вкусом», ни на «блюстителей нравственности», также он не подходит для «набожных людей», вольнодумцев и философов: «Итак, кому же книга понравится? Да, пожалуй, лишь мне самому» [19, С. 26]. Тут же у Руссо мы находим и самохарактеристику в проекции вымышленных авторов переписки: «чужестранцы, живущие в глуши, юные существа, почти дети, восторженные мечтатели, которые принимают за философию свое благородное сумасбродство» [там же, С. 25].

Каким образом выявленные коммуникативные особенности типа «двусмысленный текст» характеризуют его диалоговый формат? Обращение автора – это намек как пластичный и расплывчатый смыслообраз, рассчитанный на творческую реакцию читателя, который все поймет сам. Коммуникативная

[2] [2] «Грубо говоря, я предложил бы различение текстов на два рода: есть тексты, которые можно назвать прямыми, а есть тексты косвенные. Первые являются аналитическим, а вторые – выразительными текстами». Далее: в косвенных текстах «не столько формулируется некоторое понимаемое самим же автором содержание, сколько передается, внушается некоторое состояние сознания или состояние духа» [13, С. 13].

особенность намека соответствует ситуации намеренно недоговоренной фразы, загадочность которой побуждает собеседника к разгадке.

В рамках диалогового формата мы выделили три его спецификации («совет», «обучение», «намек»), в которых выражаются типовые особенности философского текста как практического, теоретического и «двусмысленного». Относительно какой точки зрения данная типология имеет смысл? Стоит вспомнить, что само понятие «тип текста» мы рассматриваем в связке с выдвигаемой Платоном политически-философской метафорой «основания государства». Как в таком случае соотносятся типы философского текста с этой политической метафорой и нельзя ли сказать, что в традиции, восходящей к платоновскому «Государству», мы находим символически выраженные прототипы теоретического, практического и «двусмысленного» текстов? Если допустить такую постановку вопроса, можно сказать, что «Государь» Н. Макиавелли является прототипом практического текста, «Богословско-политический трактат» Б. Спинозы, а также «Левиафан» Т. Гоббса – прототипы теоретического текста. Наконец, «Утопия» Т. Мора, «Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Новая Атлантида» Ф. Бэкона – это прототипы «двусмысленного» текста.

Все это позволяет сделать предположение о том, что политически-философский текст отражает ситуацию философского текста в том смысле, что обозначает позицию автора в отношении общественной реальности на стыке критического о-странения и ангажированности, которому постоянно угрожает дилемма «vita activa – vita contemplativa» (Х. Арендт). Выйти за эти пределы для автора – значит выйти за рамки философии в направлении объективности или ангажированности, а попытка балансировать сталкивается с проблемой совместимости фактов и ценностей, непредвзятой рефлексии и социальной ответственности. Не является ли политически-философский текст как прототип текстовой культуры диалога тем решением проблемы, которое дается не путем размышления и последовательного согласования позиций, а путем изготовления/обретения образца для действия? Подобный вопрос намечает перспективу дальнейшего исследования.

Итак, что же обеспечивает концепту «диалог» релевантность контексту компаративистики? Она обеспечена особенностями диалога как формы философского текста в той мере, в какой диалог можно рассматривать в качестве рефлексивной и производной от текста надстройки. Тот момент, в котором особенности текста проявляются в качестве компаративистски распознаваемых возможностей концепта, с нашей точки зрения, обозначается вопросом о диалоге как формате текстовой культуры. В рамках этого формата мы выделяем три типа текста: практический, теоретический и т. н. двусмысленный, они играют роль каналов междисциплинарных связей философского текста с религиозным, научным и художественным.

Список литературы

1. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа: Учебник для вузов / Л. Г. Бабенко – М. : Академический проект, 2004. – 464 с.
2. Бахтин М. М. Из архивных записей к работе «Проблемы речевых жанров» // Собрание сочинений в 7 т. / М. М. Бахтин. – М. : «Русские словари», 1997. – Т. 5. – С. 207–286.
3. Библер В. С. Культура. Диалог культур (опыт определения) // Вопросы философии. – 1989. – № 6. – С. 29–43.
4. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. – М. : Политиздат, 1990. – 413 с.
5. Библер В. С., Ахутин А. В. Диалог культур // Новая философская энциклопедия в четырех томах. – М. : Мысль, 2010. – 1 т. – С. 659–661.
6. Вольтер Поэмы. Философские повести. Памфлеты / Вольтер; пер. с фр. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 493 с.
7. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 139 с.
8. Гачев Г. Д. Гуманитарный комментарий к физике и химии. Диалог между науками о природе и человеке. – М. : Логос, 2003. – 512 с.
9. Далай-лама и российские ученые. Диалоги о сознании. URL: http://dalailama.ru/video/3540-dalai-lama.html (Дата обращения: 01.11.2017).
10. Кожина М. Н. К основаниям функциональной стилистики / М. Н. Кожина. – Пермь : Перм. гос. ун-т, 1968. – 251 с.
11. Кузнецов И. В., Максимова Н. В. Текст в становлении: оппозиция «нарратив» – «ментатив» // Критика и семиотика. – 2007. – Вып. 11. – С. 54–67.
12. Локк Дж . Опыт о человеческом разумении // Сочинения в 3-х. т. / Ред. И. С. Нарский. – М. : Мысль, 1985. – Т.1. – 621 с.
13. Мамардашвили М. К. Очерк современной европейской философии / М. К. Мамардашвили. – М. : Прогресс-Традиция, Фонд Мераба Мамардашвили, 2010. – 584 с.
14. Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути / М. К. Мамардашвили. – М. : РХГИ, 1997. – 571 с.
15. Межуев В. М. Диалог как способ межкультурного общения в современном мире // Вопросы философии. – 2011. – № 9. – С. 65–73.
16. Микешина Л. А. Диалог когнитивных практик. Из истории эпистемологии и философии науки / Л. А. Микешина. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЕН), 2010. – 575 с.
17. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / пер. с нем. Ю. М. Антоновского. – М. : ИФ РАН, 2004. – 384 с.
18. Платон. Государство. Сочинения. В 3-х т. // Ред. Асмуса В. Ф. – М. : Мысль, 1971. – Т. 3. Ч. 1. – С. 89–454.
19. Руссо Ж. Ж. Юлия, или Новая Элоиза / Ж. Ж. Руссо ; пер. с фр. – М. : Художественная литература, 1968. – 772 с.
20. Сенека. Нравственные письма к Луцилию / Сенека. – М. : Наука, 1977. – 383 с.
21. Сравнительная философия. Знание и вера в контексте диалога культур / Ред. М. Т. Степанянц. – М. : Издательская фирма «Восточная литература». – 2008. – 344 с.
22. Степанянц М. Т. От европоцентризма к межкультурной философии // Вопросы философии. – 2015. – № 10. – С. 150–162.
23. Тюпа В. И. Дискурсивная практика теоретического мышления // Критика и семиотика. – 2009. – Вып. 13. – С. 142–151.
24. Филон Александрийский. О сотворении мира согласно Моисею // Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета / Пер. и коммент. А. В. Вдовиченко, М. Г. и В. Е. Витковских, О. Л. Левинской. – М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2000. – С. 51–113.
25. Философия и наука в культурах Востока и Запада / Ред. М. Т. Степанянц. – М. : Наука – Вост. лит., 2013. – 357 с.
26. Эко У. и Мартини К. М. (кардинал). Диалог о вере и неверии / Пер. с ит. (Серия «Диалог»). – 3-е изд. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011 – 144 с.

27. SCIENCE ART: наука или искусство – нужное почеркнуть. URL: http://strelka.com/ru/magazine/2015/08/20/scienceart (Дата обращения: 01.11.2017).
28. Intercultural Dialogue: In Search of Harmony in Diversity / Ed. by E. Demenchonok. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 402 p.
29. Philonis Alexandrini De opificio mundi / Ed. L. Cohn, P. Wendland // Philonis Alexandrini opera quae supersunt. Bd. 1. B., 1896. S. 1-60.

Zarapin O.V. Philosophical Dialogue in the Context of Comparative Studies // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 45–57.

The article raises the question of the correlation between the dialogue in the meaning of the philosophical text form and in the meaning of the concept used in modern comparative studies. The question of such a relationship is aimed at clarifying the conditions that provide the concept of dialogue with its comparative relevance. The given conditions are revealed within typological features of the textual organization of the philosophical dialogue. The concept of "type" of the text is disclosed in the context of the political-philosophical metaphor used by Plato as the "founder of the republic" (οἰκισταὶ πόλεως), deciding what poets have to do. It is noted that the dialogue is not so much a certain type of text as "the format of a text culture," in which various (practical, theoretical and "ambiguous") types of philosophical texts are distinguished. A thesis is advanced about the typological correlation of the philosophical text and religious, scientific, literature texts. From the point of view of the Platonic metaphor, the question is raised and the prospect of studying political and philosophical texts as symbolic prototypes of the textual culture of the dialogue, considered in its three standard expressions, is outlined.

Key words: dialogue, type, format, text culture, comparative studies.

References

1. Babenko L. G. Filologicheskij analiz teksta. Osnovy teorii, principy i aspekty analiza: Uchebnik dlya vuzov [Philological analysis of the text. Fundamentals of the theory, principles and aspects of analysis: Textbook for high schools]. Moscow, Akademicheskij proekt, 2004, 464 p.
2. Bahtin M. M. Iz arhivnyh zapisej k rabote «Problemy rechevyh zhanrov» [From archival records to the work "Problems of speech genres"], in Bahtin M. M. Sobranie sochinenij v 7 tt [Collected Works in 7 volumes]. Vol. 5: 207-286, Moscow, “Russian dictionaries” Publ., 1997, 731 p.
3. Bibler V. S. Ot naukoucheniya k logike kul'tury. Dva filosofskih vvedeniya v dvadcat' pervyj vek [From science to the logic of culture. Two philosophical introductions in the twenty-first century]. Moscow, Politizdat, 1990, 413 p.
4. Bibler V. S., Ahutin A.V. Dialog kul'tur [Dialogue of cultures]. Novaya filosofskaya ehnciklopediya v chetyrekh tomah [New philosophical encyclopedia in four volumes]. Vol.1: 659-661. Moscow, Mysl’ Publ., 2010, 744 p.
5. Bibler V. S. Kul'tura. Dialog kul'tur. Opyt opredeleniya [Culture. Dialogue of cultures. Defenition experience]. Voprosy filosofii [Issues of philosophy], 1989, № 6, p. 29-43.
6. Vol'ter Poehmy. Filosofskie povesti. Pamflety [Poems. Philosophical novels. Pamphlets]. Kiev, Politizdat Ukrainy, 1989, 493 p.
7. Gachev G. D. Gumanitarnyj kommentarij k fizike i himii. Dialog mezhdu naukami o prirode i cheloveke [Humanitarian commentary on physics and chemistry. Dialogue between the sciences of nature and man]. Moscow, Logos, 2003, 512 p.
8. Gal'perin I. R. Tekst kak ob"ekt lingvisticheskogo issledovaniya [Text as an object of linguistic research]. Moscow, Nauka Publ., 1981, 139 p.
9. Lokk, Dzh. Opyt o chelovecheskom razumenii [An Essay Concerning Human Understanding], in: Lokk, Dzh. Sochineniya v 3 t. [Works in 3 volumes]. Vol. 1: 78-583. Moscow, Mysl’ Publ., 1985, 621 p.
10. Dalaj-lama i rossijskie uchenye. Dialogi o soznanii [Dalai Lama and Russian scientists. Dialogues about consciousness]. Available at: http://dalail ama.ru/video/3540-dalai-lama.html (Accessed: 01.11.2017)

11. Kuznecov I. V., Maksimova N. V. Tekst v stanovlenii: oppoziciya «narrativ» - «mentativ» [Text in formation: opposition "narrative" - "mentative"]. Kritika i semiotika [Criticism and Semiotics], 2007, no. 11, pp. 54-67.
12. Kozhina M. N. K osnovaniyam funkcional'noj stilistiki [To the foundations of functional stylistics]. Perm', 1968, 251 p.
13. Mamardashvili M. K. Ocherk sovremennoj evropejskoj filosofii [Essay on Contemporary European Philosophy]. Moscow, Progress-Tradition, Fond Meraba Mamardashvili Publ., 2010, 584 p.
14. Mamardashvili M. K. Psihologicheskaya topologiya puti [Psychological topology of the path]. Moscow, Russian Christian Institute for Humanities, 1997, 571 p.
15. Mezhuev V. M. Dialog kak sposob mezhkul'turnogo obshcheniya v sovremennom mire [Dialogue as a way of intercultural communication in the modern world]. Voprosy filosofii [Issues of philosophy], 2011, № 9, pp. 65-73.
16. Mikeshina L. A. Dialog kognitivnyh praktik. Iz istorii ehpistemologii i filosofii nauki [Dialogue of cognitive practices. From the history of epistemology and the philosophy of science]. Moscow, Rossijskaya politicheskaya ehnciklopediya (ROSSPEN) Publ., 2010, 575 p.
17. Nicshe F. Tak Govoril Zaratustra [Thus spoke Zarathustra]. Transl. from German by YU. M. Antonovskii, Moscow, IF RAN, 2004, 384 p.
18. Platon Gosudarstvo [Republic], in: Platon Sochineniya V 3-h t. [Works in 3 volumes]. Vol 3. Part 1.: pp. 89-454. Moscow, Mysl' Publ., 1971. 687 p.
19. Russo ZH. ZH. YUliya ili novaya EHloiza [Julia or the new Eloise]. Moscow, «Hudozhestvennaya literatura» Publ., 1968, 772 p.
20. Seneka Nravstvennye pis'ma k Luciliyu [Moral letters to Lucilia]. Moscow, Nauka Publ., 1977, 383 p.
21. Sravnitel'naya filosofiya. Znanie i vera v kontekste dialoga kul'tur [Comparative philosophy. Knowledge and faith in the context of the dialogue of cultures]. Moscow, «Vostochnaya literatura» Publ., 2008, 344p.
22. Stepanyanc M. T. Ot evropocentrizma k mezhkul'turnoj filosofii [From Eurocentrism to Intercultural Philosophy]. Voprosy filosofii [Issues of philosophy], 2015, № 10, pp. 150-162.
23. Tyupa V. I. Diskursivnaya praktika teoreticheskogo myshleniya [Discursive practice of theoretical thinking]. Kritika i semiotika [Criticism and semiotics], 2009, vol. 13, pp. 142-151.
24. Filon Aleksandrijskij O sotvorenii mira soglasno Moiseyu [On the Creation of the World according to Moses], in: Filon Aleksandrijskij. Tolkovaniya Vethogo Zaveta [Interpretations of the Old Testament]. Pp. 51-113. Moscow, “Greko-latinskij cabinet” YU. A. SHichalina, 2000, 451 p.
25. Filosofiya i nauka v kul'turah Vostoka i Zapada [Philosophy and science in the cultures of the East and West]. Moscow, Nauka Publ., 2013. 357 p.
26. EHko U., kardinal Martini Dialog o vere i neverii [Dialogue on faith and disbelief]. Moscow, Biblejsko-bogoslovskij institut sv. apostola Andreya Publ., 2011, 144 p.
27. SCIENCE ART: nauka ili iskusstvo – nuzhnoe podcherknut' [science or art - emphasize what is needed] Available at: http://strelka.com/ru/magazine/2015/08/20/scienceart (Accessed: 01.11.2017)
28. Intercultural Dialogue: In Search of Harmony in Diversity / Ed. by E. Demenchonok. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 402 p.
29. Philonis Alexandrini De opificio mundi / Ed. L. Cohn, P. Wendland // Philonis Alexandrini opera quae supersunt. Bd. 1. B., 1896. S. 1-60.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 58–65.

УДК 101.1:316

РЕАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ДИЗАЙН: СТАТИЧЕСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ДЕСКРИПТОР[1]

Заякина Р. А.

Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Российская Федерация.

E-mail: raisa_varygina@mail.ru

В статье представлен алгоритм топологического структурирования социальных сетей. Для этого разработана логическая операция отображения строения/состояния воплощенной в социальную реальность сети, названная реальным сетевым дизайном. Реальный сетевой дизайн осуществляется через теоретико-методологические единицы, названные дескрипторами. Сетевой дескриптор является информационным блоком, состоящим из ключевых сведений, характеризующих конкретную атрибутивную сторону сети. Дескрипторы разделены на статические и динамические. Структурный дескриптор, на котором сфокусировано содержание статьи, отнесен к статическим дескрипторам. Статичность входящих в него характеристик определяется с учетом сетевого свойства подвижности формы.
Структурный дескриптор раскрывается через совокупность данных, определяющих неизменные, базовые характеристики реально воплощенной сети и их внутреннее соотношение. В конкретный набор характеристик структурного дескриптора вошли: акторно-сетевой объем, характер взаимодействия сетевых/подсетевых акторов, строение сетевого/подсетевого фронтира. Образ актора сети визуализирован через объем и глубину и назван «сандвич-конструктом». Для топологического структурирования объектов сетевой природы, пользуясь методами экстраполяции и аналогии, введен ряд терминов: сетевое множество, окрестность, пересечение, объединение, разность. В противовес сложившейся в анализе социальных сетей концепции «ядро-периферия» предложена и обоснована существенная для оформления сетевой структуры модель «фронтир-тыл». На основании данной модели рассмотрено не только образование и удержание структуроподобной сетевой формы, но и отношение сети с близкими социальными объектами. Кроме того, предлагаемый взгляд на устройство социальных сетей позволяет структурировать околосетевое социальное пространство.

Ключевые слова: сетевое множество, сетевой дизайн, дескриптивная модель, сандвич-конструкт, фронтир, тыл.

Сетевой подход представляет собой активно развивающийся вектор новейшей социально-философской мысли и включает в себя уже явно обособившиеся исследовательские направления (анализ социальных сетей – social network analysis; реляционную социологию – relational sociology и акторно-сетевую теорию – actor-network theory) [1]. Все они, основываясь на различных онтологических акцентах

[1] Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-06-00087 «Социальная сеть: топологическая интерпретация социальной реальности»

особых сетевых ансамблей отношений, существующих в мире социального, с разной степенью активности демонстрируют образцы топологических изысканий. Последние при этом обнаруживают разнородные теоретико-методологические основания от предельной топографической наглядности приверженцев анализа социальных сетей [2], выстраивания с помощью реляционного ракурса топологии, способной отображать социальность в ее перспективе и изменении [3] до попыток выявления различных форм пространственности: регионов, сетей, потоков в недрах акторно-сетевой теории [4].

Актуальность статьи определяется регулярным, однако весьма вольным применением топологических интерпретаций социальных сетей при недостаточной проработанности общих теоретических топологических принципов исследования сетевых объектов. Это порождает противоречивость и несводимость используемых различными направлениями сетевого подхода конкретных топологических методов изучения объектов сетевой природы, не всегда способных в полной мере раскрывать уникальные сетевые свойства и отношения. Сегодня можно констатировать, что топологические линзы сетевого подхода сводимы либо к исследовательским приемам, структурирующим положение сетевых акторов в символическом социальном пространстве, либо к инструментарию, работающему с категориями общей сетевой формы. Особое место в топологических исследованиях занимают вопросы, связанные с определением и изучением условной структуры объектов сетевой природы и способов ее теоретического и графического воссоздания. Основная цель данной работы заключена в стремлении генерализировать имеющиеся в указанном тематическом контексте топологические наработки и выстроить алгоритм топологического сетевого структурирования.

Для достижения указанной цели нами разработана логическая операция отображения строения/состояния сети с учетом характеристик времени-пространства-формы, названная сетевым дизайном. Один из видов сетевого дизайна – реальный сетевой дизайн, представляющий собой процесс и результат отображения воплощенной в социальную реальность сети. Реальный сетевой дизайн осуществляется посредством привлечения теоретико-методологических единиц, получивших название «дескрипторы». Сетевой дескриптор представляет собой информационный блок, состоящий из ключевых сведений, характеризующих конкретную атрибутивную сторону реально воплощенной сети.

Дескрипторы реального сетевого дизайна разделены на статические и динамические. Очевидно, что структурный дескриптор, речь о котором пойдет ниже, относится к статическим дескрипторам, являющимся совокупностями данных, характеризующих неизменные, базовые, неотъемлемые стороны реально воплощенной сети и их внутреннее соотношение. Определим структурный сетевой дескриптор как конкретный набор характеристик, фиксирующий сложившуюся совокупность связей и внутреннюю топологическую организацию объекта сетевой природы. Подчеркнем: статичность изложенных ниже характеристик понимается исключительно исходя из сетевых свойств, в число которых изначально не входит ни эндогенная, ни экзогенная неподвижность формы сети в пространстве социального. Статика выделенных ярлыков предстает скорее как ассортимент

надобстоятельственных, безусловных характеристик, создающих из набранного акторного ряда единый сетевой объект. Фактически это относительно обособленный угол зрения, разворачивающий сетевую картину согласно заданным критериям [подробнее: 5].

Очевидно, что социальная сеть «просматривается», когда мы обнаруживаем вызывающие ее к жизни интеракции сетевой природы (возможные благодаря информационному взаимодействию и обменным процессам любого типа) и можем фиксировать структуроподобные формы. Весьма распространенным сегодня является взгляд на структурные параметры социальной сети через задаваемую всеми базовыми определениями характеристику множественности (акторов, агентов, узлов, участников, вершин и пр.). И если в математической топологии «под множеством понимают произвольное собрание различных предметов» [6, с. 13], то сетевое множество – это собрание социальных объектов, принадлежащих сети. Однако если мы начинаем рассматривать социальную сеть в качестве топологического пространства, сами акторы могут определяться как открытые множества, удовлетворяющие соответствующему набору условий [подробнее: 7, с. 13]. Таким образом, вводя, выражаясь языком Рене Тома, «внутренние координаты», можно выйти на идею пространственной интерпретации формы любого сложноустроенного сетевого актора [8, с. 218]. Эта важная мысль указывает на путь достижения эффективности топологического исследования сети, пролегающий через синтез посылок топологии пространства и топологии формы. При этом устройство как сети, так и акторов, принадлежащих ей, будет описываться общим набором характеристик.

Первой ключевой характеристикой сетевой структуры следует выделить акторно-сетевой объем. Любая сеть, состоящая из акторов мезо- и макро- уровней, может рассматриваться через множество более «заглубленных» сетевых уровней, называемых подсетями. Фактически подсеть есть отдельный сложноустроенный сетевой актор. С одной стороны, он подчинен общим законам функционирования сети, с другой же – задаёт изнутри условия и новые параметры общесетевых настроек и действий.

Однако и подсеть может, в свою очередь, состоять из акторов, структурированных по сетевому принципу и представляющих собой глубокую подсеть. Глубокая подсеть также живет по сетевым законам и взаимодействует с сетевыми уровнями, транслируя свои особенности на все сетевые «этажи». Их количество не предзадано и может варьироваться исходя из внутренних сетевых трансформаций. Значит, «невидимые» исследователю сложноустроенного сетевого актора абиссальные процессы, происходящие внутри него, с неизбежностью поднимают на поверхность собственные интонации, окрашивая сетевую жизнь в цвет уникальности. Такое представление задаёт теоретический образ актора сети, визуализирующийся через объём и глубину, представляясь исследователю некоим «сандвич-конструктом» [см.: 9].

Второй ключевой характеристикой сетевой структуры определим характер взаимодействия сетевых/подсетевых акторов как элементов сетевого множества. Важно понять, каким образом акторы взаимодействуют с окрестностью, создавая

устойчивые структурные конфигурации. Окрестностью называем совокупность элементов множества, находящихся в непосредственной близости к рассматриваемой единице (актору) и демонстрирующих устойчивые сильные сетевые связи. Окрестностью могут являться все элементы множества. Внутрисетевой механизм «сцепления» сложноустроенных акторов возникает в таком случае посредством пересечений и объединений.

Пересечением сетевых множеств (акторов) называем сетевое множество, состоящее только из общих для сетей и/или подсетей различного уровня заглубленности (в контексте внутренних сетевых позиций) акторов. Именно общие акторы пересечений являются ключевыми «связками» между множествами сети как топологического пространства. Поэтому данные акторы правомерно назвать не только структурообразующими, но и формоудерживающими, играющими особую роль для акторов разности, то есть акторов, не входящих в пересечение, особенно акторов окрестности, что дает право называть их «ключевыми» для собственного множества. Очевидно, что любое пересечение множеств включено в топологическое пространство сети.

Еще одной формой взаимодействия акторов различного уровня заглубленности является объединение. Объединением сетевых множеств называем сетевое множество, состоящее из всех акторов хотя бы еще одного из множеств. Объединение важно интерпретировать с различных сетевых позиций: как множество B и как множество C, так как, включая весь элементный состав обоих множеств, множества B и C остаются самоценными и автономными в смысле возможности достижения ими различных подсетевых целей. Кроме того, связи между точками с позиций множества B и множества C строятся по-разному, а значит, иными будут и рисунки окрестностей. Очевидно, что любое объединение сетевых множеств, как и в случае с пересечениями, включено в топологическое пространство сети.

Третьей ключевой характеристикой считаем строение подсетевого/сетевого фронтира. В сетевых исследованиях принято фиксировать внимание на характере и специфике связей ключевых, существенных, значимых акторов (прежде всего в традиции анализа социальных сетей); если проблема сетевого фронтира и не игнорируется вовсе, то, по крайней мере, имеет весьма условный характер и зачастую выносится за скобки как несущественная. Для нас сетевой фронтир – абрис сетевого множества, очерчивающий условную сетевую/подсетевую форму. Напомним, что существует сложившаяся в анализе социальных сетей модель «ядро-периферия», фиксирующая представление о том, что именно сетевое ядро – аккумулятор ключевых сетевых ресурсов и созидатель сетевых смыслов. Периферия же, являясь по большей части донором первого и потребителем второго, может быть использована как источник весьма полезных «слабых связей» [10]. В целом между ядром и периферией фиксируются отношения, но на условиях, продиктованных ядром. Графически ядро центрировано по отношению к периферии, окружающей его, и как бы «стягивает» на себя всю сетевую структуру.

Однако поскольку, следуя топологической логике, условная иерархия положения акторов выстраивается через критерий принадлежности к пересечениям

и объединениям, наиболее значимый актор будет наиболее приближен к акторам окрестности, а значит, и наиболее близок к фронтиру, как бы «вытягивая» сетевую форму. Именно через этот актор идут основные сетевые потоки, он является «местом транзита» информации. Таким образом, центральная роль в осуществлении сетевого взаимодействия, в оформлении структуры и формы сети или подсети и в конечном счете организации внутрисетевого и околосетевого пространства отдается именно фронтирным акторам. Это дает основания для переосмысления концепции «ядро-периферия» в терминах «фронтир-тыл», где тыл – наиболее удаленный от фронтирных процессов сетевой фрагмент.

Отметим, что данная характеристика является универсальной как для понимания оформления объема сложноустроенного сетевого актора, так и для понимания оформления объема самой сети. Таким образом, мы выходим на формообразование сети в отношении к окружающему социальному пространству. Мы понимаем, какие механизмы удерживают форму внутрисетевого сложноустроенного актора (строение и характеристики фронтира, количество фронтирных акторов и акторов окрестности) и задают его пространственные координаты (внутренние подсетевые пересечения и объединения, степень удаленности в тыл). Утверждаем, что и сами сложноустроенные акторы обладают подобными характеристиками и живут между собой по тем же правилам, в конечном счете «составляя» сеть в целое.

Итак, в отношении социального окружения сеть может быть представлена как топологическое пространство, вступающее в пересечения и объединения с другими социальными объектами сетевой природы. В традиции анализа социальных сетей похожие связи между сетями принято называть мостами. Однако «под мостом понимается ребро в сети, которое обеспечивает единственный путь между двумя точками» [10, с. 35]. Без этой связи сеть распалась бы на два независимых друг от друга сетевых объекта. Таким образом, мост выступает связующим звеном между сетями: единственным, оттого и особо ценным, передающим уникальный ресурс. Фронтир же в нашем понимании может содержать несколько и даже много пересечений с другой сетью, что существенно для поддержания топологической формы. При этом фронтирные акторы не девальвируются по значимости, ибо приобретают дополнительные характеристики, обеспечивающие функционал сети.

Теория мостов неразрывно связана с теорией структурных пустот (Р. Берт), рассматривающей последние как ценный ресурс для посредников. Структурная пустота – это отсутствие связей между группами, наличие в некотором смысле обособленных, не коммуницирующих между собой сетевых пространств. При этом как мосты, так и пустоты неотделимы от характеристики силы/слабости связей по Грановеттеру, ведь межсетевым брокером (в определении Берта) может стать актор, соединенный большим количеством слабых связей [11, с. 337]. «В чем Грановеттер и Берт отличаются друг от друга, это то, что Грановеттер далее утверждает, что сила связей определяет, будет ли она служить в качестве моста. Берт не согласен с этим, и даже приводит эмпирические доказательства того, что мостовые связи слабее, и что они более подвержены распаду» [12, с. 14]. В любом случае социальные брокеры наводят мосты, соединяя структурные пустоты.

Фактически Берт близко подходит к пониманию концепции «фронтир-тыл» в ее применении к межсетевым взаимодействиям. Однако, отводя «пограничникам» существенную роль, он опирается на специфику классического анализа социальных сетей, задающую умозаключениям традиционные для данного научного направления рамки (по большому счету, оставаясь в концепции «ядро-периферия»). Мост Роберта Берта мыслится по-прежнему исключительно пространственно – это ребро между двумя точками, лежащими в разных сетях. Подобный взгляд так и оставляет без внимания ключевой вопрос внутреннего сетевого формообразования, выводимый нами на первый план.

Кроме того, оставаясь преподавателем бизнес-школы университета Чикаго и вице-президентом компании Raytheon, Берт концентрирует внимание на утилитарных вопросах управления и организации работы крупного предприятия, а именно на продуцировании менеджерами успешных идей и их распространении. Решение этого вопроса – первично, теория мостов и структурных пустот остается средством для достижения прагматической цели, не раздвигая далее границы сложившегося в анализе социальных сетей теоретизирования.

Изложенное открывает поле для новой дискуссии относительно средств эффективного применения топологического языка в исследованиях как сетевых агрегаций, так и в целом сетевого аспекта устройства социальности. Уже сегодня, благодаря характеристикам структурного дескриптора, открывается возможность собрать социально-топологические наработки с формой и пространством (с разной степенью разработанности присутствующие во всех направлениях сетевого подхода) в единую, синтетическую топологическую картину.

Так, идентификатор акторно-сетевого объема раскрывает устройство сетевой формы, характер взаимодействия сетевых/подсетевых акторов – механизмы организации пространства внутри этой формы, а строение подсетевого/сетевого фронтира определяет удержание пространственного положения и влияние места в социальном пространстве на удержание формы при ее внутренних пространственных трансформациях. Это дает основания полагать, что представленная работа содержит потенциал для дальнейшей детализации методологических процедур реального сетевого дизайна.

Список литературы

1. Мальцева Д. В. Сетевой подход в социологии: генезис идей и применение / Д. В. Мальцева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – 220 с.
2. Beyhan B. Inter-Firm Social Networks Created by Mobile Laborers: A Case Study on Siteler in Ankara // Journal of Social Structure. – 2011. – № 12 (1). – pp. 1–33.
3. White H. Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production / H. White. – Princeton: Princeton University Press, 2002. – 416 p.
4. Ло Дж. Объекты и пространства /Дж. Ло; пер. с англ. // Социология вещей. Сб. статей. – М.: Территория будущего, 2006. – С. 223–243.
5. Заякина Р. А. Реальный сетевой дизайн: статический идентификационный дескриптор / Р. А. Заякина // Вестник Вятского государственного университета. – 2017. – № 6. – С. 7–22.
6. Элементарная топология / О. Я. Виро, О. А. Иванов, Н. Ю. Нецветаев [и др.] – М.: МЦНМО, 2012. – 358 с.

7. Александров П. С. Мемуар о компактных топологических пространствах / П. С. Александров, П. С. Урысон. – М.: Наука, 1971. – 144 с.
8. Том Р. Топология и лингвистика / Р. Том // Успехи математических наук. –1975. – Том 30. – Вып. 1 (181). – С. 199–221.
9. Фишов П. М. Flash-визуализация сандвич-конструкта [Электронный ресурс] / П. М. Фишов, Р. А. Заякина, М. В. Ромм – Режим доступа: https://youtu.be/jk1sL52KZV0 (дата обращения: 21.10.2017).
10. Грановеттер М. Сила слабых связей / М. Грановеттер // Экономическая социология. – 2009. – Том 10. – № 4. – С. 31–50.
11. Burt R. S. Bridge Decay // Social Networks. – 2002. – Vol. 24. – № 3. – pp. 333–363.
12. Савин Л. В. Сетецентрические методы в государственном управлении / Л. В. Савин, С. Н. Федорченко, О. К. Шварц. – М.: ООО «Сам полиграфист», 2015. – 146 с.

Zayakina R.A. Real Network Design: Static Structure Descriptor // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 58–65.

The article presents the algorithm of topological structuring of social networks. For this purpose, the logical operation of mapping the structure of the network embodied in social reality is developed. The real network design is performed by means of theoretical and methodological units which are called descriptors. A network descriptor is an information block consisting of key data which characterize the definite attributive side of a really embodied network.

The descriptors are divided in static and dynamic. A structural descriptor, which is in the focus of this article, belongs to static descriptors. The static behavior of its characteristics is determined taking into account its network feature of form flexibility. The structural descriptor is disclosed through a set of data determining the unchangeable basic characteristics of the embodied network and their inner relationship. A definite set of characteristics of the structural descriptor includes: the actor-network volume, the character of network/ sub network actors, and the structure of network/sub network frontier. The image of the network actor is visualized through the volume and depth and is called a “sandwich construct”. In order to structure the network objects topologically, a number of terms were introduced making use of extrapolation and analogy methods. These terms are the following: network multiplicity, neighborhood, intersection, integration and difference.

However, the “frontier-interior” model, which is important for creating the network structure, has been validated as opposed to the “core-periphery” concept established in the course of social network analysis. This model makes it possible to study how the form of the structure-like network was created and retained; besides it also helps to look into its relations with the neighboring social objects. In addition, the proposed approach to the social network form allows structuring the network social space.

Key words: network multiplicity, network design, descriptive model, sandwich-construct, frontier, interior.

This work is supported by RFBR according to the research project № 16-06-00087 «Social network: topological interpretation of social reality»

References

1. Mal'ceva D. V. Setevoj podhod v sociologii: genezis idej i primenenie [Network Approach in Sociology: Genesis of Ideas and Applicability]. Novosibirsk: Novosibirsk State Technical University Publ., 2017, 220 p.
2. Beyhan B. Inter-Firm Social Networks Created by Mobile Laborers: A Case Study on Siteler in Ankara. Journal of Social Structure, 2011, № 12 (1), pp. 1–33.
3. White H. Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production. Princeton: Princeton University Press, 2002, 416 p.

4. Law J. (2006) Ob"ekty i prostranstva [Objects and Spaces]. Sociologija veshhej [Sociology of Things]. Moscow: Territorija budushhego Publ., pp. 233–243.
5. Zayakina R. A. Real'nyj setevoj dizajn: staticheskij identifikacionnyj descriptor [Real Network Design: Static Identification Descriptor]. Vestnik Vjatskogo gosudarstvennogo universiteta [Herald of Vyatka State University], 2017, № 6, pp. 17–22.
6. Elementarnaya topologiya [Elementary Topology]. Moscow, Moscow Center for Continuous Mathematical Education Publ., 2012, 358 p.
7. Aleksandrov P. S., Uryson P. S. Memuar o kompaktnykh topologicheskikh prostranstvakh [Memoir on Compact Topological Spaces]. Moscow, Nauka Publ., 1971, 144 p.
8. Thom R. Topologija i lingvistika [Topology and Linguistics]. Uspekhi matematicheskikh nauk [Successes of Mathematical Sciences], 1977, Vol. 30, № 1(181), pp. 199–221.
9. Fishov P. M., Zayakina R. A., Romm M. V. Flash-vizualizatsiya sandvich-konstrukta [Flash-visualization of Sandwich-construct]. Available at: https://youtu.be/jk1sL52KZV0 (Accessed: 21.10.2017).
10. Granovetter M. Sila slabykh svyazey [The Strength of Weak Ties]. Ekonomicheskaya sotsiologiya [Economic Sociology], 2009, Vol. 10, № 4, pp. 31–50.
11. Burt R. S. Bridge Decay. Social Networks, 2002, Vol. 24, № 3, pp. 333–363.
12. Savin L. V., Fedorchenko S. N., Shvarts O. K.Setetsentricheskie metody v gosudarstvennom upravlenii [Network-Centric Methods in Public Administration]. Moscow, OneBook.ru Publ., 2015, 146 p.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 66–83.

УДК [114:117]::530.1

О НЕАТРИБУТИВНОСТИ ИНДИКАТОРОВ ФРАКТАЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ХАУСДОРФОВОЙ РАЗМЕРНОСТЬЮ

Зудилина Н. В.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация

E-mail: nadiya.z17@gmail.com

Выделено два индикатора фрактальности, связанных с хаусдорфовой размерностью. Первый индикатор фрактальности объектов и процессов, подразумеваемый в этимологическом значении основы слова «фрактал», – дробное значение хаусдорфовой размерности объекта или процесса (далее – индикатор «дробность»). Второй индикатор фрактальности, представленный в дефинициях фрактала, основанных на хаусдорфовой размерности, – превышение значения топологической размерности (DT) значением хаусдорфовой размерности (D), или D > DT (далее – индикатор «превышение»).
Объекты и процессы, признанные в современной науке фракталами, были разделены по критерию соотношения значений их хаусдорфовой и топологической размерностей на три группы: 1) фракталы с целым значением хаусдорфовой размерности, равным значению топологической размерности, следовательно, у них отсутствуют индикаторы «дробность» и «превышение»; 2) фракталы с дробным значением хаусдорфовой размерности, превышающим значение топологической размерности меньше чем на единицу, следовательно, у них присутствуют индикаторы «дробность» и «превышение»; 3) фракталы с целым значением хаусдорфовой размерности, превышающим значение топологической размерности на единицу, а значит, у них отсутствует индикатор «дробность».
Все три группы фракталов и лежащие в их основе варианты соотношения значений хаусдорфовой и топологической размерностей удовлетворяют неравенству Шпилрайна: (D ≥ DT). Если мы приписываем индикатору «превышение», а в особенности индикатору «дробность» статус атрибутивного (обязательного) индикатора, это означает отступление от неравенства Шпилрайна, такое отступление неоправданно сужает класс фракталов, поскольку индикатор «превышение» позволяет причислять к фракталам только объекты второй и третьей групп, а индикатор «дробность» (являющийся частным случаем индикатора «превышение») позволяет причислять к фракталам только объекты второй группы.
Несмотря на отсутствие одного или обоих предложенных Мандельбротом индикаторов фрактальности, связанных с хаусдорфовой размерностью, некоторые объекты или процессы признаны научным сообществом фракталами на основе наличия у них другого индикатора – широко трактуемого самоподобия. Таким образом, индикаторы «превышение» и «дробность» не являются атрибутивными индикаторами фрактальности. Поиск фундаментальной характеристики фракталов, которая связывает собой самоподобие и хаусдорфову размерность и, предположительно, обеспечивает корреляцию значений обеих величин – размерности самоподобия и хаусдорфовой размерности фрактала, является одним из наиболее важных и перспективных направлений в исследовании фракталов.

Ключевые слова: фрактал, хаусдорфова размерность (размерность Хаусдорфа – Безиковича), топологическая размерность, индикатор фрактальности, неравенство Шпилрайна, самоподобие, Бенуа Мандельброт.

Введение

Фрактальные структуры обнаружены повсюду, на любых масштабах нашей вселенной – от её глобальной топологической структуры и до субатомного уровня [1]. Фракталы исследуют в математике и теории информации, физике и химии, биологии, экологии и медицине. Помимо фрактальной геометрии [2], развитой основателем теории фракталов Бенуа Мандельбротом, появились и такие направления, как фрактальная космология [3] и фрактальная физиология [4].

В процессе обнаружения вездесущности фракталов становится очевидным, что принцип фрактальности является универсальным и в той или иной мере определяет организацию нашего мира. По этой причине исследование объектов с точки зрения их фрактальности является общеприменимой, мультидисциплинарной методологией, которая может быть использована как для исследований систем с позиции экстенсивности, то есть для изучения объектов различных масштабов (от микро- до мегауровня), так и для исследований с позиции интенсивности, то есть изучения объекта на различных масштабах его рассмотрения. Кроме того, фрактальная методология применима как к объектам информационной природы (например, компьютерным программам и данным), так и к объектам информационно-материальной природы (то есть физическим объектам естественного или искусственного происхождения). Поэтому фрактальные модели и методы успешно применяются в экономике и финансах, компьютерных и информационных технологиях, радиотехнике и электронике, географии и геодезии, астрофизике и геофизике, когнитивной науке и т. д. Как отмечают исследователи, важность фракталов состоит в том, что они изменяют наиболее фундаментальные способы, с помощью которых мы анализируем и понимаем экспериментальные данные [5, с. 180].

Отличительным признаком фрактальной методологии является использование в ней, помимо трёх экстенсивных (пространственных) координат – длины, ширины и высоты, ещё одной координаты, являющейся экстенсивно-интенсивной, или пространственно-информационной. Эта координата была названа А. Д. Изотовым и Ф. И. Маврикиди координатой делимости [6]. Если аспект экстенсивности в координате делимости связан с протяжённостью в пространстве, то аспект интенсивности – с плотностью информации. Благодаря введению этой координаты, фиксирующей многомасштабность и иерархичность объекта, обеспечивается новый, экстенсивно-интенсивный способ видения объекта, в противоположность традиционному, экстенсивному. Экстенсивно-интенсивный способ видения объекта выявляет его бинарную, дискретно-континуальную природу, позволяя объяснить, каким образом объект может быть одновременно частью и целым, одним и множеством, материальным и информационным. Поэтому есть основания полагать, что фрактальная методология – это путь, следуя по которому, мы сможем приблизиться к решению антиномий, если и не всех, то, по крайней мере, некоторых из них [6, с. 11].

Вышеизложенное даёт основания полагать, что развитие фрактальной методологии является актуальной задачей не только для современной науки и философии, но и для многих других сфер человеческой деятельности. Однако для

того чтобы адекватно и эффективно применять фрактальную методологию, необходимо иметь точные критерии и индикаторы того, что такое фрактал. Решение данной проблемы затруднено следующим обстоятельством: в зависимости от того, какие критерии фрактальности будут выбраны, индикаторами фрактальности будут считаться либо одни, либо другие признаки объекта или процесса. Поэтому актуальной исследовательской задачей является определение того, какие из характеристик объектов или процессов являются атрибутивными, то есть обязательными для того, чтобы причислить данный объект или процесс к классу фракталов, а какие – неатрибутивными; иными словами, необходимо определить индикаторы фрактальности.

Объём данной статьи позволил рассмотреть атрибутивность/неатрибутивность только тех индикаторов фрактальности, которые выделены на основе критериев, связанных с хаусдорфовой размерностью (она же – размерность Хаусдорфа – Безиковича). Хаусдорфова размерность является наиболее общей среди различных видов фрактальных размерностей и одной из ключевых величин, характеризующих фракталы. Дефиниции фрактала, в которых в качестве критерия фрактальности фигурирует самоподобие, остались за рамками рассмотрения в данной работе. Также по причине ограниченности объёма статьи материалом для выявления индикаторов фрактальности стали только те из дефиниций, основанных на хаусдорфовой размерности, которые предложены основателем фрактальной геометрии Бенуа Мандельбротом.

Цель работы – выяснить, являются ли индикаторы фрактальности, связанные с хаусдорфовой размерностью, атрибутивными для фракталов.

1. О топологической и хаусдорфовой размерностях

Пространство, в котором, согласно привычной для нас модели восприятия, есть три измерения – длина, ширина и высота, – это трёхмерное пространство целой размерности, то есть пространство с топологической размерностью 3.

Существуют различные виды топологических размерностей. Один из основных видов – это размерность Лебега (англ. Lebesgue covering dimension), которую часто называют просто топологической размерностью (математическое определение размерности Лебега см. в [7, с. 215]).

Топологическую размерность принято обозначать как DT. Топологическая размерность точки – 0, линии – 1, поверхности – 2, куба – 3. Все объёмные тела в таком пространстве тоже рассматриваются как трёхмерные.

Однако само по себе пространство и объекты в нём, на самом деле, не трёхмерны – трёхмерна лишь наша модель пространства, эта модель создана в соответствии со способностями человеческого восприятия. Расширив способность восприятия, например, с помощью соответствующего оборудования, мы можем воспринимать пространство иным образом. Так, например, в теории струн утверждается, что помимо трёх пространственных измерений и одного временно́го на квантовом уровне существует ещё шесть компактных, свёрнутых пространственных измерений, недоступных нашему непосредственному восприятию [8, с. 275]. Поэтому в модели теории струн существует девять пространственных измерений и одно временно́е.

Оказалось также, что кроме моделей пространства с бóльшим чем три количеством целых измерений можно вести речь и о пространствах дробной топологической размерности [9, с. 184] или (по-другому) пространств дробной меры [10; 11, с. 174].

Кроме топологических размерностей существуют также метрические размерности. Если топологические размерности дают нам понятие геометрической размерности для топологического пространства [12, с. 12], то метрические размерности количественно характеризуют метрические пространства. Одной из метрических размерностей является хаусдорфова размерность, которая определяется для метрических пространств [12, с. 12]. Хаусдорфова размерность обозначается символом D. Математическое определение хаусдорфовой размерности см. в [13, с. 779].

Поскольку хаусдорфова размерность является наиболее общей из различных видов фрактальных размерностей, то её часто называют просто фрактальной размерностью. Однако если придерживаться точного использования терминологии, то понятие «фрактальная размерность» шире термина «хаусдорфова размерность», так как помимо хаусдорфовой размерности существуют и другие варианты фрактальной размерности. Как отмечает Мандельброт, «*фрактальная размерность*, которую я защищаю, *и все ее приемлемые варианты* являются не топологическими, а метрическими понятиями (курсив мой. – Н. З.)» [2, с. 357].

Перейдём к рассмотрению фракталов. Фракталы бывают двух типов – математические и физические. Значение хаусдорфовой размерности математических фракталов является, как правило, дробным числом. Например, канторово совершенное множество (D≈0,6309 [14, с. 20]), кривая («снежинка») Коха (D≈1,2619 [15, с. 102]), аттрактор Фейгенбаума (D≈0.538 [16]) и др. Однако в некоторых случаях значение хаусдорфовой размерности математических фракталов является целым числом, о чём будет подробнее сказано в следующем разделе.

Что касается физических фракталов, в том числе природных фрактальных объектов и процессов, то значение их хаусдорфовой размерности почти всегда является дробным числом [2, с. 15]. Например, дробным является значение хаусдорфовой размерности береговых линий Великобритании (D≈1,25 [17, с. 637]) и Норвегии (D≈1,52 [18, с. 16]), значение хаусдорфовой размерности поверхности человеческого мозга (D≈2,79 [19, с. 64]) и т. д.

Тем не менее и среди физических фракталов (хотя и реже, чем среди математических) встречаются объекты и процессы с целочисленными значениями хаусдорфовой размерности. Например, значение хаусдорфовой размерности следов броуновского движения D=2 [2, с. 12].

Итак, хаусдорфова размерность фракталов характеризует не топологическое, а метрическое пространство фракталов. Хаусдорфову размерность часто называют просто «фрактальной размерностью». Среди математических фракталов целочисленное значение хаусдорфовой размерности встречается чаще, чем среди физических фракталов, однако и математические, и физические фракталы чаще всего обладают дробным значением хаусдорфовой размерности.

2. Первый индикатор фрактальности, связанный с хаусдорфовой размерностью, и примеры его отсутствия у фракталов

2.1. Дробность значения хаусдорфовой размерности как индикатор фрактальности, подразумеваемый в этимологическом значении основы слова «фрактал»

Что же такое фрактал? Дать определение фракталу нелегко. Исследователи справедливо отмечают неясность и многозначность дефиниций фрактала (см., например [20, с. 372]). Отсутствует такая базовая дефиниция фрактала, которая была бы достаточно универсальной, чтобы играть роль объединяющей основы для всех частных вариантов определений фрактала, используемых при решении конкретных задач.

Исследованные автором дефиниции фрактала можно разделить на три группы: 1) определения, основанные на хаусдорфовой размерности; 2) дефиниции, основанные на самоподобии (включая скейлинг, или масштабную инвариантность); 3) определения, упоминающие и хаусдорфову размерность, и самоподобие, но без указания той основы, которая их объединяет.

Очевидно, что наиболее полными определениями являются дефиниции третьей группы. Однако на данный момент автору статьи не удалось найти примеры определений третьей группы, в которых была бы указана некая характеристика фрактала, связывающая значение хаусдорфовой размерности и значение размерности самоподобия и являющаяся основой, обеспечивающей корреляцию этих значений во фрактале. С нашей точки зрения, поиск такой характеристики является одним из наиболее важных и перспективных направлений в исследовании фракталов.

Как было пояснено во введении, по причине малого объёма жанра статьи мы рассмотрим в данной работе только те дефиниции, которые основаны на хаусдорфовой размерности, то есть определения первой из трёх групп, и только те из определений данной группы, которые предложены Бенуа Мандельбротом.

Перейдём к рассмотрению первого индикатора фрактальности, связанного с хаусдорфовой размерностью.

Указание на первый индикатор фрактальности заложено в само́м неологизме «фрактал». Придуманное Мандельбротом слово «фрактал» было сконструировано им на основе латинского слова fractus, означающего «раздробленный», «разбитый», «ломанный» (слово fractus является причастием прошедшего времени латинского frangere [21, с. 229] – в переводе «ломать», «разбивать», «раздроблять» [22, с. 438–439]).

Как мы видим, этимология слова «фрактал» ясно указывает на наличие дробности, можно с уверенностью утверждать, что в данном случае это указание на дробность значения хаусдорфовой размерности. Приведём высказывания самого Мандельброта, подтверждающие это.

Как отмечает Мандельброт, в 1975 году он показал, что главной чертой «фрактальных» множеств является, как правило, дробная хаусдорфова размерность [23, с. 119].

Несколькими годами позже он поясняет, почему ввёл новое понятие «фрактал»: «Для всего евклидова D=DT. Но почти все множества в этом Эссе (в монографии Мандельброта «Фрактальная геометрия природы». – Н. З.) удовлетворяют D>DT (то есть это множества, у которых хаусдорфова размерность превышает топологическую. – Н.З.). Не было термина, чтобы обозначить такие множества, что привело меня к изобретению термина фрактал…» [2, с. 15]. В связи с приведённым высказыванием напомним, что превышение хаусдорфовой размерностью топологической размерности свидетельствует о дробности хаусдорфовой размерности. Причина этого в том, что значение топологической размерности – это всегда целое число [2, с. 15], когда хаусдорфова размерность превышает топологическую, то это означает, что хаусдорфова размерность является дробной (далее будет показано, что иногда значение хаусдорфовой размерности превышает значение топологической ровно на единицу, следовательно, является целым, но такие случаи редки).

Итак, приведённые выше высказывания Мандельброта подтверждают, что он изобрёл слово «фрактал» именно для обозначения объектов и процессов с дробным значением хаусдорфовой размерности.

Отметим также, что главной задачей для Мандельброта в первый период разработки фрактальной геометрии было выделение фракталов из множества других объектов. Дробное значение хаусдорфовой размерности явилось тем специфическим, математически точным индикатором, на основании которого это можно было сделать, и Мандельброт воспользовался этим, совершив с помощью этого индикатора первичное отделение фрактальных объектов от нефрактальных.

Подведём итог. Первым критерием фрактальности объекта или процесса, связанным с хаусдорфовой размерностью, является значение хаусдорфовой размерности, а соответствующим индикатором фрактальности, заложенным Мандельбротом в этимологическом значении основы слова «фрактал», является дробное значение хаусдорфовой размерности, или кратко – индикатор «дробность».

2.2. Примеры фракталов, у которых отсутствует индикатор «дробность»

В предыдущем подразделе мы рассмотрели первый индикатор фрактальности – индикатор «дробность». Однако существуют фракталы, у которых отсутствует данный индикатор. Это фракталы, у которых значение хаусдорфовой размерности хотя и превышает значение топологической размерности, но является целочисленным. Как известно, значение топологической размерности кривой равно 1. Однако существует целый ряд фракталов-кривых, у которых значение хаусдорфовой размерности равно 2. К их числу относятся кривая Гильберта (D = 2), кривая Лебега (D = 2), кривая дракона (D = 2), кривая Госпера (D = 2), кривая Мура (D = 2) и др.

Согласно Мандельброту, каждое множество с нецелой хаусдорфовой размерностью D является фракталом [2, с. 15]. Однако если построить обратное утверждение – «каждое множество с целой хаусдорфовой размерностью D не является фракталом», – оно окажется неверным, так как некоторые множества с целой размерностью являются фракталами.

Итак, хотя у объектов и процессов с целой хаусдорфовой размерностью отсутствует первый индикатор – дробность значения хаусдорфовой размерности, тем не менее они признаны фракталами на основании наличия других характеристик. Из этого следует, что дробность значения хаусдорфовой размерности не является атрибутивным индикатором фрактальности объектов и процессов и отсутствие этого индикатора не является достаточным основанием для исключения объекта или процесса из класса фракталов.

3. Второй индикатор фрактальности, связанный с хаусдорфовой размерностью, и пример фрактала, у которого отсутствуют оба индикатора фрактальности, связанные с хаусдорфовой размерностью

3.1. Превышение значением хаусдорфовой размерности значения топологической размерности как индикатор фрактальности

Впервые понятие «фрактал» было представлено Мандельбротом в 1975 году, в его монографии, написанной на французском языке [24]. Однако в этом труде не было дано точной, математической дефиниции. Через два года, в 1977 году, в монографии на английском языке [25] Мандельброт даёт первое математическое определение фрактала, основанное на хаусдорфовой размерности. Это определение 1977 года Бенуа Мандельброт приводит в труде «Фрактальная геометрия природы» (1982): «Фрактальное множество… это множество в метрическом пространстве, для которого размерность Хаусдорфа-Безиковича D > (больше. – Н. З.) топологической размерности DT» [2, с. 361].

Если в вышеприведённой дефиниции фрактала индикатор фрактальности выражен символами, в виде строгого неравенства D > DT, то во втором варианте этой же дефиниции (в 1980 году [26, с. 249] и в 1982 [2, с. 15]) Мандельброт формулирует выдвинутый им индикатор словесно: «Фрактал является по определению множеством, размерность Хаусдорфа-Безиковича которого *строго превышает* топологическую размерность (курсив мой. – Н. З.)» [2, с. 15].

Обратим теперь внимание на одну важную для наших последующих рассуждений деталь. В математике тот тип неравенства, с помощью которого выражен рассматриваемый нами индикатор, D > DT, называется строгим неравенством (нестрогое неравенство в данном случае выглядело бы так: D ≥ DT). Хотя в символьном обозначении индикатора (D > DT) знак > читается как «больше», но в словесной формулировке индикатора Мандельброт выражает данный знак словосочетанием «строго больше» по аналогии с названием типа неравенства, с помощью которого выражен данный индикатор («строгое неравенство»). Говоря, что хаусдорфова размерность фрактала не просто больше топологической, а строго больше топологической, Мандельброт подчёркивает, что значение хаусдорфовой размерности не может быть равным значению топологической размерности, а должно быть только больше значения топологической размерности.

Итак, индикатором фрактальности (в том виде, каком он сформулирован Мандельбротом) является строгое превышение хаусдорфовой размерностью топологической размерности. Для краткости будем называть этот индикатор индикатором «превышение».

Для лучшего осмысления той роли, которую должен был бы играть индикатор «превышение», напомним, что: 1) значение топологической размерности всегда целочисленно [2, с. 15]; 2) в системе евклидовой геометрии любой объект является гладким объектом, а у гладких, евклидовых объектов хаусдорфова размерность равна топологической размерности: «для всего евклидова D = DT» [2, с. 15]. Поэтому если бы значение хаусдорфовой размерности фракталов, будучи дробным или целым числом, всегда превышало значение топологической размерности, то есть всегда наличествовал бы индикатор «превышение», это позволяло бы точно отделять фрактальные объекты от гладких, евклидовых. Как уже говорилось ранее, нахождение такого индикатора-демаркатора было одной из главных задач Мандельброта на первом этапе разработки фрактальной геометрии.

Однако значение хаусдорфовой размерности фракталов не всегда превышает значение их топологической размерности, иными словами, у фракталов не всегда наличествует индикатор «превышение». Об этом будет подробно рассказано в следующем подразделе.

Подведём итог. Второй критерий фрактальности, связанный с хаусдорфовой размерностью, – это соотношение значений хаусдорфовой и топологической размерностей объекта или процесса. Соответственно, второй индикатор фрактальности, предложенный Мандельбротом, – это строгое превышение значением хаусдорфовой размерности значения топологической размерности, или кратко – индикатор «превышение».

3.2. Фрактал «Дерево Пифагора» как пример фрактала, у которого отсутствуют индикатор «дробность» и индикатор «превышение»

Говоря о соотношении значений фрактальной и топологической размерностей объекта со значением размерности евклидова пространства, в котором находится данный объект, Мандельброт рассуждает следующим образом: «…D может быть целым числом (не большим, чем E (E обозначает размерность евклидова, трёхмерного пространства. – Н. З.), но *строго большим*, чем DT). Я называю D фрактальной размерностью (курсив мой. – Н. З.)» [2, с. 15] (в данном случае понятия «фрактальная размерность» и «хаусдорфова размерность» являются для Мандельброта взаимозаменяемыми). Иными словами, допустимо отсутствие индикатора «дробность», но обязательно должен наличествовать второй индикатор – «превышение».

Однако, несмотря на данное утверждение, изредка встречаются фракталы с такой целой хаусдорфовой размерностью, которая равна их топологической размерности, а не превышает её. То есть у таких фракталов отсутствует не только индикатор «дробность», но и индикатор «превышение». Примером такого фрактала является фрактал «Дерево Пифагора» (англ. fractal «Pythagorean tree (Pythagoras tree)») [27, с. 84–86], который состоит из итерируемых квадратов. Как и у гладких, евклидовых объектов, значение хаусдорфовой размерности «Дерева Пифагора» равно значению топологической размерности: D=DT=2 [28, с. 124]. То есть фрактал «Дерево Пифагора» с точки зрения топологической размерности является двумерным евклидовым (гладким) объектом, а с точки зрения метрической (в данном случае – хаусдорфовой) размерности – двумерным фрактальным объектом.

Если равенство значений хаусдорфовой и топологической размерностей возможно для топологически двумерных математических объектов, то не исключено, что и среди топологически трёхмерных математических, а возможно, и физических объектов наукой будут обнаружены такие, у которых значение хаусдорфовой размерности равно топологической, то есть равно 3. Это согласуется с утверждением самого Мандельброта: «…D может быть целым числом (не большим, чем E…)» [2, с. 15]. Поскольку из топологически одномерных фракталов-кривых можно создавать трёхмерные математические фракталы, то с развитием физических гипотез, допускающих существование более трёх пространственных измерений (например, в теории струн и др.), не является невероятным предположение, что из топологически трёхмерных физических фракталов могут быть созданы или уже существуют в природе топологически n-мерные фрактальные объекты. Напомним в связи с этим, что ни фрактальная (метрическая) размерность, ни топологическая (геометрическая) размерность не отражают в полной мере природу исследуемого объекта, а являются способами рассмотрения объекта, эти способы будут уточняться в процессе усовершенствования аппарата математики и физики, все более приближаясь к описанию объекта таким, каков он есть.

Вернёмся к рассмотрению индикаторов фрактальности. Поскольку значение хаусдорфовой размерности не может быть меньше значения топологической размерности, то в случае, если значение хаусдорфовой размерности не превышает значения топологической размерности, значение хаусдорфовой размерности является целым числом, поскольку равно значению топологической размерности. Таким образом, в случае отсутствия индикатора «превышение» у фрактала отсутствуют сразу оба индикатора – и индикатор «превышение», и индикатор «дробность». Объясняется это тем, что (при таких исходных посылках) индикатор «дробность» является частным случаем индикатора «превышение».

Интересен тот факт, что существование фракталов с целочисленным значением хаусдорфовой размерности, которое равно значению топологической размерности, удовлетворяет неравенству Шпилрайна (в других вариантах написания – неравенство Спилрайна / неравенство Шпильрайна, англ. the Szpilrajn inequality) [29]. На это неравенство опирается сам Мандельброт, вводя дефиницию фрактала в своей монографии «Фрактальная геометрия природы» [2, с. 15]. Как поясняет Мандельброт, хаусдорфова размерность D может не быть целым числом, два измерения (топологическое и Хаусдорфа-Безиковича) могут не совпадать; они только удовлетворяют неравенству Шпилрайна: $D \geq DT$ [2, с. 15].

Как мы видим, неравенство Шпилрайна является нестрогим, то есть допускает как превышение хаусдорфовой размерностью топологической, так и равенство хаусдорфовой и топологической размерностей, а значит, как уже было сказано, допускает существование таких фракталов, как «дерево Пифагора».

Однако Мандельброт отступает от неравенства Шпилрайна и, как было показано ранее, в предлагаемой им дефиниции фрактала оставляет только знак превышения, исключая знак равенства, то есть выражает второй индикатор фрактальности не как нестрогое неравенство $D \geq DT$, а как строгое неравенство $D > DT$ (то есть как индикатор, называемый нами «превышение»).

В монографии «Фрактальная геометрия природы» Мандельброт аргументирует своё отступление от неравенства Шпилрайна тем, что «*почти* все множества в этом Эссе удовлетворяют D > DT (курсив мой. – Н.З.)» [2, с. 15], то есть тем, что значение хаусдорфовой размерности почти всех множеств, исследуемых им в данной монографии, превышает значение их топологической размерности. Однако можно предположить, что для отступления от неравенства Шпилрайна существовали и другие причины.

Во-первых, как уже было отмечено в предыдущих подразделах, на первом этапе развития фрактальной геометрии важной задачей для Мандельброта было нахождение точного индикатора для демаркации объектов и процессов на фракталы и нефракталы. Именно «строгое» превышение значением хаусдорфовой размерности значения топологической размерности подходило на роль такого индикатора-демаркатора, тогда как «нестрогое» превышение (то есть допускающее не только превышение значением хаусдорфовой размерности значения топологической размерности, но и равенство значений хаусдорфовой и топологической размерностей) «размывало» бы границу между фракталами и евклидовыми объектами.

Вторая возможная причина отступления от неравенства Шпилрайна заключается в том, что если бы Мандельброт не исключил знак равенства, то есть выразил бы индикатор фрактальности нестрогим неравенством (D ≥ DT), это бы вошло в частичное противоречие с придуманным им понятием «фрактал». Напомним, что топологическая размерность – это всегда целое число. Следовательно, в тех случаях, когда значение хаусдорфовой размерности равно значению топологической размерности, значение хаусдорфовой размерности является целочисленным, что, в свою очередь, означает, что понятие «фрактал», указывающее на дробность значения хаусдорфовой размерности, становится неуместным.

Итак, индикатор «превышение» является отступлением от неравенства Шпилрайна. На примере фрактала «Дерево Пифагора» показано, что существуют фракталы с целой хаусдорфовой размерностью, равной топологической (и наличие таких фракталов допускается неравенством Шпилрайна). Иными словами, у таких фракталов отсутствуют сразу оба индикатора фрактальности, связанные с хаусдорфовой размерностью, – индикатор «превышение» и индикатор «дробность». Из этого следует, что превышение значением хаусдорфовой размерности значения топологической размерности и дробность значения хаусдорфовой размерности не являются атрибутивными индикаторами фрактальности, отсутствие данных индикаторов («дробности» и «превышения») само по себе не является достаточным основанием для невключения объекта или процесса в класс фракталов.

4. Группы фракталов по критерию соотношения топологической и хаусдорфовой размерностей и наличие/отсутствие у данных групп индикаторов фрактальности, связанных с хаусдорфовой размерностью

Объекты и процессы, признанные в современной науке фракталами, по критерию соотношения значений их хаусдорфовой и топологической размерностей можно разделить на три группы. 1-я группа: фракталы, у которых значение

хаусдорфовой размерности равно значению их топологической размерности, следовательно, является целым числом; 2-я группа: фракталы, у которых значение хаусдорфовой размерности превышает значение их топологической размерности меньше чем на единицу, следовательно, является дробным числом; 3-я группа: фракталы, у которых значение хаусдорфовой размерности превышает значение их топологической размерности на единицу, следовательно, является целым числом (отметим, что результаты недавних исследований свидетельствуют в пользу того, что значение хаусдорфовой размерности может превышать значение топологической размерности даже более чем на единицу [30]). Как видим, все фактически имеющиеся варианты соотношения значений хаусдорфовой и топологической размерностей фракталов удовлетворяют неравенству Шпилрайна, тогда как индикаторам «превышение» и «дробность» соответствуют не все варианты.

Итак, объекты и процессы, признанные в современной науке фракталами, по критерию соотношения значений их хаусдорфовой и топологической размерностей были разделены на три группы. Все три группы фракталов и лежащие в их основе варианты соотношения значений хаусдорфовой и топологической размерностей фракталов удовлетворяют неравенству Шпилрайна.

Рассмотрим теперь, что произошло бы с тремя вышеуказанными группами фракталов, выделенными на основе объектов и процессов, фактически причисляемых современной наукой к фракталам, если бы обоим рассмотренным нами индикаторам фрактальности, связанным с хаусдорфовой размерностью («дробность» и «превышение»), был придан статус атрибутивных. 1-я группа объектов исключалась бы из класса фракталов из-за отсутствия обоих индикаторов; 2-я группа объектов входила бы в класс фракталов, так как у неё наличествуют оба индикатора; 3-я группа объектов исключалась бы из класса фракталов из-за отсутствия индикатора «дробность». Таким образом, только вторая группа объектов входила бы в класс фракталов.

Если бы мы приняли в качестве атрибутивного индикатора фрактальности один индикатор – «дробность», являющийся частным случаем индикатора «превышение», то это максимально сузило бы класс фракталов, сохранив только вторую из трёх вышеуказанных групп.

Если бы мы приняли в качестве атрибутивного только индикатор «превышение», то это сузило бы класс фракталов в меньшей степени, допуская включение в него объектов второй и третьей групп.

Но ни тот, ни другой индикатор не позволяют включить в класс фракталов объекты первой группы. Данная проблема обозначена самим Бенуа Мандельбротом, который ещё в 1986 году писал, что предложенная им в 1977 году дефиниция (основанная на хаусдорфовой размерности) «…не включает многие “пограничные фракталы”… и всё ещё может быть улучшена» [31, с. 159] (эта дефиниция 1977 года приведена нами в начале подраздела 3.1).

Итак, если бы мы приписали индикаторам фрактальности, связанным с хаусдорфовой размерностью, статус атрибутивных (обязательных), то это привело

бы к сужению класса тех объектов и процессов, которые могут быть причислены к фракталам.

Вышеуказанные результаты приводят нас к необходимости выбора одного из двух вариантов:

- либо признать, что многие объекты и процессы, причисляемые к фракталам, не являются таковыми из-за отсутствия индикаторов фрактальности, основанных на хаусдорфовой размерности (то есть индикаторов «дробность» и «превышение»);
- либо признать, что самого по себе отсутствия одного или обоих индикаторов фрактальности, основанных на хаусдорфовой размерности, недостаточно для невключения объекта или процесса в класс фракталов.

С нашей точки зрения, верным является второй вариант, поскольку, несмотря на отсутствие у объектов и процессов, относящихся к первой и третьей группам, одного или обоих индикаторов фрактальности, связанных с хаусдорфовой размерностью, эти объекты и процессы признаны фракталами благодаря наличию у них других характеристик, прежде всего, – фундаментального для фракталов свойства самоподобия.

Подведём итоги данного подраздела. Как было показано, индикаторы фрактальности, связанные с хаусдорфовой размерностью (индикаторы «дробность» и «превышение»), являются неатрибутивными (необязательными). Иными словами, наличия индикаторов фрактальности, основанных на хаусдорфовой размерности, недостаточно для определения того, является ли данный объект или процесс фракталом. Данный вывод подтверждается словами самого Мандельброта: «в общем, знания фрактальной размерности недостаточно» [2, с. 139].

Заключение

Подведём общие итоги данной работы, а также обозначим основную проблему в рассмотренной нами области и возможный путь её решения.

Основной результат данной работы, полученный при сопоставлении результатов исследования некоторых теоретических положений фрактальной геометрии и фактической ситуации в области исследования фракталов, состоит в выяснении того, что два рассмотренных индикатора фрактальности, связанных с хаусдорфовой размерностью («превышение» и «дробность»), не являются атрибутивными (обязательными); неатрибутивность данных индикаторов находится в согласии с неравенством Шпилрайна.

Итоги исследования некоторых теоретических положений фрактальной геометрии. В результате исследования этимологии основы изобретённого слова «фрактал» и дефиниций фрактала, основанных на хаусдорфовой размерности, были выделены два критерия и индикатора фрактальности. Первый критерий фрактальности, связанный с хаусдорфовой размерностью, – это значение хаусдорфовой размерности объекта или процесса. Соответствующий индикатор фрактальности, подразумеваемый в этимологическом значении основы слова «фрактал», – это дробное значение хаусдорфовой размерности объекта или процесса (кратко – индикатор «дробность»).

Второй критерий фрактальности – это соотношение значений хаусдорфовой и топологической размерностей объекта или процесса. Соответствующий индикатор

фрактальности, представленный в дефинициях фрактала, основанных на хаусдорфовой размерности, – это строгое превышение значением хаусдорфовой размерности значения топологической размерности (кратко – индикатор «превышение»).

Итоги сопоставления фактически существующих фракталов с индикаторами фрактальности, связанными с хаусдорфовой размерностью.

Все объекты и процессы, признанные в современной науке фракталами, были разделены по критерию соотношения значений их хаусдорфовой и топологической размерностей на три группы:

1) фракталы с целым значением хаусдорфовой размерности, равным значению топологической размерности, следовательно, у них отсутствуют оба индикатора фрактальности – «дробность» и «превышение»;

2) фракталы с дробным значением хаусдорфовой размерности, превышающим значение топологической размерности меньше чем на единицу, следовательно, у них присутствуют оба индикатора фрактальности – «дробность» и «превышение»;

3) фракталы с целым значением хаусдорфовой размерности, превышающим значение топологической размерности на единицу, следовательно, у них отсутствует один индикатор фрактальности – «дробность».

Все три группы фракталов и лежащие в их основе варианты соотношения значений хаусдорфовой и топологической размерностей фракталов удовлетворяют неравенству Шпилрайна: ($D \geq DT$).

Придание индикатору «превышение» и в особенности индикатору «дробность» статуса атрибутивного индикатора является отступлением от неравенства Шпилрайна и неоправданно сужает класс фракталов: индикатор «превышение» допускает существование только второй и третьей групп фракталов; индикатор «дробность», являющийся частным случаем индикатора «превышение», допускает существование только второй группы фракталов.

Несмотря на отсутствие одного или обоих предложенных Мандельбротом индикаторов фрактальности, связанных с хаусдорфовой размерностью, некоторые объекты или процессы признаны научным сообществом фракталами на основе наличия у них другого индикатора – широко трактуемого самоподобия. Мандельброт неоднократно подчёркивал универсальность этой характеристики фракталов (см., например, [31, с. 158]).

На основании всего вышесказанного мы делаем вывод о том, что индикаторы «превышение» и «дробность» не являются атрибутивными индикаторами фрактальности и, на данный момент, более адекватно очертить объём класса фракталов позволяют такие индикаторы фрактальности, как наличие широко трактуемого самоподобия и удовлетворение неравенству Шпилрайна.

Основная проблема и путь её решения

Для того чтобы обозначить основную нерешённую проблему в исследуемой нами области и наметить путь её решения, напомним, что в данной работе было выделено три группы дефиниций фрактала: 1) определения, основанные на хаусдорфовой размерности; 2) дефиниции, основанные на самоподобии; 3) определения, упоминающие и первую характеристику, и вторую. Очевидно, что

дефиниции третьей группы являются содержательно более полными. Обе величины – и размерность самоподобия, и хаусдорфова размерность – важны и выражают существенные характеристики фрактальных объектов и процессов. Однако, несмотря на это, до сих пор не найдена общая основа, объединяющая две эти ключевые характеристики фракталов.

Мы предполагаем, что поиск фундаментальной характеристики фракталов, которая связывает собой самоподобие и хаусдорфову размерность и (предположительно) обеспечивает корреляцию значений обеих величин – размерности самоподобия и хаусдорфовой размерности фрактала, является одним из наиболее важных и перспективных направлений в исследовании фракталов.

Если такая характеристика будет найдена, это будет свидетельствовать о достижении более глубокого понимания природы фракталов. Соответственно, дефиниция фрактала, основанная на этой фундаментальной характеристике, может стать универсальной основой для всех частных вариантов определений фрактала.

Список литературы

1. Barnsley M. F. Fractals Everywhere / Michael Fielding Barnsley; answer key by Hawley Rising III. – 2nd ed.; rev. with the assistance of Hawley Rising III. – Boston: Academic Press Professional, 1993. – 531 p. – ISBN 0–12–079069–6.
2. Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature / Benoît B. Mandelbrot. – Updated and Augmented ed. – New York: W. H. Freeman and Company, 1983. – XII + 461 + XVI p. – ISBN 978–0–7167–1186–9.
3. Барышев Ю. Фрактальная структура вселенной: Очерк развития космологии / Юрий Барышев, Пекка Теерикорпи. – Нижний Архыз: САО РАН, 2005. – 410 с. – ISBN 5–98823–013–X.
4. Bassingthwaighte, J. B. Fractal Physiology / James B. Bassingthwaighte, Larry S. Liebovitch, Bruce J. West. – New York: Springer, 1994. – 384 p. – ISBN 978–1–4614–7572–9.
5. Liebovitch L. S. Introduction to Fractals [Электронный ресурс] / Larry S. Liebovitch, Lina A. Shehadeh // Tutorials in Contemporary Nonlinear Methods for the Behavioral Sciences / Eds. Michael A. Riley, Guy C. van Orden; National Science Foundation Program in Perception, Action, & Cognition, 2005. – pp. 178–266. – Режим доступа: https://www.nsf.gov/sbe/bcs/pac/nmbs/chap5.pdf.
6. Изотов А. Д. Фракталы: делимость вещества как степень свободы в материаловедении / А. Д. Изотов, Ф. И. Маврикиди. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2011. – 128 с.: ил. – ISBN 978–5–7883–0834–0.
7. Математическая энциклопедия: в 5 т. Т. 3: Коо – Од / Гл. ред. И. М. Виноградов. – М. : Советская энциклопедия, 1982. – 1184 с.: ил.
8. Яу Ш. Теория струн и скрытые измерения Вселенной / Шинтан Яу, Стив Надис ; [пер. с англ. А. Мороз, И. Рузмайкина, В. Семинько]. – СПб.: Питер, 2016. – 400 с.: ил. – ISBN 978–5–496–00247–9.
9. Потапов А. А. Фракталы и скейлинг в новых технологиях обработки информации и системном управлении / А. А. Потапов // Управление развитием крупномасштабных систем MLSD’2007: Тезисы докладов первой международной конференции (Москва, 1 – 3 окт. 2007 г.) / Ин-т проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН. – М.: Институт проблем управления РАН, 2007. – С. 184–186. – ISBN 978–5–91450–015–0.
10. Потапов А. А. Фрактальные методы исследования флуктуаций сигналов и динамических систем в пространстве дробной размерности / А. А. Потапов // Флуктуации и шумы в сложных системах живой и неживой природы / [В. С. Анищенко и др.] ; ред.: Р. М. Юльметьев и др. – Казань: [Школа], 2008. – С. 257–310. – 455 с. – ISBN 5–94712–015–1.
11. Потапов А. А. Фрактальный метод, фрактальная парадигма и метод дробных производных в естествознании / А. А. Потапов // Вестник Нижегородского университета имени

Н. И. Лобачевского. Серия «Математическое моделирование и оптимальное управление». –2012. – № 5 (2). – С. 172–180. – ISSN 1993–1778.
12. Kohavi Y. Topological Dimensions, Hausdorff Dimensions & Fractals [Электронный ресурс] / Yuval Kohavi, Hadar Davdovich. – May 2006. – 16 p. – Режим доступа: http://u.math.biu.ac.il/~megereli/final_topology.pdf.
13. Математическая энциклопедия: в 5 т. Т. 5: Слу – Я / Гл. ред. И. М. Виноградов. – М.: Советская энциклопедия, 1984. – 1248 с. : ил.
14. Kozlov G. V. Fractal Analysis of Structure and Properties of the Filled Polymer / G. V. Kozlov, V. U. Novikov, G. E. Zaikov // Homolytic and Heterolytic Reactions: Problems and Solutions / Eds. Gennady E. Zaikov, Yuri B. Monakov, Alfonso Jiménez. – New York: Nova Science Publishers, 2004. – pp. 17–90. – ISBN 978–1–59033–980–0.
15. Barcellos A. The Fractal Geometry of Mandelbrot / Anthony Barcellos // The College Mathematics Journal. – 1984. – Vol. 15, № 2. – pp. 98–114.
16. Aurell E. On the Metric Properties of the Feigenbaum Attractor / Erik Aurell // Journal of Statistical Physics. – 1987. – Vol. 47, Issue 3–4. – pp. 439–458.
17. Mandelbrot B. B. How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension / Benoît B. Mandelbrot // Science (New Series). – 1967. – Vol. 156, № 3775. – pp. 636–638.
18. Федер Е. Фракталы. Пер. с англ. Ю. А. Данилова, А. Шукурова. – М.: Мир, 1991. – 254 с.: ил. – ISBN 5–03–001712–7.
19. Grünberg F. Der Vater des Apfelmännchens [Электронный ресурс] / Frank Grünberg // Technology Review: Das Magazin für Innovation. – 2005. – № 1. – S. 64. Режим доступа: https://www.heise.de/tr/artikel/Der-Vater-des-Apfelmaennchens-404501.html.
20. Bez N. The Duality of Fractals : Roughness and Self-Similarity. Nicolas Bez, Sophie Bertrand // Theoretical Ecology. – 2011. – Vol. 4, Issue 3. – pp. 371–383.
21. Ayto J. Word Origins : The Hidden Histories of English Words from A to Z / John Ayto. – 2nd ed. – London: A&C Black, 2005. – 563 p. – ISBN 978–0–7136–7498–9.
22. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецкий. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Русский язык, 1976. – 1096 с.
23. Mandelbrot B. B. Fractal Dimension, Dispersion, and Singularities of Fluid Motion [Электронный ресурс] / Benoît B. Mandelbrot // Translated from: Comptes Rendus (Paris). – 282A, 1976. – pp. 119–120. – N19. – Режим доступа: http://users.math.yale.edu/~bbm3/web_pdfs/N_019.pdf.
24. Mandelbrot B. B. Les Objets Fractals : Forme, Hasard et Dimension. (French) [Fractal Objects: Form, Chance, and Dimension] / Benoît B. Mandelbrot. – 1e éd. – Paris: Flammarion, 1975. – 192 p. – ISBN 2–08–210647–0.
25. Mandelbrot B. B. Fractals: Form, Chance, and Dimension / Benoît B. Mandelbrot [revised edition; translated from the French]. – New York: W. H. Freeman and Company, 1977. – XVI + 365 p. ISBN 0–7167–0473–0.
26. Mandelbrot B. B. Fractal Aspects of the Iteration of $z \to \lambda z(1 - z)$ for Complex λ and z / Benoît B. Mandelbrot // Annals of the New York Academy of Sciences. – 1980. – Vol. 357, Nonlinear Dynamics. – pp. 249–259. – ISSN 0077–8923.
27. Bosman A. E. Het wondere onderzoekingsveld der vlakke meetkunde. (Dutch) [The Wondrous Exploration Field of Plane Geometry] [Электронный ресурс] / Albert E. Bosman. – Breda: N.V. Uitgeversmaatschappij Parcival, 1957. – pp. 84–86. – Режим доступа: http://www.math.harvard.edu/~knill/teaching/mathe320_2016_fall/blog16/bosman_meetkunde.pdf.
28. Beck F. Generalized Pythagoras Trees: A Fractal Approach to Hierarchy Visualization / Fabian Beck et al. // Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. Revised Selected Papers / Eds. S. Battiato et al. [International Conference “Computer Vision, Imaging and Computer Graphics: Theory and Applications” (VISIGRAPP 2014), Lisbon, Portugal, January 5 – 8, 2014]. – 2014. – pp. 115–135. – (Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 550).
29. Hurewicz W. Dimension Theory / Witold Hurewicz, Henry Wallman. – Princeton: Princeton University Press; London: H. Milford, Oxford University Press, 1941. – VII + 165 p. – (Princeton mathematical series, 4).
30. Бугримов А. Л., Бычкова Д. А., Кузнецов В. С. Возможности вариации размерности фрактальных множеств / А. Л. Бугримов, Д. Д. Бычкова, В. С. Кузнецов // Вестник Московского

государственного областного университета. Серия «Физика – Математика». – 2014. – № 1. – С. 16–21. – ISSN 2072–8387.
31. Mandelbrot, B. B. Fractals and the Rebirth of Iteration Theory / Benoît B. Mandelbrot // The Beauty of Fractals: Images of Complex Dynamical Systems / Heinz-Otto Peitgen, Peter H. Richter. – Berlin; Heidelberg ; New York ; Tokyo : Springer-Verlag, 1986. – pp. 151–160. – XII + 199 p. – ISBN 3–540–15851–0.

Zudilina N.V. On the Non-Attributiveness of the Indicators of Fractality, Related to Hausdorff Dimension // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 66–83.

Two indicators of fractality, related to Hausdorff dimension, are identified. The first indicator of fractality of objects and processes, implied in the etymological meaning of the stem of the word “fractal”, is the fractional value of the Hausdorff dimension of an object or process (hereinafter, the indicator “fractionality”). The second indicator, represented in the definitions of fractal based on Hausdorff dimension, is that the value of the Hausdorff dimension (D) strictly exceeds the value of the topological dimension (DT), or D > DT (hereinafter, the indicator “exceedance”).
Objects and processes, recognized in contemporary science as fractals, have been divided into three groups on the basis of the criterion of the relationship between the values of their Hausdorff and topological dimensions: 1) fractals with an integer value of Hausdorff dimension equal to the value of their topological dimension; hence, they do not have indicators “fractionality” and “exceedance”; 2) fractals with a fractional value of Hausdorff dimension exceeding the value of topological dimension by less than one, consequently, they have indicators “fractionality” and “exceedance”; 3) fractals with an integer value of Hausdorff dimension exceeding the value of their topological dimension by one, hence, they do not have indicator “fractionality”.
All three groups of fractals and their underlying variants of the relationship between the values of Hausdorff and topological dimensions satisfy the Szpilrajn inequality: (D ≥ DT). If we ascribe to the indicator “exceedance” and, in particular, to the indicator “fractionality” the status of the attributive (necessary) indicator, it means a deviation from the Szpilrajn inequality, and such a deviation unjustifiably narrows the class of fractals, since the indicator “exceedance” allows to consider as fractals only the objects of the second and third groups, and the indicator “fractionality” (which is a particular case of the indicator “exceedance”) allows to classify as fractals only the objects of the second group.
Despite the absence of one or both proposed by Mandelbrot indicators of fractality, related to Hausdorff dimension, some objects or processes are recognized by the scientific community as fractals because of the presence of another indicator of fractality – widely interpreted self-similarity. Thus, the indicators “exceedance” and “fractionality” are not attributive indicators of fractality. The search for a fundamental characteristic of fractals, the characteristic, which connects self-similarity and Hausdorff dimension, and, presumably, provides a correlation between both of values – the self-similarity dimension and the Hausdorff dimension of fractal, is one of the most important and promising directions in the study of fractals.

Keywords: fractal, Hausdorff dimension (Hausdorff-Besicovitch dimension), topological dimension, indicator of fractality, the Szpilrajn inequality, self-similarity (auto-similarity), Benoît Mandelbrot.

References

1. Barnsley M. F. Fractals Everywhere / Michael Fielding Barnsley; answer key by Hawley Rising III. – 2nd ed.; rev. with the assistance of Hawley Rising III. Boston, Academic Press Professional, 1993, 531 p. – ISBN 0–12–079069–6.
2. Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature. Updated and Augmented ed. New York, W. H. Freeman and Company, 1983, XII + 461 + XVI p. – ISBN 978–0–7167–1186–9.
3. Baryshev Yu. Fraktal'naja struktura vselennoj: Ocherk razvitija kosmologii [Fractal Structure of the Universe: Essay on the Development of Cosmology]. Nizhny Arkhyz, Special Astrophysical Observatory of the Russian Academy of Sciences, 2005, 410 p. – ISBN 5–98823–013–X.

4. Bassingthwaighte J. B. Fractal Physiology. Bassingthwaighte, Larry S. Liebovitch, Bruce J. West. New York, Springer, 1994, 384 p. – ISBN 978–1–4614–7572–9.
5. Liebovitch L. S. Introduction to Fractals [Online Resource] / Larry S. Liebovitch, Lina A. Shehadeh // Tutorials in Contemporary Nonlinear Methods for the Behavioral Sciences / Eds. Michael A. Riley, Guy C. van Orden; National Science Foundation Program in Perception, Action, & Cognition, 2005. pp. 178–266. – Available at: https://www.nsf.gov/sbe/bcs/pac/nmbs/chap5.pdf.
6. Izotov A. D. Fraktaly: delimost' veshhestva kak stepen' svobody v materialovedenii [Fractals: Divisibility of Matter as a Particular Degree of Freedom in Materials Science]. Samara, Samara State Aerospace University Press, 2011, 128 p.: ill. – ISBN 978–5–7883–0834–0
7. Matematicheskaja jenciklopedija [Encyclopaedia of Mathematics] In 5 Volumes. Vol. 3, Коо – Од / Ed.-in-Chief I. M. Vinogradov. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya, 1982, 1184 p.: ill.
8. Yau Sh. Teorija strun i skrytye izmerenija Vselennoj [The Shape of Inner Space : String Theory and the Geometry of the Universe's Hidden Dimensions] transl. from English A. Moroz, I. Ruzmaikina, V. Semin'ko. St. Petersburg, Piter, 2016, 400 p.: ill. – ISBN 978–5–496–00247–9
9. Potapov A. A. Fraktaly i skejling v novyh tehnologijah obrabotki informacii i sistemnom upravlenii [Fractals and Scaling in New Information Processing Technologies and System Management] Management of Large-scale System Development (MLSD'2007): Proceedings of the First International Conference (Moscow, October 01 – 03, 2007). V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of the Russian Academy of Sciences. Moscow, Institute for Control Sciences of the Russian Academy of Sciences, 2007, pp. 184–186. – ISBN 978–5–91450–015–0
10. Potapov A. A. Fraktal'nye metody issledovanija fluktuacij signalov i dinamicheskih sistem v prostranstve drobnoj razmernosti [Fractal Methods for Studying Fluctuations of Signals and Dynamical Systems in Space of Fractional Dimension]. Fluctuations and Noises in Complex Systems of Living and Inanimate Nature. Kazan, Shkola, 2008, pp. 257–310. – ISBN 5–94712–015–1
11. Potapov A. A. Fraktal'nyj metod, fraktal'naja paradigma i metod drobnyh proizvodnyh v estestvoznanii [Fractal Method, Fractal Paradigm and Method of Fractional Derivatives in Modern Natural Sciences]. Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. Series "Mathematical modelling and optimal control", 2012, no. 5 (2), pp. 172–180. – ISSN 1993–1778
12. Kohavi Y. Topological Dimensions, Hausdorff Dimensions & Fractals [Online Resource]. May 2006, 16 p. Available at: http://u.math.biu.ac.il/~megereli/final_topology.pdf.
13. Matematicheskaja jenciklopedija [Encyclopaedia of Mathematics] In 5 Volumes. Vol. 5: Слу – Я . Ed.-in-Chief I. M. Vinogradov. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya, 1984, 1248 p.: ill.
14. Kozlov G. V. Fractal Analysis of Structure and Properties of the Filled Polymer. Homolytic and Heterolytic Reactions: Problems and Solutions. Eds. Gennady E. Zaikov, Yuri B. Monakov, Alfonso Jiménez. New York, Nova Science Publishers, 2004, pp. 17–90. – ISBN 978–1–59033–980–0.
15. Barcellos A. The Fractal Geometry of Mandelbrot. The College Mathematics Journal, 1984, Vol. 15, no. 2, pp. 98–114.
16. Aurell E. On the Metric Properties of the Feigenbaum Attractor. Journal of Statistical Physics, 1987, Vol. 47, Issue 3–4, pp. 439–458.
17. Mandelbrot B. B. How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension. Science (New Series), 1967, Vol. 156, № 3775, pp. 636–638.
18. Feder J. Fraktaly [Fractals] Transl. from English Yu. A. Danilov, A. Shukurov. Moscow, Mir, 1991, 254 p.: ill. – ISBN 5–03–001712–7
19. Grünberg F. Der Vater des Apfelmännchens [Online Resource]. Technology Review: Das Magazin für Innovation, 2005, no. 1, S. 64. Available at: https://www.heise.de/tr/artikel/Der-Vater-des-Apfelmaennchens-404501.html.
20. Bez N. The Duality of Fractals: Roughness and Self-Similarity. Theoretical Ecology, 2011, Vol. 4, Issue 3, pp. 371–383.
21. Ayto J. Word Origins: The Hidden Histories of English Words from A to Z. 2nd ed. London, A&C Black, 2005, 563 p. – ISBN 978–0–7136–7498–9.
22. Dvoretsky I. H. Latinsko-russkij slovar' [Latin-Russian Dictionary], 2nd ed., revised and enlarged. Moscow, Russkii yazyk, 1976, 1096 p.

23. Mandelbrot B. B. Fractal Dimension, Dispersion, and Singularities of Fluid Motion [Online Resource] Translated from Comptes Rendus (Paris), 282A, 1976, pp. 119–120, no.19. Available at: http://users.math.yale.edu/~bbm3/web_pdfs/N_019.pdf.
24. Mandelbrot B. B. Les Objets Fractals: Forme, Hasard et Dimension. (French) [Fractal Objects: Form, Chance, and Dimension]. 1e éd. Paris, Flammarion, 1975, 192 p. – ISBN 2–08–210647–0.
25. Mandelbrot B. B. Fractals: Form, Chance, and Dimension [revised edition; translated from the French]. New York, W. H. Freeman and Company, 1977. XVI + 365 p. ISBN 0–7167–0473–0.
26. Mandelbrot B. B. Fractal Aspects of the Iteration of $z \to \lambda z(1 - z)$ for Complex λ and z. Annals of the New York Academy of Sciences, 1980, Vol. 357, Nonlinear Dynamics, pp. 249–259. – ISSN 0077–8923.
27. Bosman A. E. Het wondere onderzoekingsveld der vlakke meetkunde. (Dutch) [The Wondrous Exploration Field of Plane Geometry]. Breda, N.V. Uitgeversmaatschappij Parcival, 1957, P. 84–86. Available at: http://www.math.harvard.edu/~knill/teaching/mathe320_2016_fall/blog16/bosman_meetkunde.pdf.
28. Beck F. Generalized Pythagoras Trees : A Fractal Approach to Hierarchy Visualization. Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. Revised Selected Papers. Eds. S. Battiato et al. International Conference “Computer Vision, Imaging and Computer Graphics: Theory and Applications” (VISIGRAPP 2014), Lisbon, Portugal, January 5–8, 2014, pp. 115–135. Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 550
29. Hurewicz W. Dimension Theory. Princeton, Princeton University Press; London, H. Milford, Oxford University Press, 1941. VII + 165 p. Princeton mathematical series, 4.
30. Bugrimov, A. L. Vozmozhnosti variacii razmernosti fraktal'nyh mnozhestv [Possible Variations of the Dimension of Fractal Sets]. Bulletin of the Moscow State Regional University. Series “Physics and Mathematics”,2014, no. 1, pp. 16–21. – ISSN 2072–8387
31. Mandelbrot B. B. Fractals and the Rebirth of Iteration Theory. The Beauty of Fractals: Images of Complex Dynamical Systems. Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo: Springer-Verlag, 1986, P. 151–160. XII + 199 p. – ISBN 3–540–15851–0.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 84–94.

УДК 1(091)

ИСТОРИКИ ФИЛОСОФИИ В ПОИСКЕ ОСНОВАНИЙ СВОЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ: СТАТУС ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ РАБОТА[1]

Львов А. А.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

E-mail: a.lvov@spbu.ru

Сегодня в профессиональном историко-философском сообществе активно обсуждается статус этой дисциплины. При этом имеет место двоякое понимание истории мысли как одной из дисциплин философского поиска: с одной стороны, в отношении ее методологии (то есть различных классификаций и жанровых особенностей возможных историко-философских проектов), а с другой – ее онтологии, когда возникает необходимость решения вопроса об отношении мысли к своей истории. Важно отметить, что обобщение всего многообразия жанров, обосновывающих легитимность тех или иных философских вопросов, не касается прояснения понятия философии. Это обусловливает доксографический (или парадигмальный) характер методологического аспекта историко-философского исследования. Что же до онтологического его аспекта, то можно сказать, что именно в нем сосредоточивается возможность постановки и решения вопроса об отношении мысли к своей истории. В силу того, что различные историки философии по-своему интерпретируют природу их исследований, а их собственное понимание сущности философского поиска нередко подвергается критике или тщательному анализу со стороны философского сообщества, имеет место непринятие классического утверждения о том, что «философия есть история философии». Исходя из анализа актуальных историко-философских дискуссий как среди зарубежных, так и отечественных историков философии, мы приходим к выводу о том, что радикальное переосмысление понятия метафизики и ее истории в ходе развития прежде всего аналитической традиции, а также прагматизма породило такое характерное для этих направлений явление, как антиисторизм. В качестве гипотезы для дальнейших исследований мы выдвигаем положение о том, что в связи с отказом от традиционного «континентального» (а по существу – западноевропейского) понимания метафизики историческое основание философского дискурса также подверглось девальвации.

Ключевые слова: история философии, историки философии, методология истории философии, онтологический аспект, методологический аспект, антиисторизм.

I

При самом поверхностном рассудочном взгляде на проблемное поле истории философии становится очевидно, что так или иначе все попадающие в него исследования можно разнести по трем рубрикам.

[1] Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 17-18-01440 «Антропологическое измерение истории философии»).

Во-первых, те или иные философские произведения могут восприниматься в качестве свидетельства о том месте и времени, в рамках которых они были созданы – наряду с иными (художественными, религиозными, научными) текстами; в этом случае мы имеем дело с историческим измерением истории философии. Так, можно говорить об объективной исторической преемственности, например, идей Монтеня и Лабрюйера, а следовательно, рассматривать их в едином курсе истории французской философии как рефлексивной или афористической литературы, написанной на французском языке. Во-вторых, философские произведения могут трактоваться исследователями как текстологические свидетельства, объясняющие возникновение тех или иных парадигм (понятие Т. Куна) и эпистем (понятие М. Фуко) или объяснимых исходя из изучения этих теоретических этапов в становлении отдельной философской дисциплины. В этом случае мы имеем дело с историей науки, или науковедением (если только философия признается наукой). Мы можем исследовать, например, влияние идей Аристотеля на основателя палеонтологии Ж. Кювье и показать, что история биологии до возникновения четко сформулированных экспериментальных и специфических для нее критериев была детерминирована естественно-научными установками Стагирита. Наконец, в-третьих, если мы рассматриваем интересующие нас произведения как свидетельства единого и всеобщего процесса постижения субъектом познания (вообще в гносеологическом, а не строго в гегелевском смысле онтологической всеобщности) истины – тогда окажется, что мы имеем дело с философским измерением истории философии.

С другой стороны, методологическая классификация типов историко-философских исследований может быть и более изощренной. Сравнительно недавно подобную классификацию предложил, например, американский исследователь Ричард Рорти (1931–2007) в ставшей широко известной работе «Историография философии: четыре жанра»[2], где он утверждает, что имеют место в общей сложности четыре наиболее распространенных жанра истории философии (здесь, разумеется, легко угадывается аллюзия на некогда сформулированные Борхесом четыре сюжета). Это, во-первых, рациональная реконструкция (то есть попытка современного исследователя понять историческую фигуру или ситуацию), во-вторых, историческая реконструкция (имеется в виду попытка описывать исторические сюжеты адекватными им историческими способами), в-третьих, история духа (Geistesgeschichte, или осмысление постановки существенных вопросов в истории мысли, как это делали Мишель Фуко или Аласдайр Макинтайр)[3] и, наконец, доксография (другими словами, характерное для учебников последовательное описание учений различных мыслителей). Рорти также указывает на то, что возможен и пятый подход – так называемая интеллектуальная история, особенность этого подхода, согласно мнению И. Д. Джохадзе, определяется объектом исследования: «Объектом изучения в данном случае оказывается не конкретная философская проблематика или аргументация того или

[2] Об историко-философском подходе Р. Рорти см.: [2; 5, с. 227—238; 14].

[3] См., например: [14, p. 977–978].

иного мыслителя по тому или иному вопросу, а состояние знания в исследуемый период истории, общая интеллектуальная атмосфера эпохи» [2, с. 11–12].

Однако сам взгляд на предмет историко-философского исследования, характерный для Рорти как представителя прагматизма, слишком вольное его обращение с источниками оборачиваются вовсе не историко-философским исследованием, а совершенным отрицанием какого бы то ни было контекстуального исторического исследования философской мысли. Американский «гегельянец», как его определяет И. Джохадзе [2, с. 3],[4] скорее деконструирует, чем реконструирует философские тексты и учения своих исторических предшественников, полагая, что не современность является зеркалом истории, а, наоборот, история отражает в своей интерпретации исследователями современность [2, с. 19]. Таким образом, провозглашая иронический подход к состязанию различных философских дискурсов различных эпох, Рорти фактически расписывается в непризнании им принципов классической герменевтики и проповедует антиисторицизм. Тем не менее необходимо отметить, что подобная жанровая классификация методологии историко-философского исследования лишь рельефнее очерчивает заявленное нами в начале разделение на историческое, научное и философское измерение истории философии. Пользуясь понятиями Р. Рорти, к первому измерению можно отнести историческую реконструкцию и доксографию, ко второму – интеллектуальную историю (или историю идей, о которой речь впереди), а к третьему – рациональную реконструкцию и историю духа.

Интересно также отметить и другие оригинальные (впрочем, менее виртуозные) классификации историко-философской методологии. Так, выдающийся историк античной философии XX столетия, специалист по Аристотелю Михаэль Фреде (1940–2007) утверждал, что начиная с конца XIX столетия историки философии в большей степени тяготеют к «доксографическому» жанру, нежели к собственно философскому подходу при создании истории мысли. «Философскими» историями философии М. Фреде признает такие, которые относятся ко всем предшествующим философским поискам в истории как к моментам на пути к современному положению дел в философии; он указывает, что принципы этого жанра были выработаны уже в конце XVIII века такими исследователями, как К. Майнер, Д. Тидеманн, И. Г. Буле [11, p. 667]. «Доксография» же, с его точки зрения, занимается перечислением исторических фактов в силу того, что те или иные мыслители жили в то или иное время и уже в силу одного только этого заслуживают внимания [11, p. 667–668]. Образцом и примером такого «доксографа», с его точки зрения, является знаменитый неокантианец, автор влиятельного труда по истории античной философии Э. Целлер.

Нельзя не отметить, что существуют убежденные сторонники и такого историографического измерения истории философии, настаивающие на необходимости продуктивного изучения фактического материала и реконструкции действительного положения вещей[5]. Впрочем, подобная точка зрения активно

[4] О внимании Р. Рорти к континентальной метафизике, в частности, к Канту и Гегелю, см. [3, с. 362–367]

[5] Например, таких взглядов поддерживался М. Грин – см.: [19, p. 117 ff.]; Дж. Х. Рэндал – см.: [20, p. 4]

дебатировалась и продолжает вызывать споры в историко-философском сообществе: например, исследователь из Копенгагенского университета Лео Катана (Leo Catana, род. 1965) в своей полемической по отношению к позиции М. Фреде статье [6] не соглашается с его бинарной классификацией, считая ее несостоятельной прежде всего по методологическим основаниям. Он убежден в том, что история философии невозможна без корректной «доксографии» (в терминах М. Фреде), а потому адекватно описывать историко-философский процесс можно лишь исходя из анализа фактического исторического материала [6, p. 176–177].

Вообще, Л. Катана не склонен придавать большое значение метафизическим обобщениям, свойственным новоевропейской традиции. Он сосредоточивает свое внимание в большей степени на методологии историко-философского исследования [8]. Так, в одной из своих статей [7] он осмысляет методологические особенности созданной в 20-х годах XX столетия Артуром Онкеном Лавджоем (1873–1962) дисциплины – «истории идей». Наиболее интересным в представленном копенгагенским исследователем анализе оказывается обсуждение вопроса о том, насколько правомерно А. О. Лавджой формулирует особую «методологическую программу» своей дисциплины. В отличие от истории философии, история идей должна заниматься исследованием принципов, заключающихся в «элементарной идее» (unit-idea), и следствий из них, которые проявляются в последующем ходе истории. Более того, истории идей как особой области исследования он приписывал особый междисциплинарный характер. Л. Катана показывает, что те «элементарные идеи», которые, как считал Лавджой, составляют независимые «группы» и существуют в истории мысли, представляют собой не принципы, составляющие философские системы, а, скорее, автономные «ментальные сущности» [7, p. 104]. Кроме того, то, что Лавджой трактует как междисциплинарный характер научного поиска, сегодня не выдерживает критики. Исследователи продемонстрировали, что, например, те формы, которые принимал философский (или называемый таковым) дискурс XVII–XVIII веков, были гораздо более междисциплинарными, нежели то, как представляли его себе историки мысли конца девятнадцатого столетия [7, p. 111–112]. Сказанное означает, что, хотя эту дисциплину и основал исследователь-философ, история идей в качестве междисциплинарной области знания может существовать и помимо философии (только силами наук, занимающихся исследованием фактов), что, однако, лишает ее статуса объективного порождения философских поисков начала двадцатого века.

II

Перечисленные выше подходы к классификации историко-философского знания исходят из очевидности ответа на вопрос о том, что такое философия, или, по крайней мере, достаточных культурных предпосылок для того, чтобы не формулировать его снова. В таком случае оказывается, что история философии понимается как дисциплина – одна из нескольких формально относящихся к философскому дискурсу, причем границы этого дискурса очерчиваются в соответствии с традиционными взглядами и представлениями. Основанием для последних являются курсы по философии (curricula) и ее истории в различных

университетских программах, учебные пособия, – словом, именно те доксографические элементы, благодаря которым только и возможно выстроить ту или иную научную парадигму, ведь, как известно, именно учебники являются «педагогическими средствами поддержания постоянства нормальной науки» [13, p. 137; 12, p. 10–11].

Для того, чтобы теперь указать на содержательный или онтологический аспект актуальных историко-философских дискуссий, необходимо проанализировать, каким образом ставится и решается вопрос об отношении философии к собственной истории. Этот вопрос следует понимать в качестве разновидности вопроса о том, что же такое философия, как мы увидим, в зависимости от понимания сущности философии разные исследователи по-разному говорят о природе историко-философского поиска. Как и в случае с методологическим (формальным) аспектом, мы прибегнем к помощи рассудка, который подсказывает нам, что возможно двоякое толкование отношения мысли к своей истории. Либо они как понятия в своем объеме совпадают, либо же нет; приведем аргументы сторонников первой и второй точек зрения.

Представитель университета Сан-Франциско, историк философии Рой Маш (Roy Mash), например, не считает, что философская мысль и ее история – одно и то же. Более того, он видит лишь три возможных причины заниматься историей мысли. Во-первых, это причина прагматическая, то есть такая, которая выражает этос философа, принадлежность к той или иной группе коллег, понимание габитуса этой группы и прочее. Во-вторых, это так называемая домашняя (homely) причина, которая сводится к знанию фактического материала и пересказу предшествовавших мнений разных историков философии: фактически – к эвристике. Наконец, в-третьих, он выделяет «надуманную», субъективную причину, в соответствии с которой тому или иному автору представляется, что некое историко-философское исследование важно, по нашему собственному убеждению. Наиболее обоснованной причиной заниматься историей философии Р. Маш считает вторую из изложенных. Более того, он решительно не согласен с аргументом о том, что создавать качественную, «хорошую» философию – это значит философствовать исторически, заниматься историей философии. В качестве контрпримера он приводит фигуру Людвига Витгенштейна – принципиально далекого в своем творчестве от историко-философского исследования мыслителя [16, p. 296]. Тем не менее история философии важна и необходима, но только как одна из дисциплин в ряду прочих философских наук, таких как логика, онтология, эстетика и тому подобных. В этом смысле основной пафос Р. Маша сводится к тому, чтобы продемонстрировать, что значимость истории философии (причем не в смысле специальной исторической дисциплины) слишком преувеличена, а отождествление истории мысли и самой мысли, разговоры о том, что история философии является неотъемлемой частью процесса философствования, не имеют под собой достаточного основания [16, p. 299].

Другой представитель англо-американского направления исследований, специалист по творчеству Дж. Локка и классической новоевропейской философии Джон Йолтон (John W. Yolton, 1921–2005) обращает внимание на педагогическую

составляющую этой проблемы. Он полагает, что существует объективная потребность в том, чтобы привить студентам навыки квалифицированного чтения тестов. Эта актуальная проблема действительно требует решения в рамках учебного процесса; однако нельзя требовать от современных философов, обладающих статусом ученых (статус, соответствующий в академической среде всякому естествоиспытателю, особенно в англо-саксонской культуре), глубокой, профессиональной осведомленности в области истории философии. Одним из аргументов этого историка философии является размытость границ той сферы исследования, которую мы считаем философской, например, в XVII–XVIII вв. понятие философии радикально отличалось от сегодняшнего, поэтому для адекватной интерпретации текстов таких авторов, как Декарт, Беркли или Юм, необходимо иметь в виду не только (и не столько) собственно историографические сведения по «философским» текстам, но тех авторов, которые оказали влияние на исследуемые нами тексты – прямо или опосредованно, очевидно или неявно [21, p. 5]. Следовательно, с его точки зрения, история философии как дисциплина, во-первых, оказывается сомнительной, а во-вторых, может быть вполне реализована только в образовательном контексте при обучении студентов необходимым навыком грамотного чтения «философских» текстов [21, p. 19–20].

Вообще, чем больше погружаешься в размышления представителей аналитической традиции об истории философии, тем больше в глаза бросается довольно ощутимый, порою даже агрессивный антиисторизм. Такие маститые ее представители, например Джон Сёрль, в своих работах зачастую вовсе игнорируют какой бы то ни было историко-философский контекст при исследовании интересующих их проблем. Это замечает и видный исследователь аналитической традиции, историк философии В. В. Васильев: «Он [Сёрль. – А. Л.] признает свою, скажем так, недостаточную осведомленность в истории дисциплины, которую он 40 лет преподает в университете Беркли (Калифорния, США). Объясняет он это тем, что медленно читает и что в Оксфорде, где он получал философское образование, не было подробных исторических курсов: “Я изучал историю философии Нового времени, прежде всего Декарта, Локка, Беркли и Юма. Но я вообще не изучал Канта, Лейбница или Спинозу и мало касался Платона и Аристотеля”. Сёрл, впрочем, пытается истолковать недостаток собственных историко-философских познаний как преимущество, указывая – вполне в картезианском ключе – на то, что своими рассуждениями философы часто не проясняли, а, наоборот, затемняли те или иные вопросы. Созданная ими путаница способствовала тому, что сами по себе несложные проблемы превращались в их глазах в великие тайны» [1, с. 54–55].

Интересно, что в связи с подобными проявлениями «воинствующего антиисторизма» некоторые исследователи склонны считать его определенным свойством, характерным в работе философов-аналитиков, об этом пишет, например, И. Мишо: «История философии – это типично европейская, если не сказать французская, дисциплина, важность которой в курсе изучения, исследования и вообще во всем климате философских занятий трудна для понимания англо-саксонских философов, которые в большей мере сосредоточены на

непосредственной борьбе с утверждениями великих предшественников или с нетерпением стремятся изложить свои собственные идеи» [17, p. 467].

Что же касается аргументов в пользу того, что история философии и философия как понятия по объему своему совпадают, то подобная точка зрения высказывается, например, исследователем из Чикагского университета Лесли Коэном (Lesley Cohen). В одной из своих публикаций она вступает в дискуссию с известным историком философии Эдвином Кёрли (Edwin Curley, род. 1937), который в своей статье «Диалоги с мертвыми» (Dialogues With the Dead) утверждает, что история мысли важна и ее следует изучать для того, чтобы правильно задавать вопросы и воспринимать на них ответы. Кёрли также считает, что в философии имеет место прогресс и учения, предложенные столетия назад, должны быть заменены более перспективными или истинными учениями – но не философией [9, p. 51–52]. Л. Коэн в принципе соглашается с позицией своего коллеги, однако не принимает его тезиса о прогрессе в философии. Чикагский исследователь сравнивает историю философии и историю науки: наука, с ее точки зрения, всегда «забывает» свою историю, ей нет необходимости возвращаться к прежним парадигмам и переосмыслять их. Философия же по преимуществу дисциплина историческая – в том смысле, что незнание истории мысли означает непонимание того, почему те или иные вопросы имеют право быть заданы и требуют ответа на них. Другими словами, философия – это дисциплина, в которой важно не упустить из виду временное, историческое развитие (но не в гегелевском диалектическом смысле!) вопросов, которые нас захватывают. С философами прошлого можно и нужно спорить – в этом смысле мы не занимаемся историей философии, но творим актуальную философию с помощью, в диалоге с персонажами из прошлого: «Хорошая философия никогда не производится в вакууме» [9, p. 55].

Видный специалист в истории философии, сотрудник Института продвинутых исследований Австралийского национального университета Джон Пассмор (1914–2004) в своей статье «The Idea of a History of Philosophy» утверждает, что идея истории философии состоит в том, чтобы помимо чисто доксографических сюжетов устанавливать подлинную картину тех обстоятельств, в рамках которых тот или иной автор создавал свои произведения. При этом необходимо иметь в виду, что сам философ должен в связи с таким подходом пониматься как неотъемлемая составная часть всеобщего историко-философского процесса: «Он [историк философии. – А. Л.] не просто записывает, не просто передает; он стремится понять, и в этих попытках он должен воссоздать ситуацию. В самом деле, в известном смысле он не только воссоздает, но и создает. Ибо интеллектуальная ситуация, в которую он помещает, например, Канта и из которой он показывает движение кантовских проблем, не является такой ситуацией, которую бы сам Кант осознавал. Декарт не знал, насколько он был связан со схоластической традицией; Кант не знал о том, что его знание Юма несовершенно. Но для нас теперь понять Декарта или Канта с точки зрения истории означает разглядеть Декарта в контексте схоластики, а Канта – работающим в такой традиции, которая заставила его считать, что Юм мог бы и не сказать того, что он на самом деле сказал. Только так мы можем понять, почему Юм и Кант утверждают то, что они утверждают – понять их

таким образом, как сами себя они не понимали» [18, p. 31–32]. Сходных взглядов придерживается и Эрнст Мориц Манасс, указывающий на историческую необходимость доксографии, но вместе с тем философский характер истории мысли [15].

Разумеется, в связи с подходом к истории философии как философии нельзя не упомянуть и ставшую хорошо известной позицию французского исследователя античности Пьера Адо (1922–2010). Известный своим изучением понятия заботы о себе в ее практическом аспекте как реализации древнего императива γνῶθι σεαυτόν (познай самого себя), Адо вместе с тем полагал, что подлинной философии без истории не может быть [10]. В этом проявляется его оригинальное переосмысление тезиса Л. Витгенштейна о языковых играх – французский интеллектуал считает, что античная философия представляет собой серию языковых игр и каждую из них историк должен уметь соотносить с теми конкретными историческими условиями, в которых она развивалась и существовала. В этом смысле П. Адо оказывается сторонником историко-философского отношения к мысли, в чем проявляется его сходство с Дж. Пассмором; однако это видимое сходство их позиций не следует преувеличивать, поскольку французский историк также полагал, что прочтение современными философами работ мыслителей классической античности не только легитимно, но и вполне выражает все то непреходящее значение, которым она обладает для нас в конкретных исторических условиях.

III

Изложенные в предлагаемой статье соображения можно резюмировать в следующих трех тезисах.

Во-первых, история философии в современном исследовательском сообществе может пониматься двояко: с одной стороны, как проблема методологическая, с другой – как онтологическая. Под первой мы понимаем необходимость дать различные классификации и жанровые особенности возможных проектов историй философии, под второй – необходимость решения вопроса об отношении мысли к своей истории.

Во-вторых, история философии как методологическая проблема непосредственно связана с потребностью подвести под общее понятие то многообразие жанров (в том числе и историю идей), которое возникает в связи с различными задачами обоснования правомерности постановки тех или иных философских вопросов. Важно иметь в виду, что понятие философии при этом, как правило, остается невыясненным, в чем проявляется доксографический (или парадигмальный) характер всякой классификации подобного рода.

В-третьих, онтологический аспект истории философии оказывается завязан на решении вопроса об историчности философского знания. Важно иметь в виду, что непринятие тезиса о том, что история философии и философия тождественны, влечет за собой и отказ от необходимости самого историко-философского исследования. Однако же признание совпадения объемов понятий философии и ее истории указывает на исторический характер философской мысли как таковой.

На последнем положении нам бы хотелось остановиться особо. Разумеется, как и всякая философская дисциплина, история философии требует известной

подготовленности исследователя и определенным образом очерченного своего собственного проблемного поля. Вместе с тем история философии представляет собой едва ли не единственную область философского знания, которая, поскольку располагает собственным эмпирическим материалом, признается представителями положительных дисциплин научной. Уже на описательном уровне историк философии способен явить миру новое фактическое знание (например, обнаружить до сих пор неизвестную рукопись или установить авторство той или иной идеи и т.п.). Более того – всякое подлинное открытие в философии оказывается историчным по своему существу: с одной стороны, оно всегда обусловливается местом и временем, жизненными обстоятельствами своего автора, а с другой – так или иначе касается исторического аспекта философии как особого рода культурной деятельности. Отчего же вообще может тогда возникнуть в современном философском дискурсе вопрос о статусе истории философии?

На наш взгляд – и это гипотеза, которая требует более тщательного исследования в дальнейшем, – дело может заключаться в том, что понятие метафизики и, как следствие, ее истории было радикально переосмыслено в ходе развития новейших философских школ и течений, прежде всего англо-американских направлений аналитической философии и прагматизма. Воинствующий антиисторизм их представителей в купе с отказом от традиционного «континентального» (а по существу – западноевропейского) понимания метафизики обессмыслил исторический характер философской мысли. Там, где метафизика понимается как дисциплина, позволяющая дать «предельное обоснование теоретического знания»,[6] а философия отличается от естественных наук вовсе не качественно, а количественно, понятно, не может быть никакого дела до исторического измерения мысли как непрекращающегося рационального поиска истины. Если одни способы обобщения сменяют другие, а позитивность знания носит уже не дискуссионный, а идеологический характер, то никакая история наподобие Geistesgeschichte Ричарда Рорти не может предложить перспективной исследовательской программы. Вот почему, на наш взгляд, историко-философские поиски в этом сегменте современного философского дискурса продуктивно заменяет история идей.

Список литературы

1. Васильев В. В. Трудная проблема сознания. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 269 с.
2. Джохадзе И. Д. Ричард Рорти как историк философии // История философии. – 2012. – № 17. – С. 3–24.
3. Никоненко С. В. Аналитическая философия: основные концепции. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2007. – 545 с.
4. Словарь философских терминов / науч. ред.проф. В.Г. Кузнецова. – М.: Инфра-М, 2005. – 731 с.
5. Юлина Н. С. Очерки по философии в США. XX век. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 546 с.
6. Catana L. Doxographical or Philosophical History of Philosophy: On Michael Frede's Precepts for Writing the History of Philosophy // History of European Ideas. – 2016. – Vol. 42. – № 2, pp. 170–177.

[6] Формулировка А. Л. Доброхотова – см. [4, с. 324].

7. Catana L. Lovejoy's Readings of Bruno: Or How Nineteenth-Century History of Philosophy Was "Transformed" into the History of Ideas // Journal of the History of Ideas. – 2010. – Vol. 71. – № 1. – pp. 91–112.
8. Catana L. The Concept "System of Philosophy": The Case of Jacob Brucker's Historiography of Philosophy // History and Theory. – 2005. – Vol. 44. – № 1. – pp. 72–90.
9. Cohen L. Doing Philosophy Is Doing Its History // Synthese. – 1986. – Vol. 67. – № 1. – pp. 51–55.
10. Force P. The Teeth of Time: Pierre Hadot on Meaning and Misunderstanding in the History of Ideas // History and Theory. 2011. – Vol. 50. – № 1. – pp. 20–40.
11. Frede M. The History of Philosophy as a Discipline // The Journal of Philosophy. – 1988. – № 85. – pp. 666–672.
12. Hacking I. Representing and Intervening. Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science. – New York, 2010. – 296 p.
13. Kuhn T. S. The Structure of scientific Revolutions. – Chicago, 1996. – 179 p.
14. Makkreel R. A. Traditional Historicism, Contemporary Interpretations of Historicity, and the History of Philosophy // New Literary History. – 1990. – Vol. 21. – № 4. – pp. 977–991.
15. Manasse E. M. The Philosophical Value of the History of Philosophy // Philosophy and Phenomenological Research. – 1952. – Vol. 12. – № 4. – pp. 538–549.
16. Mash R. How Important for Philosophers is the History of Philosophy? // History and Theory. – 1987. – Vol. 26. – № 3. – pp. 287–299.
17. Michaud Y. The End of the History of Philosophy // Social Research. – 1982. – Vol. 49. – № 2. – pp. 467–480.
18. Passmore J. The Idea of a History of Philosophy // History and Theory. – 1965. – Vol. 5. – pp. 1–32.
19. Pitt J. C. Problematics In The History of Philosophy // Synthese. 1992. – Vol. 92. – pp. 117–134.
20. Thayer H. S. The Philosophy of History and the History of Philosophy: Some Reflections on the Thought of John Herman Randall, Jr. // Transactions of the Charles S. Peirce Society. – 1987. – Vol. 23. – № 1. – pp. 1–15.
21. Yolton J. W. Is There a History of Philosophy? Some Difficulties and Suggestions // Synthese. – 1986. – Vol. 67. – № 1. – pp. 3–21.

Lvov A.A. How Historians of Philosophy Substantiate Their Discipline: the Status of History of Philosophy and Historical and Philosophical Research // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 84–94.

In contemporary historical and philosophical community the disputes on the status of history of philosophy are quite topical and fruitful. At the same time there takes place an ambiguous understanding of the history of thought as a discipline within the philosophical domain. On the one hand, it concerns its methodology (i.e. various classifications and genre specifications of possible historical and philosophical projects), and on the other – its ontology, when to solve the problem of how thought correlates with its history becomes mandatory. It is important to notice that the generalization of the variety of the genres, which found legitimacy of those philosophical issues, does not deal with the clarification of philosophy as a concept. This determines doxografic (or paradigmal) character of the methodological aspect in the historical and philosophical investigations. Then, in terms of the ontological aspect, one may claim that it provides scholars with the possibility to put and unravel the question of the correlation of thought to its history. As far as different historians of philosophy tend to interpret the nature of historical and philosophical search on their own, and their original understanding of the essence of the philosophical research is usually disputable and becomes the aim of their colleagues' thorough analysis, the classical proposition that "philosophy is the history of philosophy" becomes quite dubious. Analyzing the current historical and philosophical discussions, in the field of both Russian and foreign academic traditions, we conclude that the radical revision of the concept of metaphysics lay the foundation for so called "antihistoricism" as a feature of the present philosophical research within the analytic trend in the Western thought.

Keywords: history of philosophy, historians of philosophy, methodology of the history of philosophy, onthological aspect, methodological aspect, antihistoricism.

References

1. Vasiliev V. V. Trudanaia Problema Soznaniya [Hard Problem of Consciousness]. Moscow, Progress-Traditsiya, 2009, 269 p.
2. Dzhokhadze I. D. Richard Rorty kak Istorik Filosofii [Richard Rorty as a Historian of Philosophy]. Istoriya filosofii, 2012, no. 17, pp. 3–24.
3. Nikonenko S. V. Analiticheskaya Filosofiya: Osnovnye kontseptsii [Analytic Philosophy: the Main Conceptions]. St. Petersburg, Publishing house of Saint-Petersburg State University, 2007, 545 p.
4. Slovar' Filosofskikh Terminov [Dictionary of Philosophical Terms]. Moscow, Infra-M, 2005, 731 p.
5. Yulina N. S. Ocherki po Istorii Filosofii v SShA. XX vek [Sketches on the History of Philosophy in the USA. XX century]. Moscow, Editorial URSS, 1999, 546 p.
6. Catana L. Doxographical or Philosophical History of Philosophy: On Michael Frede's Precepts for Writing the History of Philosophy. History of European Ideas, 2016, Vol. 42, No. 2, pp. 170–177.
7. Catana L. Lovejoy's Readings of Bruno: Or How Nineteenth-Century History of Philosophy Was "Transformed" into the History of Ideas. Journal of the History of Ideas, 2010, Vol. 71, № 1, pp. 91–112.
8. Catana L. The Concept "System of Philosophy": The Case of Jacob Brucker's Historiography of Philosophy. History and Theory, 2005, Vol. 44, № 1, pp. 72–90.
9. Cohen L. Doing Philosophy Is Doing Its History. Synthese, 1986, Vol. 67, № 1, pp. 51–55.
10. Force P. The Teeth of Time: Pierre Hadot on Meaning and Misunderstanding in the History of Ideas. History and Theory. 2011, Vol. 50, № 1, pp. 20–40.
11. Frede M. The History of Philosophy as a Discipline. The Journal of Philosophy, 1988, № 85, pp. 666–672.
12. Hacking I. Representing and Intervening. Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science. New York, 2010, 296 p.
13. Kuhn T. S. The Structure of scientific Revolutions. Chicago, 1996, 179 p.
14. Makkreel R. A. Traditional Historicism, Contemporary Interpretations of Historicity, and the History of Philosophy. New Literary History, 1990, Vol. 21, № 4, pp. 977–991.
15. Manasse E. M. The Philosophical Value of the History of Philosophy. Philosophy and Phenomenological Research, 1952, Vol. 12, № 4, pp. 538–549.
16. Mash R. How Important for Philosophers is the History of Philosophy? History and Theory. 1987, Vol. 26, № 3, pp. 287–299.
17. Michaud Y. The End of the History of Philosophy. Social Research, 1982, Vol. 49, № 2, pp. 467–480.
18. Passmore J. The Idea of a History of Philosophy. History and Theory, 1965, Vol. 5, pp. 1–32.
19. Pitt J. C. Problematics In The History of Philosophy. Synthese. 1992, Vol. 92, pp. 117–134.
20. Thayer H. S. The Philosophy of History and the History of Philosophy: Some Reflections on the Thought of John Herman Randall, Jr. Transactions of the Charles S. Peirce Society, 1987, Vol. 23, № 1, pp. 1–15.
21. Yolton J. W. Is There a History of Philosophy? Some Difficulties and Suggestions. Synthese. 1986, Vol. 67, № 1, pp. 3–21.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 95–103.

УДК 167.7, 316.01

КОНФИГУРАЦИИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Фахрутдинова А. З.

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск, Российская Федерация

E-mail: faamina@yandex.ru

При изучении трансформации социальных процессов возможно применение как одной, так и нескольких конфигурированных моделей. Первый вариант конфигурации связан с синтезом субъективистского и объективистского подходов. Результатом такого синтеза явились теория структурации Э. Гидденса, теории самонаправленности А. Этциони и «самопроизводящегося общества» А. Турена др. Все модели такого типа акцентируют внимание на активной роли субъекта, с одной стороны, детерминированного объективными условиями, а с другой – конструирующего их благодаря рефлексии, мониторингу социальной жизни и коммуникации. Автор статьи обнаруживает осуществление данного синтеза в других социальных науках: политологии, прогностике, теории принятия решений и пр. Второй вариант конфигурации связан с сочетанием детерминистического и вероятностного подходов. Такую конфигурацию автор эксплицирует при анализе работ К. Маркса, К. Поланьи, П. Сорокина. По Марксу, детерминистический подход реализуется в развертывании противоречия между производительными силами и производственными отношениями, роль случайности можно увидеть в его анализе первоначального накопления капитала. Анализ концепции Поланьи показал, что линейное и стабильное европейское развитие в XIX веке обеспечивалось действием четырех взаимосвязанных социальных институтов, в то время как вероятностный характер трансформации сопряжён с действием международных политических субъектов. Подобная логика социальной динамики реконструируется и при анализе работ Сорокина. Автор статьи делает вывод о сущностной близости выявленной конфигурации с синергетической моделью, по крайней мере, в части вопроса о соотношении необходимости и случайности.

Ключевые слова: конфигурация моделей социальных трансформаций, объективизм, субъективизм, детерминизм, вероятностный характер общественного развития.

Социальные трансформации, социальные изменения – основной предмет изучения теоретической социологии и важнейшая тема социальной философии. Классический подход к объяснению социальных трансформаций связан с различными модификациями системного подхода. В соответствии с ним изменения внутри системы постепенно накапливаются и, в конце концов, приводят к изменению самой системы. Основоположником данного подхода на методологическом уровне был Л. фон. Берталанфи, а применительно к социальному познанию – Т. Парсонс. Другой моделью, описывающей социальные изменения, является концепция социального процесса, разработанная П. Сорокиным. «Под процессом понимается любой вид движения, модификации, трансформации,

чередования или “эволюции”, короче говоря, любое изменение данного изучаемого объекта в течение определенного времени, будь то изменение его места в пространстве, либо модификация его количественных или качественных характеристик» [9, с. 97]. Классификация социальных процессов выделяет линейные и нелинейные, циклические и вариантно повторяющиеся их типы.

Более радикальным теоретическим новшеством стала модель текучего социокультурного поля, появившаяся в конце XX века. Основной структурной единицей его является социальное событие. П. Штомпка следующим образом характеризует концепцию текучего социального поля: «Основное отличие модели поля от системной состоит в теоретическом обосновании изменения и процессов как именно протяженных, а не дискретных, фрагментированных или разорванных. Между двумя точками во времени, как бы близки они ни были, движение не останавливается» [11, с. 29]. Одним из примеров реализации модели социокультурного поля является работа З. Баумана «Текучая современность». «Было бы опрометчиво отрицать или даже преуменьшать глубокие изменения условий человеческой жизни, связанные с наступлением текучей современности, – пишет он. – Отдаленность и недостижимость системы и структуры в сочетании с неструктурированным, текучим состоянием непосредственных обстоятельств реализации жизненных принципов радикально изменяет эти условия и требует пересмотра старых понятий…» [3, с. 14].

Конечно, данные модели отнюдь не исчерпывают всего существующего концептуального многообразия социальных теорий (некоторые из них будут представлены в ходе дальнейшего анализа) Задача, стоящая перед автором, заключается в выявлении и классификации способов конфигурации моделей социальных изменений, используемых в социальной философии и теории. Можно зафиксировать применение для изучения того или иного процесса как одной модели, так и их конфигурацию.

Первый вариант конфигурации связан с синтезом т. н. объективистского и субъективистского подходов. Употребление этих терминов весьма многозначно и широко. Так, Э. Гидденс считает реализацей установок объективизма такие концепции, как функционализм (включая теорию систем), структурализм, натурализм; тему «принуждения» в объяснительных моделях в целом. В противоположность этому субъективизм представлен, по его мнению, герменевтикой и интерпретативной социологией и акцентирует свое внимание на человеческом действии и значении [5, с. 39]. П. Бурдье ассоциирует с объективизмом, имеющим, по его мнению, своей целью «установить объективные закономерности (структуры, законы, системы отношений и т. п.), независящие от сознания и воли индивидов» [4, с. 51], системный и структурно-функциональный подход.

Отметим в качестве магистральной линии современной социальной теории и философии стремление к синтезу объективизма и субъективизма, преодоления ограниченности обеих этих позиций. «Из всех оппозиций, искусственно делящих социальные науки, самой фундаментальной и самой губительной является та, что противопоставляет субъективизм объективизму» [4, с. 49], так пишет, например,

П. Бурдье. Результатом такого синтеза явился ряд теорий в социологии, в том числе теория габитуса П. Бурдье и теория структурации Э. Гидденса, стремление к синтезу в других социальных теориях.

В соответствии со взглядами Э. Гидденса предметом социальных наук является не опыт индивидуального актора и не существование какой-либо формы социетальной тотальности, а социальные практики, упорядоченные в пространстве и во времени. В своей деятельности акторы постоянно воспроизводят практики и тем самым условия, которые делают их возможными. Существенную роль в этом воспроизводстве играет рефлексивность. «Целостная последовательность практик предполагает рефлексивность; пишет он, однако последняя возможна лишь в условиях последовательной непрерывности этих практик, которая и позволяет воспроизводить их отчетливо «тождественными» друг другу во времени и пространстве… Быть человеческим существом, значит являться целеустремленным деятелем, который одновременно осознает причины собственной деятельности и способен в случае необходимости детально развить и конкретизировать их» [5, с. 41–42].

Обозначенный синтез действительно отражает важнейшую тенденцию в современном социальном познании. Прежде всего, он реализуется в деятельностном подходе, акцентирующем внимание на роли субъекта в конструировании условий собственной жизни и развивающем тезис Маркса о том, что «обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства». Подобную направленность имеют теория обмена, символический интеракционизм, концепция морфогенеза У Бакли, теории «активного общества» (теория самонаправленности») А. Этциони, «самопроизводящегося общества» А. Турена и др. Все модели такого типа концентрируются на активности субъекта, детерминированного, с одной стороны, объективными условиями, а с другой – формирующего их благодаря рефлексии, мониторингу социальной жизни и коммуникации. Такие теории появляются не только в социологии, но и в других социальных науках, включая прикладные.

Так, синтез в современной политологии содержит стремление объединить установки и достижения объективистской и акционистской парадигм политического прогнозирования. Объективистская парадигма предполагает, что действие политического субъекта обусловливается объективными факторами, акционистская – сводится в подсчету результирующей действий политических субъектов. В реальной прогностике происходит синтез объективистских и субъективистских подходов. «Прогнозирование представляет собой такую идеально-преобразовательную деятельность, в которой объективные факторы (например, показатели уровня жизни населения) и субъективные намерения управляющих, по сути дела, равноправны» [8, с. 490], – пишет, например, А. И. Соловьев. Прогнозирование в синтетической парадигме сводится к определению последствий действий тех или иных политических субъектов с учётом различных вариантов экономических условий, развития институциональных и ментальных структур, действия других субъектов.

В прогнозировании электорального поведения наблюдается та же тенденция. В современной теории электорального поведения происходит сближение социологического, психологического и политэкономического подходов. Социологический и психологический подходы понимают объективные факторы в качестве детерминирующих поведение избирателя; политэкономический – основан на моделях «рационального индивида» и «рационального принятия решений» и выделяет субъективные факторы как определяющие электоральный выбор. Исходное положение последней школы состоит в том, что каждый гражданин голосует за ту партию, которая, как он полагает, представит ему больше пользы, чем другая [1]. Результатом синтеза трех подходов стала модель мыслящего индивида [2, p. 45]. Этот избиратель действительно размышляет о партиях, кандидатах и политических проблемах. Однако в отличие от «рационального индивида» он минимизирует свои усилия по сбору информации, а также стремится упростить процедуру принятия решений. Признается, что поведение избирателя определяется как рациональными, так и экспрессивными (объективными) факторами, причем значение этих факторов равнозначно. В качестве экспрессивных факторов рассматриваются: партийная и идеологическая идентификация, нормы участия (гражданский долг), социальная солидарность, стереотипы, формирующиеся под воздействием СМИ и социальных коммуникаций.

Тенденция к конфигурации субъективистских и объективистских подходов на основе синтеза обнаруживается также в теории принятия решения, поведенческой экономике, теории управления в целом.

Второй вариант конфигурации, выявленный мной в современном социальном познании, связан с сочетанием детерминистического[1] и вероятностного подходов. Детерминистический подход был по сути дела применён К. Марксом при исследовании исторического процесса с точки зрения концепта общественно-экономических формаций. Развитие последних представлено как реализация противоречия между производительными силами и производственными отношениями и носит линейный, детерминистический характер.

Вместе с тем в общеизвестном анализе первоначального накопления капитала Маркс рассматривает формирование капиталистического общества как результат действия ряда независимых экономических и внеэкономических факторов: узурпации общинных земель, разорения монастырей, роста мануфактурного производства и пр. Здесь можно говорить о неком вероятностном процессе, основанном на случайном (в значительной степени) совпадении ряда составивших ансамбль факторов.

Подобная логика используется при анализе истории европейского развития в XIX веке и Карлом Поланьи [6]. Объясняя условия сохранения столетнего мира в это время и разрушения социальной стабильности в начале XX века, автор рассматривает действие четырех институтов. Первый – система равновесия сил, в течение ста лет предотвращавшая сколько-нибудь длительные и разрушительные

[1] Имеется в виду механистический детерминизм, выявляющий динамические законы

войны между великими державами; второй – международный золотой стандарт; третий – саморегулирующийся рынок, обеспечивший рост материального процветания; и, наконец, четвертый – либеральное государство. В отличие от Маркса, анализирующего процесс первоначального накопления капитала, Поланьи выделяет четыре зависимых друг от друга института, считая порождающим элементом этой системы саморегулирующийся рынок. Казалось бы, вполне детерминистическая модель. Однако сразу после её описания следует высказывание, показывающее некоторую критическую рефлексию автору по отношению к собственным выводам и указывающее на признание элементов случайности в историческом развитии: «В самом деле, нет ничего более нелепого, чем попытка свести всю цивилизацию, все ее материальное и духовное содержание к определенному числу институтов, избрать один из них в качестве самого важного, а затем доказывать неизбежность саморазрушения данной цивилизации из-за каких-то частных, технических особенностей ее экономического устройства. Цивилизации, как и сама жизнь, возникают в результате взаимодействия множества независимых факторов, которые, как правило, невозможно свести к ясно очерченным институтам» [6, с. 9].

Где же кроются, по Поланьи, истоки независимости действия факторов, а следовательно, и вероятностного характера исторического развития? Представляется, что это действие субъектов исторического развития, в частности Священного Союза (а позже – Европейского концерта держав), способных до определенного времени поддерживать равновесие сил на международной арене. При этом такая способность связывается с деятельностью конкретных исторических персонажей (например, Меттерниха), их политическим искусством и мудростью. Соответственно, уход этих персонажей с политической арены и появление других, менее способных (что, безусловно, несло существенный отпечаток случайности), приводили к разрушению равновесия и дестабилизации социальной жизни. Таким образом, при пристальном взгляде на четыре зависимых друг от друга фактора обнаруживается независимость, по крайней мере, двух из них: экономического (саморазвивающийся рынок) и политического (деятельность международных политических регуляторов).

Признание вероятностного характера социального развития я нахожу и в концепции социальной динамики П. Сорокина [9]. Как известно, он постулирует существование трёх типов культур: идеациональной, идеалистической и чувственной. Обнаруживая причины кратковременных флуктуаций, т. е. изменений внутри одного типа культуры, Сорокин выделяет следующие факторы: война или мир, экономическое процветание или обнищание, всевозможные социальные кризисы [9, с. 644–645]. Эти связи и влияния вполне поддаются рациональному описанию и логике детерминизма. Так фактор войны и милитаризма способствует крену государственной системы в сторону тоталитаризма. «В XVII и отчасти в XVIII вв. кривая войны достигла своего высшего уровня – достиг своего максимума и государственный тоталитаризм, – пишет Сорокин. Революционные и наполеоновские периоды были воинственными и тоталитарными. XIX в. (после наполеоновских войн) был относительно мирным – и государственная система с ее

правительством стали умеренными, договорными, ограниченными» [9, с. 646]. Он обращает внимание и на логическую связь тоталитаризма и голода, обнищания населения. «В обществе, где существует дифференциация на бедных и богатых, чрезвычайное обнищание способствует расширению правительственного контроля в других социальных сферах» [9, с. 648]. В качестве примеров рассматриваются ситуации в Древнем Египте времен Иосифа, Китае, Древней Греции, в Средние века, в России накануне революции 1917 г. и пр.

Для нас важно, что Сорокин постулирует и разворачивает на исторических примерах понимание детерминистического и линейного развития внутри типа одного культуры (логика краткосрочных флуктуаций). Иное дело – механизмы долгосрочных флуктуаций. Анализ причин долговременных флуктуаций Сорокин начинает с признания, что никакой тесной и непосредственной связи между типом культур (идеационной и чувственной) и «расширением или сокращением государственно-правительственного вмешательства не наблюдается» [9, с. 641]. Что касается экономического фактора, то Сорокин признает определенную связь между подъемом и упадком экономического благосостояния и типом доминирующей культуры, во всяком случае, относительно греко-римской и западной культур. «Эта связь, однако, – уточняет он, – не является непосредственной. Она, безусловно, существует, но часто нарушается или частично прерывается в результате вторжения “случайных” сил разного рода, а также под воздействием сложного сочетания имманентных следствий развития культуры каждого типа» [9, с. 672].

Таким образом, культурная динамика, по Сорокину, представляется как совокупность линейных, детерминистических периодов (где динамика задается краткосрочными флуктуациями) и сменой культур (определяющейся долгосрочными флуктуациями). Последняя трансформация носит в определенной степени вероятностный характер и задаётся действием наряду с экономическими, рядом внешних и случайных факторов.

В этом же духе (с определенным оговорками) можно трактовать и соотношение линейных, экономически детерминированных этапов развития общественно-экономических формаций и периодов их смены, находящихся под воздействием ряда независимых и совпавших во времени и пространстве факторов в марксовом анализе. В данном случае речь идет тоже о конфигурации детерминистических и вероятностных моделей социального развития. Конечно, такая конфигурация является в значительной степени современной авторской реконструкцией; сам Маркс, насколько известно, был проводником идеи «локомотива», следующего по «историческим путям» с «железной необходимостью». Однако тщательность и добросовестность исторического анализа Маркса привели к выявлению процессов и фактов, противоречащих по сути его основной позиции.

Что это напоминает? Конечно же, синергетическую модель. В предисловии к книге И. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок из хаоса» [7] О. Тоффлер отмечает, что авторы «не только доказывают…, что в окружающем нас мире действуют и детерминизм, и случайность, но и прослеживают, каким образом необходимость и случайность великолепно согласуются, дополняя одна другую. Согласно теории изменения, проистекающей из понятия диссипативной структуры, когда на систему,

находящуюся в сильно неравновесном состоянии, действуют, угрожая ее структуре, флуктуации, наступает критический момент – система достигает точки бифуркации. Пригожин и Стенгерс считают, что в точке бифуркации принципиально невозможно предсказать, в какое состояние перейдет система. Случайность подталкивает то, что остается от системы, на новый путь развития, а после того как путь (один из многих возможных) выбран, вновь вступает в силу детерминизм – и так до следующей точки бифуркации. Таким образом, в теории Пригожина и Стенгерс случайность и необходимость выступают не как несовместимые противоположности: в судьбе системы случайность и необходимость играют важные роли, взаимно дополняя одна другую» [7, с. 26–27].

Данная «синергетическая» конфигурация имеет применительно к социальному познанию некоторые вариации. В ряде теорий роль случайности при переходе к новой системе просто фиксируется или подразумевается. К таким теориям иногда предъявляют претензии в отсутствии или неразвернутости описания механизма перехода к новому состоянию. В качестве примера можно привести концепцию научных революций Т. Куна, где переход к новой парадигме описывается как переключение гештальта, т. е. как иррациональный процесс. Такого же типа конфигурацию осуществляет, на мой взгляд, и К. Поланьи. Другой вариант – попытки не только продемонстрировать роль случайности в моменте перехода к новой системе, но и показать содержательно составляющие новой системы, случайно совпавшие и образовавшие «пазл».

Некоторые наметки такого подхода я нашла в рассмотренных работах П. Сорокина. В отличие от экономических интерпретаторов истории Сорокин считает, что связь экономики с остальными составляющими культуры носит более свободный характер, чем связь других культурных процессов между собой. «Искусство и наука, наука и религия, нравственные учения и право, право, религия и искусство – эти и прочие, особенно «идеологические» элементы культуры более тесно взаимосвязаны и изменяются в гораздо большей степени в унисон, чем, например, экономические условия и искусство, экономические условия жизни и наука, экономические условия и уголовные кодексы…» [9, с. 672]. В упомянутой работе Маркса (анализ первоначального накопления капитала) роль составляющих, «взаимодействующих в унисон» факторов не только фиксируется на методологическом уровне, но и раскрывается содержательно, показывается их генезис. Автор данной статьи также пытается работать над развитием данного варианта синергетической модели, понимая переход к новым программам и традициям как в науке, так и в социальной жизни как действие механизма системности и взаимосвязанности элементов различных традиций и программ, случайно совпавших в пространстве и времени, составивших новый ансамбль и послуживших основой новой системы [10, с. 11–20].

Таким образом, были проанализированы два, на наш взгляд, важнейших варианта объединения социальных теорий: синтез субъективистских и объективистских подходов и конфигурация детерминистических и вероятностных моделей. Описанные типы конфигураций моделей социального познания, безусловно, не исчерпывают всего их многообразия. Так, заслуживают особого

внимания, но не могут быть подробно рассмотрены в данном формате вопросы соотношения нормативных теорий (теорий, рассматривающих социальный процесс как традицию, следование образцу) и моделей социокультурного поля, конфигурации «матрёшечного» типа, различные варианты сочетания системного подхода и моделей развития, объединение познавательных и управленческих подходов и пр.

Список литературы

1. Dawns A. An Economic Theory of Democracy. – N.Y.: Harper, 1957 – 310 p.
2. Popkin S.L. The reasoning voter. – Chicago: University of Chicago Press, 1991. – 332 p.
3. Бауман, З. Текучая современность / Зигмунт Бауман. Пер. с англ. под ред. Ю. В. Асочакова. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с. – Библиогр. в примеч.: с. 232–238
4. Бурдье П. Практический смысл / Пьер Бурдье. Пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; Отв. ред. пер. и Послесл. Н. А Шматко. – СПб.: Алетейя, 2001. – 562 с.
5. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Энтони Гидденс. Пер. с англ. И. Тюрина. – 2-е изд. – М.: Академический Проект, 2005. – 528 с.
6. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени / Карл Поланьи. Пер. с англ. А. А. Васильева и др.; Под общ. ред. С. Е. Федорова. СПб.: Алетейя, 2002. – 313 с.
7. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / Илья Пригожин, Изабелла Стенгерс. Пер. с англ. Общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с.
8. Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии [Текст]: учебник для студентов вузов / А. И. Соловьев. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 559 с.
9. Сорокин П. А Социальная и культурная динамика / Питирим Александрович Сорокин; пер. с англ., вст. статья и комментарии В. В. Сапова. – М.: Астрель, 2006. – 1176 с
10. Фахрутдинова А. З. Традиции и инновации: когнитивная и институциональная поддержка [Текст] / А. З. Фахрутдинова. Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. – 2016. – Т. 2 (68). – № 4 – С. 11–20.
11. Штомпка П. Социология социальных изменений / Петр Штомпка. Пер. с англ. под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с.

Fahrutdinova A.Z. Configuration Explanatory Models of Social Transformation // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 95–103.

In the study of transformation of social processes is possible to use one or several configured models. The First configuration option is associated with the synthesis of subjectivist and objectivist approaches. The theory of Structuration E. Giddens, the concept of morphogenesis W. Buckley, theory of Active Society A. Etzioni and Self-production Society" by A. Touraine are the results of this synthesis. All models of this type emphasize the active role of the subject, on the one hand determinate objective conditions, and on the other – construct them through reflection, monitoring social life and communication. The author of the article discovers the desire for such a synthesis and its implementation in the other social Sciences: political science, prognostics, decision making theory, etc. The Second configuration, discussed in detail in this article linked to the combination of deterministic and probabilistic approaches. This configuration author explicates in the analysis of the works of Marx, Polanyi, Sorokin. According to Marx, a deterministic approach is implemented in the deployment of the contradictions between the productive forces and relations of production, the role of randomness can be seen in his analysis of primitive accumulation of capital. The analysis of the concept of Polanyi's revealed that linear and stable European development in the nineteenth century is provided by four interrelated social institutions, while the probabilistic nature of transformation is associated with action international political actors. This logic of social dynamics detected in the analysis of the works of Sorokin.

The author concludes that the essential proximity to the identified configuration of the synergistic model, at least in part the question of the relation between necessity and chance.

Keywords: configuration models of social transformation, objectivism, subjectivism, determinism, probabilistic nature of social development.

References

1. Dawns A. An Economic Theory of Democracy. N.Y., Harper, 1957, 310 p.
2. Popkin S.L. The reasoning voter. Chicago, University of Chicago Press, 1991, 332 p.
3. Bauman Z.Tekuchaya sovremennost' [The Technical Modernity]. Trans. from English. Ed.Yu. V. Asochakova, SPb., Piter, 2008, 240 p.
4. Burd'e P. Prakticheskii smysl [The Practical Sense] Trans. from the French ed.A. T. Bikbov, K. D. Voznesenskaya, S. N. Zenkin, N. A. Shmatko; Resp. trans. Ed. and Afterword. N. A Shmatko, SPb., Aleteiya, 2001, 562 p.
5. Giddens E. Ustroenie obshchestva: Ocherk teorii strukturatsii [The Constitution of Society], Trans. from English. I. Tyurina. 2-e publ. Moscow, Akademicheskii Proekt, 2005, 528 p.
6. Polan'i K. Velikaya transformatsiya: politicheskie i ekonomicheskie istoki nashego vremeni [The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time] Trans. from English A. A. Vasil'eva. Edited by S. E. Fedorova. SPb., Aleteiya, 2002, 313 p.
7. Prigozhin I., Stengers I Poryadok iz khaosa: Novyi dialog cheloveka s prirodoi [Order out of Chaos. Man's new dialogue with nature] Trans. from English. Edited by V. I. Arshinova, Yu. L. Klimontovicha i Yu. V. Sachkova. Moscow, Progress, 1986, 432 p
8. Solov'ev A.I. Politologiya: Politicheskaya teoriya, politicheskie tekhnologii [Political science: Political theory, political technologies] Textbook for University Students. Moscow, Aspekt Press, 2006, 559 p.
9. Sorokin P. A Sotsial'naya i kul'turnaya dinamika [Social and Cultural Dynamics] Trans. from English. Introductory Article and Comments by V. V. Sapova. Moscow, Astrel', 2006, 1176 p.
10. Fakhrutdinova A.Z. Traditsii i innovatsii: kognitivnaya i institutsional'naya podderzhka [Tradition and Innovation: Cognitive and Institutional Support]. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo, universiteta imeni V. I. Vernadskogo Filosofiya. Politologiya. Kul'turologiya [Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology], 2016, Vol.2 (68), no. 4, pp. 11-20
11. Shtompka P. Sotsiologiya sotsial'nykh izmenenii [The Sociology of Social Change.]. Moscow, Aspekt Press, 1996, 416 p.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 104–112.

УДК 324

ИНТЕРНЕТ-МЕМ КАК ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ[1]

Гандалоева М. Т.

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Российская Федерация.

E-mail: madina-dinzik@mail.ru

Актуальность исследования определяется использованием феномена интернет-мемов в политическом пространстве и слабой изученностью данного вопроса в избирательном процессе. Достижение поставленной цели реализуется через выявление роли интернет-мемов в электоральном процессе и осуществление попытки их классификации в интернет-пространстве.
Автор опирается на определение мема Р. Докинза, согласно которому это самые маленькие узнаваемые фрагменты культурной информации, которые являются независимыми репликаторами, подверженными мутации и естественному отбору.
Показано, что интернет-мем как подвид мема является технологией массовой самокоммуникации и, как следствие, гражданской журналистики. Он представляет собой информацию, вызывающую особый интерес у пользователей, закодированную в виде изображения или фразы и распространяемую в сети Интернет. Под мемами понимаются новые культурные коды, посредством которых массмедиа воздействуют на человека и формируют общественное мнение. Проводится аналогия мемов с медиавирусами, провоцирующими серьезные изменения в социальной жизни. Поскольку социальные сети выступают благоприятной площадкой для коммуникации кандидата со своими избирателями, то интернет-мемы в качестве технологий этих сетей выступают инструментом электоральной борьбы.
На примере трех кейсов (избирательные процессы в США, России и Франции) проиллюстрировано, как рассматриваемый инструмент используется в электоральной борьбе. Предпринята попытка классификации интернет-мемов в зависимости от их функций на выборах.

Ключевые слова: мем, интернет-мем, социальные сети, электоральный процесс, интернет-технология.

В настоящее время мы переживаем период коммуникационной революции, в котором интернет-технологии открывают новые возможности коммуникации с целевыми аудиториями и порождают новые формы политической активности. Данные технологии влияют на определение специфики распространения и формы потребления информации, позволяя в совершенно немыслимых ранее форматах

[1] Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-03-00339 «Фронтир сетевого общества как пространство политического взаимодействия».

осуществлять информационно-коммуникационное взаимодействие между конечными пользователями.

Цель данной статьи заключается в рассмотрении интернет-мема в качестве избирательной технологии. Научная новизна работы заключается в том, что впервые интернет-мем рассматривается в контексте электорального процесса. В работе использованы следующие методы: анализ, синтез, индукция, сравнение, аналогия.

Изучением новой электронной информационной среды занимались представители так называемой медийной теории. В первую очередь, это М. Маклюэн с его идеей «мира как глобальной деревни» [9, с. 258].

М. Кастельс отмечает, что Интернет открывает возможность двусторонней коммуникации и в связи с этим вводит новое понятие – «массовая самокоммуникация»: массовая, потому что имеет в себе потенциал достичь глобальной аудитории; самокоммуникация, поскольку сообщения производятся самостоятельно также, как и определение получателя. Массовая самокоммуникация призвана не подменять, а дополнять две другие формы коммуникации: межличностную и массовую. Для социальной организации принципиальным является тот факт, что это «одновременное объединение всех форм коммуникации в многокомпонентный, интерактивный, цифровой гипертекст, который включает, смешивает и перераспределяет в их разнообразии всю сферу культурных представлений, передаваемых в ходе человеческого взаимодействия [8, с. 73–76]. Ее появление стало возможным благодаря технологиям web 2.0 и web 3.0, посредством которых люди стали выстраивать свои собственные системы массовых коммуникаций. Таким образом, через беспроводные сети возможно построить коммуникацию, охватывающую аудиторию глобального масштаба, а «дигитализация контента и продвинутое программное обеспечение… позволяет переформатировать почти весь контент в любой формат, распространяемый через … сети» [8, с. 89].

Таким образом, описанная М. Кастельсом технология способствует созданию новых инструментов и практик для так называемой гражданской журналистики. Ее сущность заключается в том, что обычные граждане, не занимающиеся профессиональной журналисткой деятельностью, получают возможность посредством интернет-технологий собирать, анализировать и распространять информацию.

Одной из таких технологий массовой самокоммуникации (и соответственно гражданской журналистики) являются интернет-мемы. Впервые термин «мем» появился в 1976 в книге Р. Докинза «Эгоистичный ген», в которой он представлялся элементарной частицей культурной информации, участвующей в процессе накопления знаний из анекдотов, пословиц, афоризмов и т. д. [3, с. 156–157].

Обычно эксперты классифицируют мемы в зависимости от каналов их распространения: Интернета, телевидения, печатной прессы, радио [20, с. 822]. Одним из самых массовых и популярных видов является интернет-мем. Под ним понимается информация, представленная в виде изображения или фразы, распространяемая в интернет-среде. Однако критериям мемов отвечает не любая

информация, а только та, которая имеет ярко выраженный коннотационный характер: вызывает особый интерес у пользователей, порождает ассоциации и т. д. В основе мема, как правило, лежит что-то актуальное и злободневное: высказывание известного человека, фраза из фильма, недавнее происшествие или горячая новость. Эта информация становится мемом только в том случае, если она получает широкое распространение в сети.

Еще 15 лет назад, до широкого распространения мемов, А. И. Соловьев предвидел, что «новые информационные технологии меняют качество и структуру предложений на политическом рынке, способствуют небывалому повышению плотности интерактивного взаимодействия элитарных и неэлитарных слоев» [16, с. 6]. Социальные сети являются отличной площадкой для коммуникации кандидатов со своим электоратом, своего рода альтернативой дорогостоящему и не всегда доступному телевидению и прочим СМИ. Несмотря на недавность широкого распространения мемов в обществе, исследователи всерьез заинтересовались этим явлением.

Как утверждает Н. А. Зиновьева, «мемы участвуют в формировании идентичности, актуализации личных переживаний, воспроизводстве и накоплении социального капитала, создают иллюзию сопричастности ... Мемы воздействует на формирование и дополнение социальной и индивидуальной картины мира» [5, с. 195–201].

По мнению А. А. Столярова, «основной задачей мема является вовлечение в медийную коммуникацию различных групп людей, объединение их с помощью привлечения каждого к одному какому-то комплексу информации. Другими словами, мемы являются связующими элементами медиапространства, они объединяют разную медиаинформацию, придавая ей определенный смысл, коннотации и вовлекая ее в контекст» [17]. Мемы оказывают воздействие на восприятие и поведение как на индивидуальном, так и на общественном уровне: с помощью закодированной в меме информации в обществе формируется новый взгляд на проблему, после чего он доносится до уровня индивида и воспринимается им. Иными словами, мемы формируют общественное мнение.

По определению Н. В. Горбатова и Л. Т. Станкевич: «власть и влияние» начинают принадлежать тем, кто «способен создавать новые культурные коды, используемые обществом для отражения реальности и выработки сознательных решений» [16, с. 7]. Мем и есть тот самый новый культурный код, с помощью которого масс медиа воздействует на человека. Это «неуклюжий результат попытки создания символов языка, воспринимаемых одновременно на слух, визуально и даже осязательно… Мемы – инструменты адаптации новой речевой ситуации к привычным условиям межчеловеческого общения. Мы создаем мемы, чтобы усовершенствовать язык сетевой коммуникации, усовершенствованный язык модифицирует нас. В этом – эволюционный потенциал мема» [14, с. 66–71]. Таким образом, новые технологии и реалии изменили способы передачи информации.

«Клиповое мышление и “фасеточное” зрение становятся основными способами познания политического мира. Мем – вот один из основных носителей политической информации в сетевом пространстве» [10, с. 95]. Проведенный

мониторинг интернет-среды позволил выявить наличие большого числа интернет-мемов на политическую тематику. Это является своего рода реакций пользователей на происходящие в политической жизни обществе события. Вместе с тем наблюдается общность с политической карикатурой: задействована стратегия высмеивания, используются прецедентные феномены, которой свойственна комическая и трагическая направленность, имеющая целью критику общественно-политических явлений с помощью художественных средств (сатиры, игры слов, гротеска и т. д.). Посредством интернет-мемов выражается политическое мнение и протест. К тому же они могут служить определенным показателем рейтинга политиков, показывать его полярность среди населения [6, с. 69–73].

Как справедливо заметил Д. В. Попов, политика, являясь сферой борьбы за власть, в наш век современных технологий (в области массовых коммуникаций) превращается в борьбу мемов [14, с. 66–71]. А. А. Столяров считает, что использование свойств социальных сетей позволяет привлечь на сторону оппозиции значительный электорат. Ключевую роль в сегментации «протестной аудитории» в социальных сетях играют мемы, ставшие узловыми доминантами, вокруг которых формировался протест [17].

Интернет-мемы, являясь одной из технологий социальных сетей, выступают инструментом электоральной борьбы. Если до недавнего времени они не рассматривались как эффективный инструмент воздействия на аудиторию, то президентская кампания США 2016 года показала, что мемы могут быть самостоятельными информационными единицами [19, с. 3].

Многие исследователи связывают понятие интернет-мема с медиавирусом [18, с. 146]. Под последним, согласно Д. Рашкоффу [15], представляют события, провоцирующие серьезные изменения в социальной жизни. Подобно вирусам интернет-мемы намеренно запускаются в сеть, могут возникнуть спонтанно, однако заинтересованные личности используют их в своих целях; распространяются сами по себе, зачастую имеют провокационный характер.

«Денег нет, но вы держитесь» – сокращенная версия фразы, произнесенная Дмитрием Медведевым в 2016 году во время своего визита в Крым в ответ на вопрос пенсионерки об обещанной индексации пенсий. Ролик, выложенный в сеть, получил ««вирусную популярность», а фраза стала мемом, по итогам 2016 года заняла второе место в российском топ-10 в категории «Мемы года» по версии сервиса Google Trends [1].

Активные пользователи выпускали в сеть огромное количество мемов, оказалось, что его можно применить практически к любому событию. Летом 2016 года после очередной свадьбы, получившей огласку в СМИ благодаря своему размаху, получил распространение мем, где на фоне фотографии с этого мероприятия с изображениями некоторых глав регионов сделана надпись: «Деньги есть, мы держимся!». Кроме простых обывателей сетей, знаменитой фразой заинтересовались также «Альфа-банк» и оператор Tele2, которые использовали ее в своем рекламном слогане, но позже от нее отказались.

Мы предлагаем следующую классификацию интернет-мемов в электоральном процессе:

1. Мем – поддержка. В данном случае используется адресный подход, в зависимости от целевой аудитории, выделяют мемы: ориентированные на социальную и возрастную группу избирателей (кандидат позиционируется как близкий к их интересам); по территориальному признаку (в зависимости от места жителей избирателей); демонстрирующие осведомленность кандидата о насущных проблемах своего электората и заинтересованность в их разрешении, а также интересы отдельных категорий работников или предприятий; позиционирующие личные качества кандидата или партии.

Рассмотрим, как данную стратегию использовали на последних выборах в США. Лягушонок Пепе – герой известного в США комикса Мэтта Фьюри Boy's Club. После того как в сети стали появляться картинки с лягушонком в нацистской форме, со свастикой на лбу и прочей нацисткой атрибутикой, за героем комикса закрепилась устойчивая ассоциация с антисемитской пропагандой. Политтехнологи из штаба Дональда Трампа намеренно разместили в официальном твиттере кандидата мем с лягушонком [12], чтобы привлечь таким образом молодую аудиторию, но просчитались – оппоненты использовали публикацию как доказательство связи республиканца с националистами и антисемитами.

Одной из первых, кто среагировал на этот мем у себя в Твиттере, была коллега Трампа по партии, политконсультант Шери Якобус: «Зеленая лягушка – символ, который используют белые расисты в своей пропаганде. Вам туда не надо» [13]. Это в свою очередь породило волну новых мемов с лягушонком и Д. Трампом, довольно агрессивного характера, но уже в адрес Якобус.

2. Мем – управление событиями. В апреле 2017 г. А. Навального облили зеленкой, в результате чего он получил химический ожог правого глаза. В мае на его канале в YouTube вышла очередная еженедельная программа, в которой он предстал в пиратской повязке. Ситуацию он объяснил следующим образом: «На самом деле никакого другого выхода не было, потому что у меня большая светочувствительность глаза, а здесь есть софиты, которые мне вредны. Был еще вариант, чтобы я сидел перед вами в таких черных очках, но мы подумали, что это будет еще более глупо» [11]. Реакция пользователей социальных сетей вылилась в большое количество мемов, в одном из самых распространенных политик выступал в роли пирата из одноименного мультфильма «Спанч Боб»:

– Вы готовы дети?

– Да, капитан!

– Тогда 12 июня все выходим на улицу!

Сам Навальный отнесся к этому с юмором, более того, некоторые мемы разместил у себя на странице, чем вызвал восторг у пользователей.

3. Мем – контрпропаганда. На последних выборах во Франции группы поддержки организовывали онлайн-кампании как с целью позиционирования своих кандидатов, так и с нападками на оппонентов. Особую активность проявляли сторонники Ле Пен, запуская в сеть серию мемов, направленных против Э. Макрона. В апреле 2017 года на сайте www.4chan.org [4] был выложен пост с призывом «тотальной войны мемов» против Э. Макрона, вследствие чего в Твиттере зародился один из мемов, сравнивающих Э. Макрона с Марией Антуанеттой. Это

интернет-мем был подхвачен пользователями и разошелся в сети в различных вариациях под общим тегом «Макрон Антуанетта».

В зависимости от особенностей той или иной страны разнится и стиль интернет-кампаний: то, что было эффективно и успешно реализовано Б. Обамой или Д. Трампом в ходе своих кампаний, возможно, не в полной мере уместно для европейских избирателей, а уж тем более для развивающихся стран, которые только начали осваивать Интернет на политической арене. В первую очередь это связано с различием политических культур: в частности, в Европе социальные сети менее популярны, интернет-грамотность европейских политиков часто оставляет желать лучшего [2, с. 35].

По мнению политолога М. Карягина, основной причиной, по которой российские политики в своих кампаниях не используют мемы, является нежелание «спускаться до такого уровня». В официальных сообществах российских партий редко встретишь мемы, поскольку для большинства политиков быть смешным – это значит быть глупым [7]. У А. Навального, к примеру, несколько иная точка зрения на этот счет: он может позволить себе выйти с пиратской повязкой на голове и тем самым вызвать бурную ответную реакцию от пользователей сетей.

Интернет-мемы на выборах в России – это в большинстве своем инструмент борьбы за кандидата несистемной оппозиции. Как прогнозирует М. Карягин, помимо них в выборной кампании 2018 г. эту технологию возможно включат в свою электоральную стратегию В. Жириновский и С. Миронов.

На основе вышесказанного можно заключить, что интернет-мемы – это современное явление, которое находится на стыке языка, общества и цифровой коммуникации и, являясь технологией массовой самокоммуникации, представляет собой относительно новую форму совместной культуры, которая может предложить определенной части населения возможность политического участия и самовыражения.

Заложенные в интернет-мемах простые смыслы обобщают информацию о политической действительности и переводят ее в медиаформат, что в дальнейшем позволяет воздействовать на аудиторию для управления ее поведением. Такой инструмент манипулирования как нельзя лучше нашел применение в электоральном процессе, где технологиями по созданию и распространению в сети мемов активно пользуются PR-технологи кандидатов. Можно предположить, что эта технология получит широкое распространение и постепенно перейдет с уровня выборов федерального уровня до муниципальных.

Список литературы

1. 2016 год в Google Поиске. URL: https://russia.googleblog.com/2016/12/2016-google.html (Дата обращения: 07.07.2017).
2. Гандалоева М. Т. Артикуляция и интеграция политических интересов в электоральном процессе посредством социальных медиа // Актуальные вопросы современных общественных наук. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 10 марта 2016 г. – 2016. – С. 34–36.
3. Докинз Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз. – М.: Мир, 1993. – 318 с.
4. Доска объявлений 4chan. URL: http://www.4chan.org/ (Дата обращения: 07.07.2017).

5. Зиновьева Н. А. Воздействие мемов на Интернет-пользователей: типология Интернет-мемов // Вестник экономики, права и социологии. – 2015. – № 1. – С. 195–201.
6. Канашина С. В. Раздел 2. Интернет-мем и политика // Политическая лингвистика. – 2017. – №1 (61). – С. 69–73.
7. Карягин М. Мемная политика. URL: http://actualcomment.ru/memnaya-politika-1705121050.html (Дата обращения: 07.07.2017)
8. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие / Под науч. ред. А. И. Черных. – М.: ГУ ВШЭ, 2016. – 563 с.
9. Маклюэен М. Галактика Гуттенберга. Становление человека печатающего / Под науч. ред. И. Тюриной. – М.: Академический проект. – 2005. – 496 с.
10. Мирошниченко И. В., Морозова Е. В. Сетевая публичная политика: контуры предметного поля // Полис. Политические исследования. – 2017. – № 2. – С. 82–102. URL: https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.06 (Дата обращения: 07.07.2017)
11. Одноглазый Навальный стал объектом фотожаб. URL: https://memepedia.ru/odnoglazyj-navalnyj-stal-obektom-fotozhab/ (Дата обращения: 07.07.2017)
12. Официальная страница Д. Трампа в Твиттере. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/653856168402681856 (Дата обращения: 07.07.2017)
13. Официальная страница Ш. Якобус в Твиттере. URL: https://twitter.com/cherijacobus/status/685262398345867265 (Дата обращения: 07.07.2017)
14. Попов Д. В. Мем как средство коммуникации, сетевая ценность и фактор развития культуры // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2016. – № 3. – С. 66–71.
15. Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание / Д. Рашкофф. – М.: Ультра. Культура, 2003. – 368 с.
16. Соловьев А. И. Коммуникация и культура: противоречия поля политики // Полис. Политические исследования. – 2002. – № 6. – С. 6–17. URL: http://www.politstudies.ru/article/3119 (Дата обращения: 07.07.2017)
17. Столяров А. А. Политические мемы эпохи «Facebook-революции» как способ конструирования медиареальности // Теория СМИ и массовой коммуникации. – 2014. – № 3. URL: http://www.mediascope.ru/node/1590#13 (Дата обращения: 10.07.2017).
18. John A. Ball. Memes as replicators // Ethology and Sociobiology. – 1984. – Vol. 5. – Issue 3. – pp. 145–161. URL: Doi.org/10.1016/0162-3095(84)90020-7 (Accessed: 07.07.2017)
19. Ross Andrew S., Damian J. Rivers Digital cultures of political participation: Internet memes and the discursive delegitimization of the 2016 U.S Presidential candidates // Discourse, Context & Media. – 2017. – Vol. 16. – p. 1–11. URL: Doi.org/10.1016/j.dcm.2017.01.001 (Accessed: 07.07.2017)
20. Rusu A. A. The Life of Memes. Traditional Technologies and the Transmission of Knowledge // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2013. – Vol. 92. – p. 820–825. URL: Doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.760 (Accessed: 07.07.2017)

Gandaloeva M.T. Internet-meme as the Electoral Technology // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 104–112.

The purpose of this work is to consider the Internet meme as an electoral technology. The relevance of the study is determined is defined by the use of the Internet memes phenomenon in the political space and weak knowledge of this issue in the electoral process. Achieving this goal involves setting the following tasks: to reveal a role of Internet memes in the electoral process and to make an attempt of their classification in Internet space. Scientific novelty of the work lies in the fact that the first Internet meme is considered in the context of the electoral process. The study used following methods: analysis, synthesis, induction, comparison, analogy. The author relies on definition of a meme of R. Dokkinz according to which it is the smallest recognizable fragments of cultural information which are the independent replicators subject to a mutation and to natural selection. It is shown that the Internet meme as subspecies of a meme is a technology of mass self-communication and as a result, civil journalism. It represents the information which is of particular interest at users, coded in the form of the image or a phrase and distributed in the Internet. Memes are understood as new cultural codes by means of which mass media influence the person and form public opinion information that

causes the special interest of the user, encoded in the form of pictures or phrases and distributed via the Internet. In fact, memes – new cultural codes through which mass media affect a person and shape public opinion. The analogy of memes with media viruses, provoking major changes in social life. Because social networks are a favorable platform for communication of the candidate with voters, the Internet memes as the technologies of these networks are a tool of electoral competition. On the example of three case studies (the electoral processes in the United States, Russia and France) illustrated how the tool is used in the electoral struggle. An attempt of classification of Internet memes, depending on their functions in elections.

Key words: meme, Internet meme, social networks, electoral process, Internet technology.

References

1. 2016 god v Google Poiske [2016 in Google Search]. Available at: https://russia.googleblog.com/2016/12/2016-google.html (Accessed: 07.07.2017).
2. Gandaloeva M. T. Artikulyatsiya i integratsiya politicheskikh interesov v elektoral'nom protsesse posredstvom sotsial'nykh media [Articulation and Integration of Political Interests in the Electoral Process through Social Media]. Aktual'nye voprosy sovremennykh obshchestvennykh nauk sbornik nauchnykh trudov po itogam mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Topical Issues of Modern Social Sciences Collection of Scientific Works to the International Scientific-Practical Conference], 2016, p. 34–36.
3. Dawkins R. Egoistichnyi gen [Tthe Selfish Gene]. Moscow, Mir, 1993, pp. 156–157.
4. Doska ob"yavlenii 4chan [Bulletin Board 4chan]. Available at: http://www.4chan.org/ (Accessed: 07.07.2017).
5. Zinov'eva N. A. Vozdeistvie memov na Internet-pol'zovatelei: tipologiya Internet-memov [Impact of Memes on Internet Users: Internet Memes Typology]. The Review of Economy, the Law and Sociology, 2015, Vol. 1, p.195–201.
6. Kanashina S. V. Razdel 2. Internet-mem i politika. Section 2. [Internet Meme and Policy]. Politicheskaya lingvistika [Political Linguistics], 2017, Vol.1 (61), pp. 69–73.
7. Karyagin M. Memnaya politika [Meme Policy]. Available at: http://actualcomment.ru/memnaya-politika-1705121050.html (Accessed: 07.07.2017)
8. Kastel's M. Vlast' kommunikatsii: ucheb. posobie [the Power of Communication]. Moscow, Pigher school of Economics, 2016, 563 p.
9. Maklyueen M. Galaktika Guttenberga. Stanovlenie cheloveka pechatayushchego [The Gutenberg Galaxy. The Development of Man Printing]. Moscow, Academic project, 2005, 496 p.
10. Miroshnichenko I. V., Morozova E. V. Setevaya publichnaya politika: kontury predmetnogo polya [Network Public Policy: Outlines of Subject Field]. Polis. Politicheskie issledovaniya [Polis. Political Studies], 2017, Vol. 2. pp. 82–102, URL: Doi.org/10.17976/jpps/2017.02.06
11. Odnoglazyi Naval'nyi stal ob"ektom fotozhab [One-eyed Navalnyi Has Become the Object of Photo-meme]. Available at: https://memepedia.ru/odnoglazyj-navalnyj-stal-obektom-fotozhab/ (Accessed: 07.07.2017)
12. Ofitsial'naya stranitsa D. Trampa v Tvittere [Official Page D. Trump on Twitter]. Available at: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/653856168402681856 (Accessed: 07.07.2017)
13. Ofitsial'naya stranitsa Sh. Yakobus v tvittere [Official Page Sh. Jacobus on Twitter]. Available at: https://twitter.com/cherijacobus/status/685262398345867265 (Accessed: 07.07.2017)
14. Popov D. V. Mem kak sredstvo kommunikatsii, setevaya tsennost' i faktor razvitiya kul'tury [Meme as a Means of Communication, Network Value and the Factor of Development of Culture]. Nauchnyi vestnik Omskoi akademii MVD Rossii [Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the MIA of Russia], 2016, Vol. 3, p. 66–71.
15. Rashkoff D. Mediavirus. Kak pop-kul'tura taino vozdeistvuet na vashe soznanie [Media Virus. Hidden Agendas in Popular Culture]. Moscow, Ultra. Culture, 2003, 368 p.
16. Solov'ev A. I. Kommunikatsiya i kul'tura: protivorechiya polya politiki [Communication and Culture: Contradictions of the Field of Politics]. Polis. Politicheskie issledovaniya [Polis.Political Studies], 2002, Vol. № 6, pp. 6–17, URL: Doi.org/10.17976/jpps/2002.06.02
17. Stolyarov A. A. Politicheskie memy epokhi «Facebook-revolyutsii» kak sposob konstruirovaniya mediareal'nosti [Political Memes of the "Facebook Revolution" Era as a Way of Media Reality Design].

Teoriya SMI i massovoi kommunikatsii [Theory of Media and Mass Communication], 2014, Vol. 3. Available at: http://www.mediascope.ru/node/1590#13 (Accessed: 10.07.2017).
18. John A. Ball. Memes as replicators. Ethology and Sociobiology, 1984, Vol. 5, Issue 3, p. 145–161, Available at: Doi.org/10.1016/0162-3095(84)90020-7
19. Ross Andrew S., Damian J. Rivers Digital cultures of political participation: Internet memes and the discursive delegitimization of the 2016 U.S Presidential candidates. Discourse, Context & Media, 2017, Vol. 16, pp. 1–11, URL: Doi.org/10.1016/j.dcm.2017.01.001
20. Rusu A-A. The Life of Memes. Traditional Technologies and the Transmission of Knowledge. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2013, Vol. 92, pp. 820–825, URL: Doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.760

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 113–123.

УДК: 323.1

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И ЭТНОРЕЛИГИОЗНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В КРЫМУ В РАЗВИТИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ[1]

Гросфельд Е. В.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация.

E-mail: alegros@mail.ru.

В статье рассматриваются вопросы национально-культурного и этнорелигиозного самоопределения тюркских народов в Крыму в условиях развития общероссийской гражданской идентичности. Национально-культурное и этнорелигиозное самоопределение граждан и этнических сообществ в полиэтничном, поликонфессиональном государстве осуществляется в ходе общенационального самоопределения в рамках гражданской нации, которая является высшим национально-государственным, политическим универсумом, но воплощается в региональных контекстах. Обосновано, что национально-культурное самоопределение обеспечивает воплощение идентичности групп и сообществ, идентичности человека и гражданина и является составляющей общей гражданской культуры в системе гражданской идентичности. Значение национально-культурного самоопределения состоит в институционализации этнокультурного фактора в общественно-политических отношениях. В этой связи повышается значение национально-культурного самоопределения в развитии межэтнического, межкультурного взаимодействия, в реализации важнейшего политического проекта современности – упрочения общероссийской гражданской идентичности. Данный проект включает организацию новых сфер политического действия, формирование новых субъектов политики, появление новых политических акторов, внедрение новых принципов и приёмов политико-административного управления. В статье изложены результаты социологического опроса 60 экспертов в Республике Крым – членов и руководителей национально-культурных и религиозных организаций, молодежных организаций, работников органов власти и МСУ, работников СМИ, сферы науки и образования.

Ключевые слова: национально-культурное самоопределение, этнорелигиозное самоопределение, тюркские народы, общероссийская гражданская идентичность.

Актуальность и значимость национально-культурного и этнорелигиозного самоопределения при многих успешных и многих конфликтогенных воплощениях, как и при оптимальных, конфликтогенных и дискриминационных реакциях на него, побуждает к исследовательским инициативам. Они особенно важны в условиях

[1] Статья выполнена в рамках проекта «Национально-культурное и этнорелигиозное самоопределение адыго-абхазских и тюркских народов на Северном Кавказе, в Крыму в условиях упрочения гражданского единства российской нации» (Государственное Задание № 31.9430.2017/НМ Пятигорскому государственному университету)

консолидации – этнической, религиозной, гражданской и поиска объединяющей политической национальной идеи в полиэтничных государствах и территориях[2].

Цель данной статьи заключается в исследовании национально-культурного и этнорелигиозного самоопределения тюркских народов в Крыму в условиях развития общероссийской гражданской идентичности.

Сущность национально-культурного самоопределения выражается в обеспечении взаимодействия национального и политического через добровольность, непринуждаемость, самоорганизацию, самоуправление граждан в сфере этнических интересов. Национально-культурное самоопределение обеспечивает реализацию индивидуальных и групповых стратегий граждан по сохранению этнокультурной самобытности и развитию межкультурных связей. Национально-культурное самоопределение оптимизирует гражданскую идентификацию индивидов и групп в полиэтничных сообществах через достижение благополучного этнокультурного самочувствия.

В современной отечественной политологии состоялись целостные обобщения национально-культурного самоопределения как этнополитического процесса (В. Тишков, М. Аствацатурова, В. Зорин, Р. Абдулатипов и др.). Однако национально-культурное самоопределение как фактор упрочения гражданской идентичности российского общества пока не стало объектом отдельного комплексного исследования в контексте современных этнополитических процессов и институтов Крыма.

Гражданская конкиста, как и гражданская реконкиста, выводят на первый план общественно-политической практики проблемы встраивания этнической и религиозной идентичностей в гражданскую общенациональную идентичность. Здесь важен учет ресурсов как модернизационной гражданственности и гражданского патриотизма, так и консервативного традиционализма (И. Кузнецов, Э. Паин). Соответственно, на авансцену исследовательских инициатив выступает очевидная методологическая проблема. Прежде всего, это – сложность определения самого объекта исследования, то есть проблема смыслового отождествления национально-культурного и этнорелигиозного самоопределения. Здесь возможны три основных толкования (при множестве второстепенных локальных толкований). Первое: под национально-культурным и этнорелигиозным самоопределением можно понимать процесс институционализации самоорганизующихся и самодостаточных субъектов гражданского общества – национально-культурных автономий, национально-культурных и религиозных организаций и движений. В этом случае исследованию подвергаются программные и уставные документы данных организаций, а также их: деятельность (акции и мероприятия, в том числе, профилактические, антиконфликтогенные, миротворческие, компромиссные), дискурс (обращения, меморандумы, ультиматумы, заявления лидеров), формы и методы взаимодействия с властью (вхождение в соответствующие общественно-

[2] «Национально-культурное и этнорелигиозное самоопределение адыго-абхазских и тюркских народов Северного Кавказа и Крыма в условиях упрочения гражданского единства российской нации». Экспертный доклад. Монографическое издание. Ч. 1/ Науч. ред. В. А. Тишков, отв. ред. М. А. Аствацатурова. – Пятигорск: ПГУ, 2017. – С. 5.

консультативное советы, комиссии, коллегии), межрегиональные и межгосударственные связи (вхождение в экстерриториальные и международные организации) и др.

Важными индикаторами национально-культурного и этнорелигиозного самоопределения в данном понимании являются такие, как численность и иерархия национально-культурных НПО, НКА и религиозных организаций, их практическая деятельности, расширение их социального служения. Особым аспектом выступает деятельность НПО, НКА, НКО коренных народов РФ и диаспорных групп, религиозных организаций в профилактике межэтнических противоречий и конфликтов, а также в упрочении единства российской гражданской нации. Второе: под национально-культурным и этнорелигиозным самоопределением можно понимать групповые стратегии и целевые тактики народов и этнических групп (коренных и диаспорных) как целостных сообществ в агрегировании и элевировании своих интересов – культурных (язык, традиции, обряды), религиозных (следование канонам избранной религии и отправление соответствующих духовных и обрядовых практик), территориальных (сохранение за собой своей «этнической территории», территории этногенеза), политических и правовых (достижение и сохранение суверенитета, в том числе государственного, приобретение желаемого правового статуса, обеспечение этнополитической безопасности). В техниках и технологиях национально-культурного и этнорелигиозного самоопределения в данном понимании проявляется стремление народов и этнических групп к образованию территориальной автономии, ведется манифестная борьба за самостоятельность в выборе государственного устройства и за национальное (этническое) единство. Также типичны требования полной реабилитации, противодействие этноцидам и геноцидам, «ответный национализм», в том числе «ответный национализм меньшинств на национализм большинств» и наоборот и др. Также типичны апелляции к СМИ, к международным организациям и правовым институтам, поиск союзников, сторонников и симпатизантов – экономических, политических, персональных. Также отмечаются практики создания транснациональных этнополитических, этнорелигиозных корпораций для лоббирования интересов и продвижения коллективных идей. Третье: под национально-культурным и этнорелигиозным самоопределением можно понимать процесс самоидентификации конкретного индивида в отношении собственной этнической (национальной) и религиозной принадлежностей, который является глубоко личным и непубличным.

Определение гражданина РФ в плане его этнической и религиозной принадлежностей извне (со стороны) представляет существенную трудность, так как Конституция РФ и законодательство РФ ограждают это сферу самоопределения индивида от вмешательства как государства, так и общества в соответствии с демократическим пониманием прав человека и гражданина. По сути, внешнее экспертное фиксирование национально-культурного и этнорелигиозного самоопределения применительно к конкретному человеку и гражданину может быть основано только на базе личных заявлений индивида о собственной этнической (национальной) и религиозной принадлежности (непосредственно) либо из

соответствующего целевого дискурса индивида, например в системе PR и GR-отношений. Также определить содержание национально-культурного и этнорелигиозного самоопределения конкретного человека можно на основе данных, полученных экспертами путем включенного наблюдения за деятельностью то или иного индивида (опосредованно). В отдельных случаях этническая (национальная) принадлежность и религиозная принадлежность некоторых персоналий (прежде всего, работников органов власти и управления, политических и общественных деятелей, этнических активистов, референтных лиц сообщества) фиксируется на сайтах организаций и учреждений, в интернет-ресурсах, а также в публикациях СМИ, в агитационных материалах, в видовых рядах (вероятно, с согласия самих граждан) и др.[3]

В настоящее время некоторые народы Крыма (крымские татары, азербайджанцы, болгары[4], крымчаки и караимы) осознают себя в рамках тюркского этнического пространства, говорят или говорили на тюркских языках, этногенез и формирование культурных традиций этих народов, несомненно, связаны с Крымским полуостровом.

По результатам переписи 2014 г. число постоянного населения Республики Крым и г. Севастополя составило 2284,8 тыс. человек. Из них 96,2 % указали свою национальность. Порядка 87,2 тыс. крымчан либо отказались участвовать в переписи, либо не дали ответа на вопрос о своей национальной принадлежности. Для сравнения: во время Всеукраинской переписи населения 2001 г. не указали свою национальность 10,9 тыс. жителей полуострова. Всего переписчики обнаружили на полуострове представителей 175 национальностей (по данным Всеукраинской переписи 2001 г., в Крыму проживали представители 125 народов).

Наиболее многочисленной национальной группой являются русские, которых в Крыму насчитывается 1 492 078 чел. (65,31 % от всего населения федерального округа), в том числе в Республике Крым – 1,19 млн чел. (62,86 %) и г. Севастополе – 303,1 тыс. чел. (77 %), затем следуют украинцы – 344 515 чел. По Республике Крым совокупная численность крымских татар и татар на 14 октября 2014 г. составляет 271,8 тыс. (14,9 %), включая крымских татар 229,5 тыс. (12,6 %) и татар 42,3 тыс. (2,3 %).

Представители других национальностей в Крымском федеральном округе составляют менее 4 % населения. Из них наиболее многочисленны белорусы – 21,7 тыс. человек (1 % населения) и армяне – 11 тыс. человек (0,2 % населения). От 5 тыс. человек до 1 тыс. человек насчитывается: азербайджанцев – 4, 4 тыс. человек,

---

[3] Там же. С. 5–6.

[4] Наиболее распространеное экспертное мнение состоит в том, что предки современных болгар Крыма – тюркоязычные племена протоболгар, праболгар или булгар – обосновались в крымских степях еще в 4 в. И далее в результате миграций и переселений вернулись на крымскую землю в 18–19 вв. и обосновались как крымские болгары. В целом болгарский язык относят к южной подгруппе славянских языков, но если говорить о болгарах Крыма, то ряд источников свидетельствует о сильном тюркском влиянии на систему их языка, обрядность, культуру быта. Сохранившийся в Крыму язык болгар несколько архаичен и находится практически на грани исчезновения. После возвращения из депортации степень владения языком среди болгар находилась в прямой зависимости от возраста, каждое последующее поколение утрачивало владение родным языком.

узбеков – 3, 5 тыс. человек, молдаван – 3, 1 тыс. человек, евреев – 3,1 тыс. человек, корейцев – 3 тыс. человек, греков – 2, 9 тыс. человек, поляков – 2, 8 тыс. человек, цыган – 2, 4 тыс. человек, чувашей – 2 тыс. человек, болгар – 1, 9 тыс. человек, немцев – 1, 8 тыс. человек, мордвы – 1, 6 тыс. человек, грузин – 1, 6 тыс. человек и турок – 1, 5 тыс. человек.

Численностью менее 1 тыс. человек в Крыму представлены: таджики – 874 человек, марийцы –801 человек, башкиры – 764 человек, удмурты – 670 человек, осетины – 659 человек, казахи – 628 человек, арабы – 559 человек, караимы – 535 человек, крымчаки – 228 человек.[5]

Если мы проанализируем данные по национальному составу по двум последним переписям населения в Крыму, то обнаружим, что по сравнению с переписью 2001 г. перепись 2014 г. продемонстрировала тенденцию сокращения некоторых тюркоязычных групп. Так, количество болгар сократилось на 414 человека, караимов – на 180 человек, крымчаков – на 52 человека. Роста численности обнаружен у азербайджанцев, их стало большее на 55 человек, узбеков – на 379 человек, турок – на 477 человек[6].

Что касается таких представителей тюркоязычной группы, как крымские татары (которые ввиду своей многочисленности, по сравнению с другими тюркоязычными народами РК, в большей степени представляют собой объект данного исследования), то за 1988–2001 гг. их численность возросла в 6,35 раза и составила 11,73% общей численности населения Крыма. По данным переписи населения 2001 г., при общей численности населения 2033,7 тыс. человек (4,3 % населения Украины на тот момент) городское население республики составило 1 274,3 тыс. человек (62,7 %), а сельское – 759,4 тыс. человек (37,3 %). Плотность населения составляла 78 чел. на кв. км. С проведения Всесоюзной переписи 1989 г. сельское население Крыма значительно увеличилось за счёт расселения в сельской местности возвращающихся на полуостров крымских татар. Русские являются преобладающей национальностью в Республике Крым как в городах, так и в селах. Однако в сельской местности их доля ниже, поскольку среди селян была выше доля украинцев и особенно крымских татар.[7]

В рамках проекта «Национально-культурное и этнорелигиозное самоопределение адыго-абхазских и тюркских народов на Северном Кавказе, в Крыму в условиях упрочения гражданского единства российской нации» в мае – июне 2017 г. было опрошено 60 экспертов в Республике Крым – членов и руководителей национально-культурных и религиозных организаций, молодежных организаций, работников органов власти и МСУ, работников СМИ, сферы науки и образования. В процессе исследования в целом соблюдена половозрастная выборка: возраст опрашиваемых – от 21 года до 65 лет (среди респондентов от 21 до 35 лет – 29 человек, 36–50 лет – 20, 50–60 лет – 10, 60–65 лет – 1 человек соответственно).

---

[5] Предварительные результаты переписи в Крыму: караимов – 535 человек… (http://karai.crimea.ua/913-predvaritelnye-rezultaty-perepisi-v-krymu-karaimov-535-chelovek.html).

[6] Население Крыма и Севастополя: численность, национальный состав (http://www.statdata.ru/naselenie-krima-i-sevastopolya).

[7] Там же.

Пол опрашиваемых – 35 мужчин, 25 женщин. В отношении своей этнической (национальной) принадлежности 4 человека относят себя к болгарам, 2 – к татарам, 1 – к крымчакам, 2 – к караимам, 2 – к азербайджанцам, 49 – к крымским татарам.

Религиозный состав опрошенных: 53 респондента исповедуют ислам, 3 – христианство, 3 – иудаизм и 1 является атеистом. 29 респондентов имеют высшее гуманитарное образование, 13 респондентов – высшее техническое, 5 респондентов – высшее естественно-научное. Владеют ученой степенью 3 респондента. Среднее профессиональное образование указали 9 опрошенных, среднее общее – 1 респондент.

Так, оценивая многонациональность (полиэтничность) и поликонфессиональность региона и РФ в целом, более половины опрошенных (55 %) полагают, что полиэтничность и поликонфессиональность – это благоприятный фактор развития и взаимодействия жителей региона проживания. 38 % респондентов отметили, что данные факторы – это объективные и привлекательные характеристики региона. Полиэтничность и поликонфессиональность считают конфликтогенными факторами общественных отношений 38 % респондентов, а 61 % опрошенных экспертов заявили, что полиэтничность и поликонфессиональность как проявление социальных интересов регионального сообщества и отдельных граждан нуждаются в организационном и финансовом обеспечении.

Относительно понимания содержания и направления национально-культурного самоопределения: 56 % опрошенных экспертов полагают, что данное понятие отражает возможность свободно и добровольно определять свою этническую принадлежность и реализовать свои этнокультурные интересы как гражданина РФ, 41 % опрошенных определяют его как потребность следовать этнокультурным традициям предков, родственников, своего народа, своей этнической группы. Почти треть респондентов определяют его как необходимость участвовать в деятельности национально-культурного общественного объединения соответствующего народа, своей этнической группы, 41 % – как возможность воспитывать детей в культуре и традициях своего народа, 28 % экспертов – как возможность свободно заявлять о своей этнической принадлежности и пропагандировать культуру своего народа.

Относительно участия в деятельности институтов гражданского общества: 15 % респондентов подтвердили свое членство в национально-культурных организациях. В деятельности национально-культурных автономий принимают участие около 13 % респондентов. Членом правозащитной организации является 1 эксперт, а в деятельности женских организаций участвуют 2 респондента. В работе других общественных организаций принимают участие 30 % опрошенных. О своем неучастии в деятельности каких-либо общественных организаций заявили около 37 % от общего количества опрошенных экспертов.

Результаты опроса показали, что большинство респондентов считают, что в регионе существуют межэтнические противоречия и этнические конфликты, при этом 28 % опрошенных считают, что они являются локальными и проявляются в бытовой сфере (прежде всего, в молодежной среде), 38 % – в сфере экономики, собственности и земельных отношений, 56 % – связывают с разницей культур и

религий, 45 % – вызваны ошибками государственной национальной политики в прошлые исторические периоды; 16 % – вызваны неэффективностью современной государственной национальной политики РФ, 21 % – вызваны неэффективностью реализации современной государственной национальной политики региональными и местными властями. При этом почти 1 % опрошенных отметили, что конфликтный потенциал вызван следствиями исторических событий (в основном – с депортацией крымских татар). 26 % респондентов указали, что в регионе и в населенном пункте проживания не проявляются межэтнические противоречия и этнические конфликты.

На вопрос о необходимости реализации национально-культурного самоопределения путем образования национально-культурных организаций (фондов, центров, домов и центров национальных культур, национально-культурных автономий, этнических советов) около 28 % респондентов считают, что такие формы национально-культурного самоопределения отвечают интересам граждан в сфере их этнической идентичности. 35 % опрошенных полагают, что данные формы национально-культурного самоопределения направлены на сохранение этнокультурной самобытности сообществ, а около 22 % респондентов ответили, что такие формы национально-культурной самоорганизации соответствуют демократическому развитию России как полиэтничного, поликультурного государства. При этом 5 % от общего числа опрошенных экспертов заявили, что такие организации не могут в полной степени обеспечить культурные и политические интересы народов, а около 7 % респондентов полагают, что подобные организации часто создаются для воплощения интересов отдельных «этнических активистов» и сомнительных лидеров этнических групп.

Среди функций, которые потенциально способны реализовывать национально-культурные организации, национально-культурные автономии, 71 % опрошенных респондентов выделили профилактику межэтнических противоречий и разрешение этнических конфликтов, 35 % – преодоление следствий этнических конфликтов и практическое миротворчество, 41% – взаимодействие с органами власти и управления в реализации направлений государственной национальной политики РФ, почти 30 % – участие в конкурсах на социально-значимые проекты, общественно-полезные услуги, муниципальные и региональные гранты, 30 % – участие в деятельности и акциях общероссийских и международных гуманитарных организаций, 36 % – реализация программ упрочения российского патриотизма и российской гражданской идентичности, 45 % – объединения представителей народов и этнических групп для защиты их прав в области культуры и языка.

Определяя сущность этноконфессионального самоопределения, 66 % опрошенных экспертов понимают его как возможность свободного выбора религии и веры либо выбора нерелигиозного мировоззрения, 35 % – как необходимость определиться с принадлежностью к определённой религии, 51 % – как следование культурным традициям и религиозным верованиями моего народа, 18 % – как путь к духовности через знание постулатов и догматов конкретной религии, 28 % – как непосредственное участие в жизни соответствующей религиозной общины.

Среди наиболее значимых факторов в реализации этноконфессионального самоопределения 61 % опрошенных экспертов выделили возможность приобщать к религии предков своих детей, 68 % – возможность вести нравственный и духовный образ жизни, 36 % – перспективу популяризации ценностей соответствующей религии среди представителей других религий, 18 % – необходимость регулярного посещения религиозных служб и обрядов, 13 % – возможность в общении со священнослужителями получить ответы на сложные жизненные вопросы. Один респондент указал фактором в реализации этноконфессионального самоопределения межконфессиональный диалог.

Относительно направлений, в рамках которых возможно расширение этноконфессионального самоопределения на индивидуальном и групповом уровнях, 41 % опрошенных респондентов указали расширение курса «Основы религиозных культур» в школьных учебных программах, 30 % – подготовку компетентных современных священнослужителей с государственным мышлением, 36 % – повышение качества в вузах подготовки теологов-специалистов в сфере государственно-конфессиональных отношений, 38 % – расширение социального и миротворческого служения конфессиональных институтов, 36 % – повышение общей грамотности населения в этноконфессиональном аспекте, 53 % – взаимное уважение представителей и лидеров разных конфессий, а также религиозной и светской частей общества. 11 % опрошенных экспертов затруднились ответить на данный вопрос.

В отношении возможностей и способности национально-культурными и религиозными организациями разоблачать и профилактировать религиозный экстремизм, терроризм, национализм и ксенофобию 33 % опрошенных высказались, что указанные организации имеют все необходимые для этого ресурсы, 16 % полагают, что в настоящее время большинство организаций именно этим и занимается, 48 % – считают, что они призваны это делать на основе гуманизма, духовности, народных традиций. 40 % респондентов заявили, что указанные организации должны это делать, прежде всего, воздействуя на молодежь, 33 % человек полагают, что они должны включать эти направления в свои уставные и программные документы, в духовные проповеди и послания.

О том, что данные организации должны заниматься только сохранением и развитием этнической культуры, языка, традиций, религии, заявили 13 % опрошенных.

Относительно возможности пропаганды российского патриотизма и российской гражданской идентичности жителей региона лидерами национально-культурных и конфессиональных организаций: 35 % экспертов полагают, что должны пропагандировать как граждане России – демократического, правового, социального, светского государства, 25 % – должны как лидеры, непосредственно воздействующие на представителей соответствующих народов и этнических сообществ, 31 % – должны для упрочения условий полнокровного национально-культурного и этноконфессионального самоопределения, 40% – должны и призваны с целью сплочения людей и противодействия агрессии, радикализму, экстремизму на этнической и конфессиональной основе. 30% респондентов полагают, что данные

функции не должны входить в компетенцию лидеров НКА и религиозных организаций.

В отношении наиболее конфликтогенных аспектов (факторов, ситуаций) национально-культурного и этноконфессионального самоопределения в РК, которые требуют эффективного регулирования в рамках государственной национальной политики РФ, респонденты наиболее часто отмечают: проблемы, связанные с реабилитацией крымских татар и других депортированных народов, земельные вопросы, финансирование национально-культурных и религиозных организаций, «украинский» вопрос и т. д.

Среди недостатков, которые проявляются в национально-культурном и этноконфессиональном самоопределении в РК, 56 % опрошенных экспертов отметили недостаточную организованность и популярность среди населения, 36 % – отдаленность от насущных потребностей основной массы этнической группы и верующих, 33 % – противоречия и конфликты с другими национально-культурными и религиозными организациями (других конфессий и внутри одних конфессий), 48% – некомпетентность, закрытость, непрозрачность деятельности, 25% – удаленность от магистральных социокультурных и общественных тенденций развития современной РФ, 30 % – низкую общую культуру лидеров и руководителей организаций и общин, 23 % – проявление этнической ограниченности, национализма, радикализма, 26% – нежелание сотрудничать с органами власти и управления, со СМИ, с экспертами. Также 1 респондент отметил, что недостатков, которые проявляются в национально-культурном и этноконфессиональном самоопределении в РК, нет.

Относительно определения наиболее эффективных и перспективных форм и методов национально-культурного и этноконфессионального самоопределения: 53 % опрошенных экспертов выделили вхождение этнических и конфессиональных лидеров в общественные советы, общественные палаты, комитеты при органах власти и управления, 31 % – создание советов мира и дружбы в составе этнических и конфессиональных лидеров, 25 % – организацию просветительской патриотической работы с населением, независимо от этнической и конфессиональной принадлежности жителей, 43 % – реализацию специальных образовательно-воспитательных программ для молодежи, 28 % – участие в конкурсах на присуждение президентских, федеральных грантов, на получение региональных и муниципальных заказов, 20 % – получение статуса социально-ориентированных организаций для оказания общественно-полезных услуг, 11 % – расширение социального служения и миротворчества, почти 1 % – участие в примирительных комиссиях, в разрешении конфликтов и в ликвидации их следствий, 20 % – нейтрализацию острых аспектов национальных вопросов и ситуаций межэтнических и межконфессиональных отношений, почти 1 % опрошенных – сотрудничество с аналогичными зарубежными организациями.

Результаты исследования показали, что большинство экспертов отмечают наличие конфликтного потенциала в Крыму, при этом подчеркивают слабую эффективность деятельности национально-культурных и религиозных организаций. Около трети респондентов отмечают необходимость

организационного и финансового обеспечения сферы межэтнических и межконфессиональных отношений. Полиэтничность и поликонфессиональность, по мнению большинства респондентов, являются благоприятными факторами развития и взаимодействия жителей региона проживания, при этом нуждаются в организационном и финансовом обеспечении.

Межэтнические противоречия и этнические конфликты в регионе в основном связывают с разницей культур и религий, а также с ошибками государственной национальной политики в прошлые исторические периоды. При этом большинство экспертов полагают, что национально-культурные организации и национально-культурные автономии способны осуществлять профилактику межэтнических противоречий и разрешение этнических конфликтов. Определяя сущность этноконфессионального самоопределения, более половины респондентов понимают его как возможность свободного выбора религии и веры либо выбора нерелигиозного мировоззрения. А среди наиболее значимых факторов в реализации этноконфессионального самоопределения выделили возможность приобщать к религии предков своих детей и вести нравственный и духовный образ жизни.

Основные недостатки, которые проявляются в национально-культурном и этноконфессиональном самоопределении в регионе, большинство связывают с недостаточной организованностью и популярностью среди населения, а также некомпетентностью, закрытостью и непрозрачностью деятельности.

В качестве перспективных направлений развития общественных отношений следует считать налаживание межкультурного диалога между всеми народами и представителями конфессий, проживающих в Крыму, вовлечение национально-культурных автономий, других общественных объединений в процесс популяризации культуры Крыма, этнонациональных традиций, особенностей региона и местных сообществ, формирования единой общероссийской гражданской идентичности.

Список литературы

1. Население Крыма и Севастополя: численность, национальный состав. URL: http://www.statdata.ru/naselenie-krima-i-sevastopolya (Дата обращения 13.10. 2017).
2. Национально-культурное и этнорелигиозное самоопределение адыго-абхазских и тюркских народов Северного Кавказа и Крыма в условиях упрочения гражданского единства российской нации. Экспертный доклад. Монографическое издание. Ч. 1 / Науч. ред. В. А. Тишков, отв. ред. М. А. Аствацатурова. – Пятигорск: ПГУ, 2017. – 121 с.
3. Предварительные результаты переписи в Крыму: караимов – 535 человек… URL: http://karai.crimea.ua/913-predvaritelnye-rezultaty-perepisi-v-krymu-karaimov-535-chelovek.html (Дата обращения 16.10.2017).

Grosfeld E.V. The Role of National Cultural and Ethnoreligious Self-Determination of Turkic Peoples in Crimean in Development of All-Russian Civil Identity // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 113–123.

The article examines the issues of ethnic and cultural and ethnoreligious self-determination of the Turkic peoples in the Crimea in the conditions of the development of the all-Russian civil identity. National-cultural and ethnoreligious self-determination of citizens and ethnic communities in a multi-ethnic, multi-confessional state is carried out in the course of national self-determination within the framework of a civil nation that is the

supreme national-state, political universe, but is embodied in regional contexts. It is substantiated that national and cultural self-determination provides the embodiment of the identity of groups and communities, the identity of a person and a citizen, and is a component of a common civic culture in the system of civic identity. The importance of national and cultural self-determination consists in the institutionalization of the ethno-cultural factor in socio-political relations. In this regard, the importance of national and cultural self-determination in the development of inter-ethnic, intercultural interaction, in the implementation of the most important political project of our time - the strengthening of the all-Russian civil identity. This project includes the organization of new spheres of political action, the formation of new subjects of politics, the emergence of new political actors, the introduction of new principles and methods of political and administrative management. The article contains the results of a sociological survey of 60 experts in the Republic of Crimea - members and leaders of national and cultural and religious organizations, youth organizations, government officials and local self-government officials, media workers, and science and education.

Key words: National-Cultural Self-Determination, Ethnoreligious Self-Determination, Turkic Peoples, All-Russian Civil Identity.

References

1. Naselenie Kryma i Sevastopolya: chislennost', natsional'nyi sostav [Population of Crimea and Sevastopol: number, national composition]. Available at: http://www.statdata.ru/naselenie-krima-i-sevastopolya (Accessed: 13.10. 2017).
2. Natsional'no-kul'turnoe i etnoreligioznoe samoopredelenie adygo-abkhazskikh i tyurkskikh narodov Severnogo Kavkaza i Kryma v usloviyakh uprocheniya grazhdanskogo edinstva rossiiskoi natsii [National-cultural and ethno-religious self-determination of the Adyg-Abkhaz and Turkic peoples of the North Caucasus and Crimea in the context of strengthening the civil unity of the Russian nation]. Expert report. The monographic edition. Part 1. Scientific. Ed. V. A. Tishkov, responsible. ed. M.A. Astvatsaturova. Pyatigorsk, Pyatigorsk State University, 2017, 121 p.
3. Predvaritel'nye rezul'taty perepisi v Krymu: karaimov – 535 chelovek… [Preliminary results of the census in the Crimea: Karaites - 535 people]. Available at: http://karai.crimea.ua/913-predvaritelnye-rezultaty-perepisi-v-krymu-karaimov-535-chelovek.html (Accessed: 16.10.2017).

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 124–133.

УДК: 327.5

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Ислямова Э. Э.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация.

E-mail: defi77@yandex.ru.

В статье рассматривается Черноморский регион (ЧР) в контексте его геополитической значимости в теориях и концепциях зарубежных и отечественных авторов. Этот вопрос является весьма обширным и может содержать в себе множество измерений, поэтому в статье обозначается только один из них – теоретико-концептуальный. С целью его рассмотрения были обозначены и решены такие задачи, как краткое определение роли Черноморского региона в контексте классических геополитических концепций; рассмотрение современных концепций, определяющих значимость ЧР в структуре современной геополитики; характеристика специфики рассмотрения роли ЧР в российских академических работах. Теоретико-методологической базой работы послужили работы классических и современных авторов, которые в разные периоды и в различных аспектах рассматривали проблематику Черноморского региона.
Результатом проведенного исследования стало понимание того, что теоретические работы классических и современных авторов как минимум содержат упоминания, а иногда и непосредственно направлены на рассмотрение ЧР и его роли в структуре современной геополитики. Специфика рассмотрения Черноморского региона в основном заключалась в обозначении его (или его отдельных стран) стратегической значимости, привязки изначально к территории, а затем к ресурсам или безопасности. Страновой контекст исследований также находил свое выражение в содержании предложенных концепций.

Ключевые слова: Черноморский регион, геополитика, концепции и теории.

Тот факт, что на политической карте современного мира территория Причерноморья является не просто условным обозначением совокупности разрозненных стран и регионов, а выступает в качестве цельного объединения, является очевидным и достаточно неоспоримым высказыванием. Дискуссии, которые исследователи сферы международных отношений разворачивают по сей день в отношении Черноморского региона (ЧР), касаются набора более детальных вопросов, таких как установка его границ, включение в него одних и исключение других государств, определение роли и значимости в политической структуре международных отношений этих государств и региона в целом, а также наличия влияния на него ведущих мировых субъектов. Единым знаменателем, объединяющим два последних вопроса, можно назвать формулировку определения геополитической роли Черноморского региона в структуре современных международных отношений, так как именно категории геополитики позволяют

характеризовать такие масштабные политические явления с позиций определенных критериев и формулировать определенные заключения. Решение поставленной проблемы и является целью нашей работы.

Очевидно, что вопрос геополитической значимости ЧР является весьма обширным и может содержать в себе множество измерений, таких как теоретико-концептуальные, процессуально-прикладные и т. д. По нашему мнению, первым из них (важным как самим по себе, так и в качестве базы для других составляющих анализа) является теоретико-концептуальный аспект изучения. Помимо формирования базовой исследовательской рамки, рассмотрение Черноморского региона в данном контексте даст возможность осуществить обзор имеющихся в данный момент концепций, характеризующих его, и реализовать дальнейший прикладной анализ (рассмотрение исторических и современных процессов, протекающих в ЧР) на их основе.

Для решения сформулированной таким образом цели были обозначены такие задачи:

1. кратко определить роль Черноморского региона в контексте классических геополитических концепций;
2. рассмотреть современные концепции, определяющие значимость ЧР в структуре современной геополитики;
3. охарактеризовать специфику рассмотрения роли ЧР в российских академических работах.

Объектом исследования этой статьи, исходя из поставленных задач, можно назвать Черноморский регион в целом, а предметом – его роль в структуре современной геополитики.

Теоретико-методологической базой работы послужили работы классических и современных авторов, которые в разные периоды и в различных аспектах рассматривали проблематику Черноморского региона. Среди них можно назвать Р. Асмуса, Зб. Бжезинского, А. Дугина, Х. Маккиндера, А. Никифорова, А. Панарина, В. Рябцева, Ф. Фукуяму, С. Хантингтона, С. Юрченко и многих других [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Не все из названных авторов занимались целенаправленным изучением роли ЧР в международном пространстве, однако их исследования способствовали рассмотрению этого вопроса и таким образом смогли обеспечить решение поставленных цели и задач.

При проведении исследования применялись общефилософские методы изучения теоретико-концептуальных аспектов проблемы. Метод контент-анализа позволил проиллюстрировать полученные выводы конкретными примерами и цифрами.

Приступая к решению первой задачи, отметим, что с позиций теорий геополитики не все регионы играют большую роль в международной системе взаимодействия. Точно об этом пишет в статье «Геополитические особенности Черноморско-Каспийского региона в условиях постбиполярного мира» В. Рябцев, начинающий свою работу с утверждения о том, что «далеко не каждая географическая зона мира может быть квалифицирована как геополитически значимая, поскольку далеко не везде наблюдается не только особая, но и вообще

какая бы то ни было динамика межгосударственных взаимодействий» [8]. По его мнению, «…геополитический регион должен пониматься не иначе, как центр действия, влияния и уравновешивания, где обстоятельства мира вовлекаются, чтобы быть переосмысленными и преодоленными в качестве фактора ситуации. Регион – как бы место развитие геополитики, поэтому он имеет собственное мировое качество, и с ним может соотноситься весь мир» [8]. Такая постановка проблемы позволяет рассмотреть вопрос значимости Черноморского региона в контексте геополитики и определить степень его значимости.

Обращаясь к классикам геополитических теорий, отметим, что многие из них (даже те, кто не акцентировал внимание именно на этом регионе) упоминают Черное море и страны к нему прилегающие в своих концепциях как важную для мировых взаимодействий прошлого и настоящего территорию. Считающийся одним из основателей геополитических концепций Дж. Х. Маккиндер пишет в своих работах, что «хартленд – это северная и внутренняя часть Евро-Азии. Он простирается на юг от арктического побережья до срединных пустынь, и широкий перешеек между Балтийским и Черным морями образует его западные пределы» [4, С. 58]. И даже если сама эта территория в «хартленд» не входит, то, по мнению великого автора, она составляет часть «ворот», которые обеспечивают функцию защиты и обороны [4, 5]. В статье «Круглая земля и обретение мира» он утверждает: «…этот пояс[1] незамкнут из-за открытых “ворот” в тысячу миль шириной, ведущих с полуостровной Европы на внутреннюю равнину через обширный перешеек между Балтийским и Черным морями. Впервые за всю историю внутри этой громадной естественной крепости налицо гарнизон достаточный, чтобы не позволить войти германцу-захватчику» [4, С. 63]. Таким образом, как минимум часть рассматриваемого нами региона не осталась также без внимания Дж. Х. Маккиндера, как и еще одного известного британского автора геополитики Дж. Фейргрива. По информации отечественных исследователей, именно он подверг «пристальному анализу», рассматриваемый несколько более широко Черноморско-Каспийский регион, который он определил как «crach zone и описал это пространство как сеть мелких, политически слабых и экономически зависимых «буферных» государств, находящихся между Хартлендом и приморскими странами; как сеть, которая тянется от Финляндии к Балканам, проходит через Турцию, Иран, Афганистан и уходит дальше на восток» [8].

Еще одним автором, включавшим часть ЧР в состав важной для всего мира зоны, названной им Римлендом, является известный американский представитель геополитических концепций Н. Спайкмен. Определяя это пространство, он пишет: «Римленд (периферия) евразийского континентального массива должна рассматриваться как промежуточная область, расположенная … между сердцевинной землей и крайними морями. Она служит обширной буферной зоной конфликта между морскими и сухопутными силами. Смотря в обоих направлениях, она должна функционировать “амфибийно” и защищать себя на земле и море» [Цит. по 12]. Включая в себя Европу, Турцию, Ближний, Средний Восток и т. д.,

[1] «Пояс широких оборонительных сооружений» хартленда [2, С. 63].

именно эта зона является областью противостояния великих мировых держав и определяет в итоге судьбу Евразии и всего мира.

Логика значимости территории по принципу ее расположения является базовой, хотя и не единственной для геополитических концепций. Вспомним Ф. Фукуяму с его абсолютизацией такого фактора, как ресурсы [9], или цивилизационные концепции С. Хантингтона, часто связывающиеся с категориями безопасности [10]. Сохранение и расширение этой логики являлось и во многом остается фактором, определявшим геополитические концепции XX – начала XXI века. Еще одним известным примером этому могут служить работы известного представителя американской политической науки и практики Зб. Бжезинского. Обозначая, как и предыдущие авторы, фундаментальную для мировых процессов значимость Евразии, этот автор писал об особенной роли территорий Черного моря и стран к нему прилегающих, в первую очередь таких, как Украина. Одной из важных идей, описанных им в работе «Великая шахматная доска», является утверждение о том, что «если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением и крупными ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии. Потеря Украиной независимости имела бы незамедлительные последствия для Центральной Европы, трансформировав Польшу в геополитический центр на восточных рубежах объединенной Европы» [2, С. 32]. Таким образом, именно за этими странами Черноморского региона (Россией и Украиной) признается особая значимость и возможность влиять далеко за пределы своих внутренних территорий.

Однако не стоит думать, что весь Черноморский регион сводится к отношениям этих двух государств. Одним значимым субъектом Зб. Бжезинский считает Турцию, по его мнению, «Турция, и Иран являются в первую очередь важными геополитическими центрами. Турция стабилизирует регион Черного моря, контролирует доступ из него в Средиземное море, уравновешивает Россию на Кавказе, все еще остается противоядием от мусульманского фундаментализма и служит южным якорем НАТО» [2, С. 32]. Кроме того, автор утверждает, что «потеря Россией своего главенствующего положения на Балтийском море повторилась и на Черном море не только из-за получения Украиной независимости, но также еще и потому, что новые независимые государства Кавказа – Грузия, Армения и Азербайджан – усилили возможности Турции по восстановлению однажды утраченного влияния в этом регионе» [2, С. 61]. Таким образом, еще три страны Черноморского региона включаются Зб. Бжезинским в логику геополитических построений и определяются как непосредственные их участники.

Приведенные утверждения несколько объемно, однако достоверно позволили продемонстрировать, что Черноморский регион и его страны не только опосредованно, но и непосредственно трактовались известным автором как крайне значимые области геополитического мирового взаимодействия. Причем тот факт, что контекст такого рассмотрения был не только территориальным, но и «безопасническим» и ресурсным, тоже находит свое подтверждение в цитируемой работе. Например, он пишет: «Если основные трубопроводы в регион будут по-

прежнему проходить по территории России к российским терминалам в Новороссийске на Черном море, то политические последствия этого дадут о себе знать без какой бы то ни было открытой демонстрации силы со стороны России. Регион останется в политической зависимости, а Москва при этом будет занимать сильные позиции, решая, как делить новые богатства региона» [2, С. 90].

Эта непосредственная связь значимости региона, его ресурсов и места в системе безопасности позволяет нам перейти к рассмотрению современных концепций, для которых она также характерна. Отметим только, что приведенные нами известные авторы, очевидно, не являются единственными представителями геополитических теорий, включавших в свои концепции Черноморский регион в том или ином ключе. Однако сам факт такого включения и известности приведенных авторов служит демонстрацией концептуальной значимости, которой он, очевидно, обладал.

Современные взгляды конца XX – начала XXI века это подтверждают. Согласно представлениям аналитиков, можно выделить три основные группы влияния проводящих свою политику в Причерноморье – это США, Европа (точнее ЕС) и Россия. Следуя этой прикладной логике, приведем примеры представлений о Черноморском регионе каждого из этих акторов.

Примером взглядов, формировавшихся в США, могут быть представления американского дипломата и политического аналитика Р. Д. Асмуса. Во многом этот автор известен своими убеждениями в необходимости расширения НАТО в восточном направлении. Одним из важных аспектов этого процесса являлась и целенаправленная политика Запада (США и ЕС) в отношении именно Черноморского региона.

В статье «Чёрное море и пределы свободы» он пишет о значимости ЧР для западной стратегии и выдвигает две категории обоснований: стратегические и моральные. С позиций стратегии, по его мнению, есть ряд составляющих, делающих регион столь важным: «Первая составляющая связана с завершением работы по консолидации мира и стабильности в самой Европе. Вторая составляющая связана с противодействием наиболее опасной угрозе для будущего евро-атлантической безопасности, истекающей из-за пределов континента – Большого Ближнего Востока. Вспомогательная, но тем не менее важная стратегическая предпосылка связана с доступом Европы к источникам энергоресурсов» [1]. У каждой из трех составляющих имеются свои обоснования. Категория «мира и стабильности» Европы связывается с ЧР посредством имеющихся в регионе «застывших конфликтов», проблемы контрабанды и т. д. Проблема Большого Ближнего Востока понятна для Запада сама по себе. А энергетическая составляющая, названная в этом высказывании «вспомогательной», проходит через всю статью красной нитью, просто и однозначно трактуясь автором как соразмерная «с обеспокоенностями относительно влияния России и Саудовской Аравии на европейские столицы…» [1].

Моральные обоснования мало чем отличаются от первой группы «мира и безопасности» и формулируются как «моральные обязательства справиться с разрушительными результатами полувекового разделения и коммунизма и сделать восточную половину Европы такой же надёжной, демократической и безопасной,

как и западная половина континента» [1]. Эта же логика, по мнению Р. Асмуса, касается и Причерноморья.

В целом представленные взгляды понятны и обоснованы с позиций американского автора. Для нас основным является факт признания важной, а иногда первостепенной роли Черноморского региона для продвижения американских и европейских геополитических стратегий. Кроме того, здесь сохраняются выделенные нами составляющие: расположение региона, его роль в системе безопасности и ресурсы если не самого ЧР, то те, которые через него транспортируются.

Можно предположить, что подобная система взглядов на Черноморский регион характерна не только для обозначенных в начале США, но и Европы. Подтверждением этому могут быть не только концепции аналитиков, но и позиции, прослеживающиеся в официальных документах. Например, в резолюции Европарламента можно найти утверждение о том, что «регион Чёрного моря является стратегическим мостом, соединяющим Европу с бассейном Каспийского моря, Центральной Азией и Ближним Востоком, а далее, с Юго-Восточной Азией и Китаем, и характерен своими тесными связями и огромным потенциалом, но также и многообразием и соперничеством» [Цит. по 6, С. 81]. Таким образом, все концептуальные составляющие значимости ЧР сохраняются и находят свое выражение в пунктах внешней политики ЕС.

Говоря же о российских концепциях, не сложно догадаться, что представления о ЧР можно найти в трудах самых различных авторов. Так, вспоминая таких известных исследователей, как А. Г. Дугин и А. С. Панарин, можно отметить, что подобно классикам геополитики они, каждый в контексте своей концепции, упоминают если не весь Черноморский регион, то отдельные его страны как важные составляющие современной геополитики.

Примером такого «странового» акцентирования внимания могут служить взгляды А. С. Панарина, который в работе «Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством)», пишет о взаимоотношениях между Россией и другими государствами, в том числе входящими в Черноморский регион. По его мнению, «сегодня на роль посредников между Западом и Востоком, в обход отставшей России претендуют Турция, ряд стран Ближнего Востока и др. Однако, несмотря на очевидность этой проблемы, многое и сегодня говорит в пользу России. Стратегию единого пространства в масштабах “второго Рима” (наряду с первым, представленным сегодня США) кроме России осуществить некому» [7, С. 98].

Такая «россияцентричность» характерна и для взглядов А.Г. Дугина, однако, в отличие от предыдущего подхода, для него ЧР представляет собой достаточно целостную и важную для российской геополитики совокупность. Одним из ярких и далеко не единственных это подтверждающих высказываний может быть такое: «Абсолютным императивом русской геополитики на черноморском побережье является тотальный и ничем не ограниченный контроль Москвы на всем его протяжении от украинских до абхазских территорий. Можно сколь угодно дробить всю эту зону по этнокультурному признаку, предоставляя этническую и конфессиональную автономию крымским малороссам, татарам, казакам, абхазцам,

грузинам и т. д., но все это только при абсолютном контроле Москвы над военной и политической ситуацией. Эти сектора должны быть радикально оторваны от талассократического влияния как идущего с запада, так и из Турции (или даже Греции). Северный берег Черного моря должен быть исключительно евразийским и централизованно подчиняться Москве» [3, С. 199].

Таким образом, даже не обращаясь в целом к работе «Основы геополитики», которая содержит значительно количество упоминаний и Черного моря, и стран, относящихся к его региону, можно сделать вывод об исключительной значимости, которую А. Г. Дугин придает ЧР, в первую очередь в сфере российской безопасности и геополитики.

Насколько эта тенденция характерна в целом для российских академических работ, можно посмотреть на основе проведенного контент-анализа диссертационных работ, защищенных в РФ и посвященных Черноморскому региону.

Из восьми работ, названия которых включают слова «черноморский» или «Причерноморье», одна содержит понятие «национальная безопасность» России, еще одна включает понятие геополитики, две совмещают эти понятия [13]:

- «Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации: политический аспект: по материалам Черноморского макрорегиона» [14].
- «Черноморские проливы как геополитическая проблема современных международных отношений» [15].
- «Новое геополитическое пространство черноморского региона в контексте российской национальной безопасности: политологический анализ» [16].
- «Геополитический сегмент Причерноморья и его значение в формировании политики национальной безопасности современной России» [17].

Таким образом, как минимум половина найденных работ направлена на ту же проблематику, что и приведенные исследования известных авторов. При этом, рассматривая сами работы, стоит отметить, что не в каждой из них ЧР определяется как рассматриваемый нами международный регион. Так, в диссертации «Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации: политический аспект: по материалам Черноморского макрорегиона» [14] речь идет субъектах внутри Российской Федерации, что, однако, не отменяет их территориальную принадлежность к ЧР.

Характеризуя же остальные работы, отметим, что в одной работе Черноморский регион связан с политикой Турции [18], во второй – Европейского союза [19], еще две посвящены конкретным проблемам Черноморского флота и местного самоуправления городов Черноморского побережья [20, 21]. Таким образом, еще две из названных работ вписываются в геополитический контекст и являются значимыми для нас.

Обобщая результаты исследования, отметим, что и классические, и современные работы зарубежных и отечественных авторов содержат упоминания, а иногда и непосредственно направлены на рассмотрение Черноморского региона и его роли в структуре современной геополитики. Контексты рассмотрения ЧР в

большинстве своем заключались в обозначении его (или его стран) стратегической значимости, привязки к территории, ресурсам или безопасности.

Специфика рассмотренных работ позволяет говорить о том, что классические работы уделяли больше внимания территориальному компоненту, включая регион (или его страны) в состав других важных образований, контроль над которыми должен был обеспечивать контроль над миром.

Приближение концепций к категории современных концепций наполняет их «ресурсным» и «безопасническим» содержанием, в рамках которого ЧР начинает восприниматься не просто как территория, а регион, заключающий в себе содержательную значимость. Контекст этой значимости определялся авторами в зависимости от их региональной (а значит и идеологической) принадлежности и во многом различается ответом на вопрос – «Кто должен контролировать ЧР?».

Наиболее современные российские авторы ассоциируют Черноморский регион также с вопросом национальной безопасности и рассматривают его в большинстве своем в контексте внешней (а иногда и внутренней) политики РФ.

Проведенный анализ дает возможность утверждать геополитическую важность региона в концептуальном контексте, рассмотрение которого может быть продолжено во множестве процессуально-прикладных аспектов.

Список литературы

1. Асмус Р. Чёрное море и пределы свободы. URL: http://www.rusk.ru/st.php?idar=102145 (Дата обращения: 25.07.2017)
2. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска / Зб. Бжезинский. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 137 с.
3. Дугин А. Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить пространством / А. Г. Дугин. – М.: Арктогея-центр, 2000. – 451 с.
4. Маккиндер Х. Дж. Круглая земля и обретение мира // Космополис. – 2006/2007. – № 2 (16). – С. 56–69.
5. Маккиндер Х. Дж. Географическая ось истории // Политические исследования. – 1995. – № 4. – С. 162–169.
6. Никифоров А. Р. Геополитический смысл Украины // Русский геополитический сборник. – 2000. – № 4. – С. 75–90.
7. Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством) / А. С. Панарин. – М., 1994. – 264 с.
8. Рябцев В. Н. Геополитические особенности Черноморско-Каспийского региона в условиях постбиполярного мира. URL: http://evrazia.org/article/2142 (Дата обращения: 25.08.2017)
9. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. – № 3. – С. 134–148
10. Huntington S. The Clash of Civilizations and Remarking of World Order. – N.Y., Simon and Schuster, 1996. – 194 p.
11. Юрченко С. В. Основные тенденции развития системы международных отношений и проблема актуализации общественного воздействия на внешнюю политику государств // Чорноморська безпека. – 2008. – № 4 (10). – С. 3–5.
12. Семпа Ф. Мир Спайкмена. URL: http://konservatizm.org/ konserva-tizm/geopolitika/090410213813.xhtml (Дата обращения: 25.08.2017)
13. Библиотека диссертаций dslib.net. URL: http://www.dslib.net/glob-razvitie.html (Дата обращения: 15.07.2017)
14. Кутилин С. А. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации: политический аспект: по материалам Черноморского макрорегиона: Дис... канд. полит. наук / Кутилин Сергей Анатольевич. – Краснодар, 2011. – 233 с.

15. Лаврова Т. В. Черноморские проливы как геополитическая проблема современных международных отношений: Дис... докт. полит. наук / Лаврова Татьяна Владимировна. – М., 2001. – 291 с.
16. Романенко В. И. Новое геополитическое пространство черноморского региона в контексте российской национальной безопасности: политологический анализ: Дис ... канд. полит. наук / Романенко Владимир Иванович. – Москва, 2009. – 275 с.
17. Ротов А. С. Геополитический сегмент Причерноморья и его значение в формировании политики национальной безопасности современной России: Дис... канд. полит. наук / Ротов Александр Сергеевич. – Р.-на-Д., 2007. – 138 с.
18. Белякова Н. С. Роль и место черноморского региона во внешней политике турецкой республики на современном этапе: Дис... канд. полит. наук / Белякова Нина Сергеевна. – М., 2015. – 142 с.
19. Краснов Д. В. Политика Европейского союза в отношении многосторонних структур сотрудничества в Причерноморье: Дис... канд. полит. наук / Краснов Денис Владимирович. – Нижний Новгород, 2009. – 163 с.
20. Усов С. А. Политико-правовые проблемы Черноморского флота и Севастополя в контексте распада Российской империи и СССР (Историко-политологический анализ): Дис... докт. полит. наук / Усов Сергей Андреевич. – М., 2003. – 445 с.
21. Рудаков Л. В. Политическое реформирование системы местного самоуправления в Российской Федерации: на примере городов Черноморского побережья России: Дис... канд. полит. наук / Рудаков Леонид Владимирович. – Краснодар, 2009. – 273 с.

Islyamova E. E. The Geopolitical Significance of the Black Sea Region: the Theoretical and Conceptual Dimension // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 124-133.

The article considers the Black Sea region in the context of its geopolitical significance in the theories and concepts of foreign and domestic authors. The issue of the geopolitical significance of the Czech Republic is very extensive and can contain many dimensions. The first of these, important both in itself and as a basis for other components of analysis, is the theoretical-conceptual aspect of the study. In addition to the formation of a basic research framework, the consideration of the Black Sea region in this context will provide an opportunity to review the currently available concepts that characterize it and to implement further analysis on their basis. To solve the goal formulated in this way, the following tasks were outlined: to briefly define the role of the Black Sea region in the context of classical geopolitical concepts; consider modern concepts that determine the importance of the CR in the structure of modern geopolitics; to characterize the specifics of the consideration of the role of the Chechen Republic in Russian academic works. Proceeding from the set tasks, the object of research of this article can be called the Black Sea region as a whole, and the subject is its role in the structure of modern geopolitics. The theoretical and methodological base of the work was the work of classical and modern authors, at different periods and in various aspects, they considered the problems of the Black Sea region.

Keywords: Black Sea region, geopolitics, concepts and theories.

References

1. Asmus R. Chernoe more i predely svobody [Black Sea and Limits of Freedom]. Available at: http://www.rusk.ru/st.php?idar=102145 (Accessed: 25.07.2017)
2. Bzhezinskii Zb. Velikaya shakhmatnaya doska [Great Chessboard]. Moscow, Mezhdunar. otnosheniya, 1998, 137 p.
3. Dugin A. G. Osnovy geopolitiki. Geopoliticheskoe budushchee Rossii. Myslit' prostranstvom [Fundamentals of Geopolitics. The Geopolitical Future of Russia. Think of Space]. Moscow, Arktogeya-center, 2000, 451 p.
4. Makkinder Kh. Dzh. Kruglaya zemlya i obretenie mira [Round Land and the Acquisition of the World]. Kosmopolis, 2006/2007, №2 (16), pp.56–69.
5. Makkinder Kh. Dzh. Geograficheskaya os' istorii [Geographic Axis of History, Political Studies]. Politicheskie issledovaniya, 1995, №4, pp. 162–169.

6. Nikiforov A. R. Geopoliticheskii smysl Ukrainy [The Geopolitical Meaning of Ukraine]. Russkii geopoliticheskii sbornik, 2000, №4, pp. 75–90.
7. Panarin A. S. Rossiya v tsivilizatsionnom protsesse (mezhdu atlantizmom i evraziistvom) [Russia in the Civilizational Process (between Atlantism and Eurasianism)]. Moscow, 1994, 264 p.
8. Ryabtsev V. N. Geopoliticheskie osobennosti Chernomorsko-Kaspiiskogo regiona v usloviyakh postbipolyarnogo mira [Geopolitical Features of the Black Sea-Caspian Region in the Post-Bipolar World]. Available at: http://evrazia.org/article/2142 (Accessed: 25.08.2017)
9. Fukuyama F. Konets istorii? [End of history?]. Voprosy filosofii, 1990, №3, pp. 134–148
10. Huntington S. The Clash of Civilizations and Remarking of World Order [The Clash of Civilizations and Remarking of World Order]. N.Y., Simon and Schuster, 1996, 194 p.
11. Yurchenko S. V. Osnovnye tendentsii razvitiya sistemy mezhdunarodnykh otnoshenii i problema aktualizatsii obshchestvennogo vozdeistviya na vneshnyuyu politiku gosudarstv [The Main Trends in the Development of the System of International Relations and the Problem of Actualizing the Social Impact on the Foreign Policy of States]. Chornomors'ka bezpeka, Vol. 4 (10), 2008, pp. 3–5.
12. Sempa F. Mir Spaikmena [The World of Spykman]. Available at: http://konservatizm.org/ konservatizm/geopolitika/090410213813.xhtml (Accessed: 25.08.2017)
13. Biblioteka dissertatsii dslib.net. [Library of dissertation dslib.net.]. Available at: http://www.dslib.net/glob-razvitie.html (Accessed: 15.07.2017)
14. Kutilin S. A. Obespechenie natsional'noi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii: politicheskii aspekt: po materialam Chernomorskogo makroregiona [Maintenance of National Safety of the Russian Federation: Political Aspect: on Materials of the Black Sea Macroregion]. Candidate’s thesis, Krasnodar, 233 p.
15. Lavrova T. V. Chernomorskie prolivy kak geopoliticheskaya problema sovremennykh mezhdunarodnykh otnoshenii [Black Sea Straits as a Geopolitical Problem of Modern International Relations]. Doctorate’s thesis, Moscow, 291 p.
16. Romanenko V. I. Novoe geopoliticheskoe prostranstvo chernomorskogo regiona v kontekste rossiiskoi natsional'noi bezopasnosti: politologicheskii analiz [New Geopolitical Space of the Black Sea Region in the Context of Russian National Security: Political Analysis]. Candidate’s thesis, Moscow, 275 p.
17. Rotov A. S. Geopoliticheskii segment Prichernomor'ya i ego znachenie v formirovanii politiki natsional'noi bezopasnosti sovremennoi Rossii [Geopolitical Segment of the Black Sea Area and its Importance in the Formation of the National Security Policy of Modern Russia]. Candidate’s thesis, Rostov-na-Donu,138 p.
18. Belyakova N. S. Rol' i mesto chernomorskogo regiona vo vneshnei politike turetskoi respubliki na sovremennom etape [Role and Place of the Black Sea Region in the Foreign Policy of the Turkish Republic at the Present Stage]. Candidate’s thesis, Moscow, 142 p.
19. Krasnov D. V. Politika Evropeiskogo soyuza v otnoshenii mnogostoronnikh struktur sotrudnichestva v Prichernomor'e [The Policy of the European Union in Relation to Multilateral Structures of Cooperation in the Black Sea Region]. Candidate’s thesis, Nizhnii Novgorod, 163 p.
20. Usov S. A. Politiko-pravovye problemy Chernomorskogo flota i Sevastopolya v kontekste raspada Rossiiskoi imperii i SSSR (Istoriko-politologicheskii analiz) [Politico-Legal Problems of the Black Sea Fleet and Sevastopol in the Context of the Collapse of the Russian Empire and the USSR (Historical and Political Analysis)]. Doctorate’s thesis, Moscow, 445 p.
21. Rudakov L. V. Politicheskoe reformirovanie sistemy mestnogo samoupravleniya v Rossiiskoi Federatsii: na primere gorodov Chernomorskogo poberezh'ya Rossii [Political Reforming of System of Local Government in the Russian Federation: on an Example of Cities of the Black Sea Coast of Russia]. Candidate’s thesis, Krasnodar, 273 p.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 134–141.

УДК 008:730

ФЕНОМЕН ОБЪЕМА И ПРОСТРАНСТВА В СКУЛЬПТУРЕ

Балкинд Е. Л.

Крымский университет культуры, искусств и туризма, г. Симферополь, Российская Федерация.

E-mail: kompozicia@mail.ru

Статья посвящена изучению объема и пространства в скульптурных произведениях. Исследована история вопроса, произведен анализ современного состояния проблемы. На примере скульптуры рассмотрено взаимодействие художественной и фактической реальностей. Произведен сравнительный анализ разных видов изобразительного искусства в той их части, которая касается возможности передачи пространственных и объемных характеристик фактического мира. Показано, что скульптура в меньшей степени способна создавать иллюзии, нежели живопись или графика. Отдельное внимание уделено особенностям восприятия скульптуры зрителем, отмечена особая вовлеченность зрителя в рецепцию. Рассмотрены изобразительные и выразительные средства скульптуры. Обозначена разница между выразительными и изобразительными средствами. Виды скульптуры описаны с точки зрения присутствия их объема в пространстве. При этом отмечена большая условность скульптуры по отношению к другим видам изобразительного искусства. Описаны некоторые синтетические формы современного искусства, в пространстве которых могут быть задействованы скульптурные произведения. Рассмотрен ряд примеров, иллюстрирующих основные положения статьи. Приведены результаты исследования, демонстрирующие, как именно создается объемный пространственный образ, принадлежащий и художественной, и фактической реальностям одновременно.

Ключевые слова: иллюзия, искусство, объем, пространство, художественная реальность.

Художественная реальность представляет собой систему образов, возникающих в результате трансформации фактической реальности, она детерминирована восприятием художника и зрителя (в то время как фактическая реальность не зависит от восприятия субъекта). Отсюда становится понятным: художественная реальность, выступая трансформированным отражением фактической реальности, обладает частью ее атрибутов, а сами явления и свойства вещественного мира приобретают в художественной реальности характерное эстетическое измерение.

Пространство как форма бытия вещей и явлений в процессе создания художественного произведения также подлежит трансформации, в результате чего возникает пространственный образ уже фактического мира, принадлежащий художественной реальности. Представление о пространстве мы получаем благодаря внешнему виду объектов, его наполняющих, более того, пространство порождается вещами. Поэтому объем как характеризующая их величина также составляет предмет нашего исследования.

Итак: объем предмета существует в пространстве, уточняя и характеризуя его. Все, что мы понимаем об объеме, мы понимаем и о пространстве. Именно объем трехмерной скульптуры со всей очевидностью демонстрирует, что грань между реальным и художественным пространством может оказаться весьма тонкой. Вопросы же взаимодействия художественной и фактической реальностей никогда не выпадали из поля интересов как серьезных исследователей, так и простых любителей искусства. При этом данное взаимодействие в контексте изобразительного искусства и, в частности, скульптуры до сих пор изучено слабо. Именно сегодня связанные с ним вопросы становятся особенно актуальными благодаря появлению новых художественных форм (таких как хеппенинг, акционизм, инсталляция), стремящихся стереть грань между искусством и действительностью.

Цель данной статьи состоит в исследовании особого статуса скульптуры в изобразительном искусстве, который возникает благодаря вещественности ее объема. Данная цель диктует решение определенных задач, а именно: анализ видов скульптуры, поскольку присутствие скульптурного объема в реальном пространстве отражено и зафиксировано в них; обращение к провокационным формам современного искусства, а главное – решение вопроса о принадлежности скульптурного пространства (художественной реальности или фактической).

Вопросы передачи пространства в изобразительном искусстве хорошо изучены именно благодаря тому, что изобразительное искусство – это искусство пространственное. И наиболее показательна в этом плане в первую очередь скульптура. Взаимосвязь места и пространства в контексте скульптуры интересовала еще Аристотеля. Теоретические вопросы передачи пространства были изложены и обобщены в эпоху Возрождения Л. Б. Альберти, Леонардо да Винчи, Джотто, А. Дюрером. Осмысление проблемы художественного пространства современными авторами – Н. Н. Волковым, Х. Ортега-и-Гасетом, Б. В. Раушенбахом, П. А. Флоренским, М. Хайдеггером, О. Шпенглером – носит более отвлеченный философский характер.

Немалый интерес представляют размышления о скульптуре Д. Вазари, А. Гильдебранда, Д. Дидро, Б. Челлини. Изучение скульптуры и скульптурного пространства также входит в круг интересов более современных авторов: Р. Арнхейма, М. Хайдеггера, Г. Рида. М. Хайдеггер, например, вслед за Аристотелем рассматривает пространство в неразрывной связи с местом, занимаемым скульптурным объемом, определяет скульптуру через «овладение пространством, достижение господства над ним» [7, с. 95].

Отдельную группу исследований составляют научные работы С. С. Валериуса, Р. Краусса, Н. И. Поляковой, Г. П. Степанова, В. С. Турчина, посвященные изучению взаимодействия объема и пространства в скульптуре XX века. Тем не менее понимание скульптурных пространства и объема как неких феноменов, существующих на пересечении художественной и фактической реальности, у этих авторов отсутствует.

Каждое художественное произведение выстраивает свое пространство, одновременно существуя в фактическом пространстве макромира. Например, даже

целиком временное искусство – музыка – также имеет свое пространство: то, в котором она звучит и с которым взаимодействует, и то, которое создает звучанием. Всякое произведение изобразительного искусства, существуя в фактическом пространстве, при этом создает пространство художественной реальности, независимое от внешнего (фактического), до тех пор, пока не попадет в конкретный контекст. Художественное пространство живописного или графического произведения зависит от выбранного художником ракурса и ограничено не только форматом, который является окном в художественную реальность, но и ходами в глубину, если речь идет о создании трехмерной иллюзии. При этом на его восприятие накладываются параметры и условия реального пространства: освещение, расстояние до объекта искусства, а также состояние реципиента. Восприятие же скульптуры требует от зрителя большей активности, поскольку предполагает обход со всех сторон и возможность прикоснуться к ней, чтобы почувствовать ее трехмерность. Речь здесь идет об особой вовлеченности зрителя в рецепцию. В самом деле, понимать скульптуру несколько труднее, чем живопись, поскольку скульптура более условна в той части, которая касается количества передаваемых характеристик фактического мира, которые, скажем, живопись передает в самом прямом смысле «красочно» [8]. Их сокращение происходит благодаря тому, что в скульптуре есть только одно изобразительное средство – объем.

Объем объекта – трехмерная величина, «одна из характеристик геометрического тела, определяется как общий предел вписанных в него или описанных вокруг него тел» [5, с. 24]. Это определение справедливо и в отношении объема как изобразительного средства. Тут следует обозначить разницу между изобразительными и выразительными средствами в искусстве, которая состоит в том, что изобразительные средства первичны. Выразительные же средства вторичны и могут быть составными (например, пятно в живописи имеет несколько характеристик: цвет, тон, форму). Выразительными средствами скульптуры являются пластика, форма и отчасти пятно и линия. Следует отметить, что цвет в скульптуре также может использоваться как изобразительное средство. Но его использование, в отличие от объема, носит необязательный, декоративный характер.

Художественное пространство – это и место действия, и существенная составляющая самого действия. В пространстве произведения может быть тесно или просторно. Н. Н. Волков справедливо уподобляет пространство картины некоей общей конструкции [2, с. 104]. Примером такой конструкции может служить, скажем, картина П. Брейгеля «Охотники на снегу», где «пространство организовано в форме чаши» [1, с. 159]. Формы отображения пространства имеют свою типологию: древность – ортогональные проекции; средние века – обратная перспектива; параллельная перспектива в средневековой Японии и Китае; Ренессанс в Европе – это прямая перспектива, которая сохраняет свое значение до XX века включительно. В современном же искусстве присутствуют самые разные принципы перспективных построений и пространственных решений. «Скульптор не знает всех этих забот. Он передает истинную (объективную) геометрию, а тем самым

видимую» [6, с. 8], – пишет Б. В. Раушенбах. Но было бы ошибкой считать, что перспектива не имеет отношения к скульптуре. В рельефных изображениях, где реальное пространство заканчивается там, где начинается плоскость рельефа, используются законы перспективы для передачи изображения, то есть для создания иллюзии пространства. Круглая скульптура, полностью существуя в объективном трехмерном пространстве, испытывает на себе действие законов перспективы, а не создает с их помощью иллюзорное пространство. Поэтому скульптор, учитывая реальные перспективные сокращения крупных объемов, нарушает пропорции скульптуры таким образом, чтобы нивелировать эти визуальные искажения.

Итак, если в живописи или графике создание иллюзии трехмерного объема на двухмерной плоскости является целью, для которой привлекаются изобразительные и выразительные средства, то в скульптуре объем задан и первичен благодаря начальной объемности исходного материала. И здесь мы имеем дело с феноменом, когда объем одновременно принадлежит и художественной (как изобразительное средство), и вещественной реальности.

Присутствие скульптурного объема в реальном пространстве отражено и зафиксировано в самих видах скульптуры. Различают два рода скульптуры: круглую скульптуру: «трехмерную, допускающую обход и восприятие со всех сторон» [3, с. 35], к которой относится мелкая пластика, монументальная и станковая скульптура; а также рельеф, где основой изображения является плоскость. «Рельеф бывает выступающим, и тогда он подразделяется на низкий (барельеф), применяемый наиболее часто на медалях, монетах и т. д., и высокий (горельеф), используемый в основном в станковой и монументальной скульптуре» [3, с. 35].

«Вырезанный же или вдавленный рельеф, применяемый большей частью на печатях и различных формах (матрицах) для оттискивания барельефных изображений, называется контррельефом» [3, с. 35] – т. е. представляет собой «негатив» выступающего рельефа. Таким образом, в углубленном рельефе роль объема выполняет незаполненное материалом пространство, пустота. По отношению к выступающему рельефу углубленный (заполненный) рельеф более условен, так как выраженный им объем не вещественен, хотя использует трехмерное, объективное пространство. Из обозначенного разделения явно следует, что принцип дифференциации основан на существовании скульптурной формы в пространстве. В рельефе объем частично является иллюзией; объем же круглой скульптуры ни в какой мере не является иллюзорным, потому что ее форма целиком объемна и существует в реальном пространстве. Поэтому дальше речь пойдет именно о круглой скульптуре.

Любопытно, что живопись и скульптура как бы движутся навстречу друг другу – скульптура уменьшает объем от круглой скульптуры к барельефу и контррельефу, пастозная же живопись, построенная на корпусном письме, частично передает объем предмета за счет толщины (то есть фактической объемности) красочного слоя и фактуры.

Следует заметить, что среду и пейзаж скульптура может воспроизвести лишь косвенно, поскольку изобразить освещение, воздушную среду или уходящее в

перспективу, т. е. иллюзорное пространство, средствами круглой скульптуры невозможно – круглая скульптура вообще далека от иллюзий. Понимая это, скульпторы зачастую в попытке дать хотя бы намек на наличие окружающей среды не до конца «высвобождают» свое произведение из начального материала. Такими частично погруженными в материал как в некую абстрактную среду, являются, например, работы С. Т. Коненкова «Русалочка», «Заря», «Кариатида», «Паганини». В некоторой степени передать пространственные иллюзии способен объективно объемный рельеф. И здесь выявляется еще одна любопытная особенность скульптуры (да и не только скульптуры) – чем более вещественно произведение искусства, тем более оно ограничено в своих возможностях создавать иллюзии.

Итак, живопись и графика создают лишь иллюзию объема и трехмерного пространства на двухмерной поверхности. Объем же и пространство в круглой скульптуре носят объективный характер. Можно возразить, что объекты промышленного дизайна также обладают объективным объемом, используя реальное пространство. Но дело в том, что функциональность в дизайне первична, всякий объект дизайна в первую очередь представляет собой продукт материальной культуры, выполняющий определенную функцию и принадлежащий фактической реальности. Дизайнерское решение полностью подчинено этим функциям и не имеет самостоятельного значения. Скульптура же является целиком художественным произведением.

М. Хайдеггер задается следующим вопросом: «Пространство, внутри которого находится скульптурное тело как определенный наличный объект, пространство, замкнутое объемами фигуры, пространство, остающееся как пустота между объемами, – не оказываются ли эти три пространства в единстве их взаимодействия всегда лишь разновидностями единого физически-технического пространства?» [7, с. 96]. Попробуем ответить на этот вопрос.

Рама живописного произведения, не будучи составляющей изображения, тем не менее, является порогом, переплетом окна, за которым помещается ограниченное ею пространство, то есть картина. В скульптуре, которая существует в реальном пространстве, рама отсутствует, но сам ее размер предполагает, что часть фактического пространства принадлежит скульптурному изображению. Ограничением пространства скульптурного изображения служит постамент либо частично замкнутое пространство арки или ниши, где может помещаться скульптура. Рельеф ограничивается той плоскостью, на которой он расположен. При этом «отсчет» круглой скульптуры начинается не от ее поверхности, а именно от арки, потому что ни одно произведение изобразительного искусства не может существовать вне формата. Поэтому часть фактического «физически-технического» пространства принадлежит уже скульптурному изображению. Стоящий на площади памятник также присваивает себе пространство площади, существует в ее формате. «Скульптура – телесное воплощение мест, которые, открывая каждый раз свою область и храня ее, собирают вокруг себя свободный простор» [7, с. 98]. При этом формат скульптуры не является неким правильным сформированным «коконом». Скажем, формат монументальной скульптуры А. Майоля «Воздух» направленно и осязаемо подчинен движению расположенной в горизонтальной плоскости женской

фигуры. И тут мы сталкиваемся с феноменом пространства (формата) круглой скульптуры. Оказывается, зритель, пусть и чисто технически, может легко оказаться в нем, лишая себя при это возможности адекватного восприятия скульптурного произведения. Ни одно произведение изобразительного искусства не может «похвастаться» такой вовлеченностью зрителя в свою художественную реальность… Пусть даже за этой вовлеченностью стоит ущерб адекватному восприятию произведения.

Р. Краусс, в свою очередь, размышляет о модернистском пределе логики монумента, когда «за ним находится то пространство, которое можно обозначить как негативное, – пространство отсутствия места, полной его утраты, бездомности» [4, с. 278]. Таким образом, автор отказывает части скульптурных произведений в собственном пространстве и, как следствие, в его способности «перетекать» в фактическое. И далее он пишет: «В постмодернистской ситуации художественная практика определяется уже не через ее отношение к какому-либо определенному средству выражения, например к скульптуре, а скорее через ее самоопределение внутри некоего культурного поля, позволяющего использовать любые средства, например фотографию, книги, полосы на стенах, зеркала или же скульптуру» [4, с. 287]. И здесь, на наш взгляд, речь идет именно о размывании границ между художественным пространством и фактическим, что весьма характерно для постмодернизма в целом.

Известно, что попытка стереть грань между искусством и действительностью характерна и для многих форм современного искусства. Хеппенинг преодолевает границы между художником и зрителем, когда и тот, и другой являются непосредственными участниками спонтанного непредсказуемого действия, где элемент случайного принижает творческое начало. Инсталляция является пространственной композицией, при этом инсталляцией, по сути, можно назвать всякий натюрморт. Но в отличие от инсталляции натюрморт как объект изображения принадлежит вещественной реальности, а инсталляция претендует на принадлежность к реальности художественной. Акционизм занимается созданием живых картин. Образный язык тем не менее используется во всех указанных случаях, поэтому однозначно вывести вышеперечисленные формы за рамки искусства не представляется возможным.

Вернемся к скульптуре в контексте «культурного поля» как некоего эстетически насыщенного и при этом размытого «общего» или ничейного пространства. Объединенные в группы объекты, в числе которых может оказаться и скульптура, утрачивают свое самостоятельное значение и, следовательно, – «личное» пространство – формат. В таком случае скульптура уже перестает быть скульптурой, а становится только частью инсталляции или натюрморта. Следовательно, часть пространства, принадлежащего скульптуре, и есть существенный ее признак. Это пространство отнюдь не иллюзорно, оно вполне реально, в него можно вступить и прикоснуться к скульптуре. Но художественной или фактической реальности оно принадлежит? Что следует ответить на вопрос М. Хайдеггера? Мы полагаем, что так же, как и скульптурный объем, который существует объективно, принадлежат одновременно и художественной реальности,

пространство скульптуры, оставаясь объективным и доступным для зрителя, является все-таки художественным пространством, именно потому, что является неотъемлемым атрибутом художественного произведения, а именно – форматом. В этом и состоит феномен круглой скульптуры, которая создает объёмный пространственный образ, принадлежащий и художественной, и фактической реальностям одновременно. Скульптурное пространство, следовательно, можно уподобить некой буферной зоне, где могут сосуществовать объекты фактического мира и непосредственно сама скульптура (как его объект и как произведение искусства). При этом нарушение границ скульптурного пространства и непосредственный контакт с ним могут как нести ущерб восприятию произведения скульптуры реципиентом, так и усиливать эффект его воздействия. Д. Дидро верно заметил: «Живопись обращается только к глазам… Скульптура существует и для слепых, и для зрячих» [Цит. по: 8].

Итак, данное исследование позволило нам сформулировать некоторые выводы.

Присутствие скульптурного объема в реальном пространстве отражено и зафиксировано в самих видах скульптуры; чем более вещественно произведение искусства, тем более оно ограничено в своих возможностях создавать иллюзии. Поэтому наиболее далека от создания иллюзий именно круглая скульптура. Феномен же круглой скульптуры состоит, во-первых, в том, что она создает объемный пространственный образ, принадлежащий и художественной и фактической реальностям одновременно; во-вторых, пространство скульптуры, будучи объективным и доступным для зрителя, остается художественным пространством именно потому, что является неотъемлемым атрибутом произведения искусства, а именно – форматом. Понимание же феноменов скульптурных пространства и объема открывает перспективы творческой активности зрителя и является залогом адекватного восприятия и постижения им искусства скульптуры в целом.

Список литературы

1. Александров Н. Н. Возвращение к Брейгелю. Анализ картины Питера Брейгеля «Зима» (Охотники на снегу) / Н. Н. Александров. – М.: Изд-во Академии Тринитаризма, 2011. – 222 с.
2. Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. – М.: Искусство, 1977. – 263 с.
3. Искусство: иллюстрированная энциклопедия / ред.-сост. А. Дылейко. – М.: Белфакс, 2002. – 336 с. : ил.
4. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Р. Краусс. – М.: Художественный журнал, 2003. – 320 с.
5. Лесняк В. И. Графический дизайн (основы профессии) / В. И. Лесняк. – Киев: Биос Дизайн Букс, 2009. – 416 с.
6. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи / Б. В. Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 289 с.
7. Хайдеггер М. Искусство и пространство / М. Хайдеггер // Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М.: ИПЛ, 1991. – С. 95–99.
8. Ярмонская В. В. Основы понимания скульптуры. URL: http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st001.shtml (Дата обращения: 18.10.2017).

Balkind E.L. Phenomenon of Volume and Space in Sculpture// Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 134–141.

This article is devoted to study of volume and space in sculptural works. The background is investigated and the analysis of the current state of a problem is made. The interaction of art and actual realities on the example of sculpture is considered. The comparative analysis of different types of the fine arts in the part that concerns a possibility of transference of spatial and volume characteristics of the actual world is made. One can mark that the sculpture is capable to create illusions in minor degree, than painting or graphics. The peculiarities of perception of a sculpture by a viewer are considered, the special involvement of the viewer into reception is noted. Special attention is paid to graphic and means of expression of a sculpture. The difference between expressive and graphic means is marked. Types of a sculpture are described from the point of view of presence of their volume in space. At the same time, the big conventionality of a sculpture in relation to other types of the fine arts is noted. Some synthetic forms of the modern art where the sculptural works can be involved in there space are described. A number of examples illustrating basic points of the article is considered. The results of a research demonstrate the creation of the spatial image in volume belonging as to art so to actual realities at the same time.

Keywords: art, art reality, illusion, space, volume.

References

1. Aleksandrov N. N. Vozvrashchenie k Breigelyu. Analiz kartiny Pitera Breigelya «Zima» (Okhotniki na snegu) [Return to Bruegel. The Analysis of a Picture of Pieter Bruegel "Winter" (Hunters on Snow)]. Moscow, Academy of Trinitarianism, 2011, 222 p.
2. Volkov N. N. Kompozitsiya v zhivopisi[Compozition in Painting]. Moscow, Art, 1977, 263 p.
3. Iskusstvo: illyustrirovannaya entsiklopediya [Art: the Illustrated Encyclopedia]. Moscow, Belfaks, 2002, 336 p.
4. Krauss R. Podlinnost' avangarda i drugie modernistskie mify [The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths]. Moscow, Art Magazine, 2003, 320 p.
5. Lesnyak V. I. Graficheskii dizain (osnovyprofessii) [Graphic Design (Professional Basis)]. Kiev, Bios Dizain Buks, 2009, 416 p.
6. Raushenbakh B. V. Prostranstvennye postroeniya v zhivopisi [Spatial Constructions in Painting]. Moscow, Nauka [Science],1980, 289 p.
7. Khaidegger M. Iskusstvo i prostranstvo [Art and Space]. Moscow, PPH, 1991, pp. 95–99.
8. Yarmonskaya V. V. Osnovy ponimaniya skul'ptury [Bases of Understanding of a Sculpture]. Available at: http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st001.shtml (Accessed: 18.10.2017)

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 142–152.

УДК 351.85:008

РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА: ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Новосельская В. В.

Министерство культуры Республики Крым, г. Симферополь, Российская Федерация

E-mail: mincult@rk.gov.ru

Статья посвящена организационным и технологическим аспектам региональной культурной политики в контексте общенациональной (общегосударственной) культурной политики. Цель статьи – рассмотреть региональную культурную политику и ее особенности как целенаправленный, организованный технологический процесс, представляющий собой систему соответствующих управленческих действий и взаимосвязанных этапов. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: выделить особенности региональной культурной политики в контексте общенациональной (общегосударственной); определить основные этапы осуществления региональной культурной политики в организационно-технологическом аспекте и охарактеризовать их содержание; рассмотреть социокультурное проектирование как особую технологию региональной культурной политики. Автором отмечается, что общенациональная культурная политика в основном решает стратегические задачи, определяет национальные приоритеты и направления развития культуры в целом. Региональная культурная политика осуществляется в контексте общенациональной культурной политики, руководствуется ее целями, ценностями и приоритетами. Региональная культурная политика, осуществляемая на определенной территории, учитывает конкретные природные, экономические, социальные, демографические, этнические и прочие условия, а также непосредственные потребности и интересы людей, поскольку максимально приближена к непосредственным создателям и потребителям культуры.

В результате региональная культурная политика имеет беспрецедентные возможности оперативного и оптимального решения постоянно возникающих социокультурных проблем, а также максимального использования культурных ресурсов региона для его социального и экономического развития. В статье определены и описаны основные организационные этапы региональной культурной политики (аналитико-диагностический, концептуально-прогностический, перспективно-плановый, практически-реализационный, контрольно-итоговый), а также соответствующие технологии их осуществления. В статье анализируется социокультурное проектирование как важнейшая технология, позволяющая решить вопросы развития культуры на региональном уровне, и отмечается, что это не только создание и описание необходимых проектов, но также детальная разработка и осуществление соответствующих мероприятий с целью конструирования желаемой социокультурной реальности. При этом подчеркивается, что реализация социокультурных проектов и программ, проведение эффективной региональной культурной политики должны осуществляться в контексте стратегий регионального развития и развития страны в целом, задействовать все необходимые ресурсы, предусматривать системное взаимодействие и участие всех социальных субъектов, причастных к культурной жизнедеятельности региона.

Ключевые слова: культура, культурная политика, региональная культурная политика, социокультурное проектирование.

Введение

В нынешних условиях культура выступает существенным стратегическим ресурсом развития общества и страны. Однако стратегический потенциал культуры в современном обществе может эффективно реализовываться лишь при условии рационально обоснованного, комплексного системного подхода, четкого определения цели, задач, возможностей, последствий и доступных средств осуществления соответствующих социокультурных программ, проектов и других мероприятий. Без этого невозможно проведение эффективной культурной политики любого уровня – как общегосударственного, так и регионального; особенно важно для региональной культурной политики, так как именно на уровне регионов наиболее рельефно и непосредственно проявляются проблемы социокультурной жизнедеятельности людей, а также возможности, средства и условия их решения.

Это определило цель данной статьи – рассмотреть региональную культурную политику и ее особенности как целенаправленный, организованный технологический процесс, представляющий собой систему соответствующих управленческих действий и взаимосвязанных этапов. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: выделить особенности региональной культурной политики в контексте общенациональной (общегосударственной); определить основные этапы её осуществления в организационно-технологическом аспекте и охарактеризовать их содержание; рассмотреть социокультурное проектирование как особую технологию региональной культурной политики.

Региональная политика должна осуществляться в контексте политики общегосударственной. В «Основах государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» подчеркнуто, что «государственная политика регионального развития реализуется с учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, определенных в документах стратегического планирования, разработанных на федеральном уровне в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования» [1].

Таким образом, общегосударственная культурная политика решает прежде всего стратегические задачи, определяя общенациональные принципы и направления развития культуры в целом. Региональная культурная политика, реализуемая в контексте общенациональной и ориентированная на ее ценности и приоритеты, осуществляется на определенной территории, учитывает конкретные природные, экономические, социальные, демографические, этнические и прочие условия, а также непосредственные интересы людей, поскольку она максимально приближена к непосредственным создателям и потребителям культуры.

О. Н. Астафьева отмечает по этому поводу, что «самостоятельность субъектов Российской Федерации позволяет региональным властям предлагать разнообразные решения актуальных проблем и включать их в концепции культурных политик, успешно реализуя их посредством социокультурных проектов, направленных на социокультурное развитие территорий… Несмотря на то, что на этом уровне управления большая нагрузка падает на менеджеров культуры, сегодня уже мало кто сомневается в необходимости проведения локальной культурной политики.

Проекты, реализуемые на местном уровне, приобретают особое значение, поскольку являются звеном, соединяющим цели культурных политик разных уровней с запросами и интересами конкретного человека» [2].

Именно на уровне региона существуют беспрецедентные возможности оперативного и оптимально эффективного решения проблем, связанных с культурным миром, интересами и потребностями жителей соответствующей местности. Более того, именно в регионах культурная жизнь существует и развивается во всем своем разнообразии и неповторимости, так как непосредственно задействует наличные ресурсы, инициативы и субъектов, действующих на данной территории.

Поэтому общенациональное культурное пространство определяется не только общими тенденциями и системой ценностей, но и характером разнообразных региональных культурных процессов, непосредственно представляющих этническую, конфессиональную, творческую и традиционно-бытовую самобытность населения, начиная с сельского культурного центра и заканчивая маститыми академическими учреждениями культуры и искусств. Национальное культурное пространство представляет собой, образно говоря, мозаику, состоящую из культур регионов, соединяющих в себе общенациональное и регионально-уникальное.

Отмечая конструктивную роль общенациональных культурных ценностей и установок в обеспечении единения и устойчивости российского государства и российской нации, следует также учитывать тот факт, что культурное (в том числе и регионально-культурное) своеобразие в современном глобализирующемся и унифицирующемся мире ценно как никогда – ведь именно оно позволяет сохранить национальную, этническую и территориальную самобытность; обеспечить идентификацию личности с «малой» и «большой» Родиной; не только сформировать уникальный и привлекательный имидж соответствующего региона, но и выступить весомым фактором его социально-экономической стабильности и прогресса.

В частности, в «Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года» указано, что «история территории, ее социальные, культурные особенности (наряду с производственно-экономическим и транспортно-коммуникационным потенциалом) становятся своеобразным “товаром”, важным преимуществом в конкуренции с другими геоэкономическими регионами мира, а также питательной средой для социальных инноваций как одного из источников развития» [3].

Поэтому умелая организация региональной культурной политики в контексте общенациональной, сохранение, приумножение и эффективное использование культурного потенциала и особенностей регионов являются важнейшими задачами политики как регионального развития, так и общегосударственного в целом.

Если подходить к культуре как своеобразной инвестиции в региональное развитие, существенному фактору экономического и социального благополучия – необходимо

разработать не только теоретические основы региональной культурной политики, но и методы ее формирования. В частности, с технологической точки зрения региональная культурная политика представляет собой целенаправленный, организованный процесс, состоящий из последовательных этапов, каждый из которых имеет свое содержание и предназначение.

Первый этап можно обозначить как аналитико-диагностический. На данном этапе должен быть осуществлен всесторонний, объективный анализ социально-политической, экономической и культурной жизни региона. Следует собрать информацию о проблемах развития культуры, интересах и запросах населения, о региональных ресурсах, объектах культуры, имеющих потенциал для обеспечения территориального развития региона.

Полученную на данном этапе информацию следует систематизировать, выделив следующие разделы:

1. Социокультурные особенности региона (демографические характеристики населения, социальные группы, доступность культуры различным социальным группам, культурные потребности и интересы и т. п.).

2. Институциональные аспекты социокультурного развития региона (возможности существующих органов государственной власти и общественных организаций, их сотрудничества с целью наиболее эффективного использования региональных ресурсов; основы и направления межведомственного взаимодействия по вопросам решения соответствующих проблем, осуществления культурных программ). Для этого необходимо провести инвентаризацию учреждений культуры и искусства, составить карту материально-технической базы культуры региона, выяснить особенности общественных культурных организаций.

3. Творческо-созидательный, инновационный потенциал региона (наличие специалистов в сфере культуры и смежных областях – туризме, спорте, педагогике, политике – их квалификация и профессиональные возможности).

4. Реестр исторических и культурных достопримечательностей региона (систематизация объектов историко-культурного наследия, памятников и памятных мест и т. п., обладающих познавательной и развлекательной притягательностью).

Второй этап можно определить как концептуально-прогностический. Любой регион является сложной системой артефактов духовной и материальной культуры. Однако, в связи с постоянно изменяющимися условиями и появляющимися новыми задачами, каждый регион нуждается в соответствующем корректировании культурных образцов, для чего постоянно необходимо осуществлять социокультурное прогнозирование. Эта деятельность предполагает детальное осмысление возможностей и направлений социокультурного развития, особенностей субъектов социокультурной жизнедеятельности региона, изучение вероятных рисков и перспектив. На данном этапе следует осуществить исследование и прогнозирование развития социокультурной ситуации в определенных условиях – как наличествующих, так и тех, которые могут быть изменены соответственно принятым управленческим решениям и реализации тех или иных социокультурных мероприятий. Учитывая полученную информацию (прежде всего, о проблемах и их носителях, функциональных и технических

возможностях культурных учреждений, материальных и кадровых ресурсах социокультурной сферы, возможностей привлечения ресурсов других ведомств и т. п.), необходимо разработать концепцию социокультурного развития региона. При этом важно учитывать, что ее создание должно носить межведомственный характер, с привлечением самых разнообразных специалистов – экономистов, юристов, социологов, культурологов, историков, географов и др. В концепции должны быть отражены основные цели, задачи и направления развития культуры, составлен своеобразный «сценарий» культурной жизнедеятельности населения, определены наиболее значимые проблемы и возможные варианты их решения, обоснованы приоритетные направления социокультурного развития, соответствующие задачи региональной культурной политики.

Важнейшим элементом концепции регионального социокультурного развития является конструирование желаемого имиджа региона, который бы представлял целостный образ соответствующей территории как уникального историко-культурного образования и выступал бы общим ориентиром для проведения региональной культуротворческой деятельности. По этому поводу О. Н. Астафьева отмечает, что стратегии социокультурного развития регионов включают и «управление имиджем, опираясь на технологии реализации проекта или сценария брендирования. В свою очередь, этот сценарий, как правило, является одним из направлений культурной политики региона, эффективность реализации которого зависит от точного определения символического капитала, который становится основой позиционирования» [4, с. 293].

На третьем этапе, перспективно-плановом, необходимо осуществить переход от общей концепции региональной культурной политики и идеальных представлений о желаемой и необходимой региональной культуре как важнейшей составляющей жизнедеятельности региона к конкретным планам и программам социокультурного развития соответствующей территории. Их реализация должна осуществляться прежде всего при помощи методов социокультурного проектирования – организационно-технологической деятельности, проводящейся с учетом политических, экономических и социальных изменений, ландшафтно-экологической обстановки, архитектурного облика, социально-инфраструктурной составляющей, этнокультурных особенностей, историко-культурного потенциала, духовно-культурной специфики населения и т. п. [см. 5].

На этом этапе социокультурные приоритеты должны быть воплощены в разнообразных региональных и локальных (местных) программах, прошедших соответствующий конкурс и получивших экспертную оценку, что необходимо для выявления альтернативных способов решения имеющихся проблем и оценки каждого проекта с точки зрения имеющихся и возможных ресурсов: инфраструктурных, финансовых, организационных, кадровых, информационных и прочих.

На четвертом этапе, практически-реализационном, должно происходить непосредственное осуществление запланированных программ и мероприятий, создание соответствующих условий и организационных структур, задействование всех возможных ресурсов. Важнейшим условием эффективной реализации

поставленных целей и задач на данном этапе является слаженное, системное взаимодействие всех субъектов региональной политики в целом, а не только культурной, ибо в противном случае желаемых результатов достичь не удастся. Ведь развитие культуры происходит в контексте всех имеющихся общественных условий – политических, экономических, социальных, демографических, правовых, идеологических и др. При этом важно сохранять ориентацию на общенациональные идеалы, ценности и интересы, соответственно корректировать проведение региональной политики в целом и культурной в частности. Как справедливо замечает по этому поводу Е. Е. Максимова, «процветание страны зависит о слаженности всех государственных структур и наличия общественного идеала, отвечающего национальным интересам» [6, с. 178].

Для успешного прохождения данного этапа необходимо проводить постоянный мониторинг эффективности, текущих результатов и проблем осуществляющейся социокультурной деятельности в целях оперативной ее корректировки и недопущения срыва воплощения соответствующих проектов и программ.

На пятом этапе, контрольно-итоговом, необходимо обобщить результаты реализованных программ и проектов с целью использования их опыта для дальнейшей социокультурной деятельности. Важно также популяризировать, освещать и обсуждать данный опыт в СМИ, осуществлять обмен опытом как на региональном, так и на национальном уровне, что позволит максимально эффективно решать проблемы социокультурного развития и задачи культурной политики.

При этом важно учитывать, что реализация социокультурных проектов и программ, проведение региональной культурной политики, формирование имиджа региона, сохранение и приумножение культурного наследия, дальнейшее развитие культуры возможно лишь в контексте стратегии регионального развития в целом и подразумевает участие в них институций и субъектов всех сфер жизнедеятельности людей соответствующей территории. Это требует тесного взаимодействия всех ведомств и служб региона с общественностью и бизнес-структурами, постоянного учета вопросов и проблем социокультурного развития в их деятельности. Как замечает по этому поводу Н. Г. Федотова, «грамотный менеджмент культурного наследия включает в себя и реализацию конкретных социальных технологий поддержки местным сообществом процесса активизации культурного потенциала. В частности, актуальным на сегодняшний день является поиск методов формирования диалога между бизнесом, культурной элитой и властью, оживление механизмов фандрейзинга» [7, с. 19].

Важнейшей технологией, позволяющей решить вопросы развития культуры на региональном уровне, является социокультурное проектирование. В основе его находятся проектный менеджмент и внедрение инноваций – как в государственную управленческую деятельность, так и в деятельность негосударственных субъектов культуры.

Большинство исследователей – зарубежных и отечественных – рассматривают социокультурное проектирование как специально организованную сферу

соответствующей деятельности, основанную на научных знаниях о способах и процедурах оптимизации культурной практики человека. Основывается эта деятельность на инновациях, прогрессивных методах управления социальными процессами в условиях растущей взаимозависимости, динамики и обновления общественных условий, она ориентирована на достижение социально значимых, конкретных запланированных результатов.

При этом важно учитывать, что социокультурное проектирование – это не только создание и описание соответствующих проектов, но и их детальная разработка и внедрение в практику. В связи с этим встает вопрос об определении механизмов управления социокультурными проектами на уровне региона как научно-теоретической основы для построения системы методов, техник, технологий практического использования полученных научных результатов субъектами государственного управления в процессе осуществления собственной деятельности и взаимодействия с негосударственными субъектами (общественными организациями, бизнес-структурами и т. п.).

При воплощении инновационных технологий в практику особого внимания требуют процессы согласования фундаментальных исследований, предлагаемых технологий с общественной потребностью в том или ином проекте. Поэтому особое значение имеет аналитико-прогностическая характеристика социокультурного проекта, связанная с созданием научно обоснованного, учитывающего реальные жизненные процессы представления о вероятных тенденциях развития объекта управления, его будущих состояниях при принятии (или непринятии) определенных управленческих решений. Это требует скоординированного, системного взаимодействия всех социальных субъектов, имеющих отношение к проекту.

Социокультурное проектирование должно предусматривать и стимулировать привлечение к реализации проекта население, творческие силы, создавать условия для установления открытого и продуктивного диалога между обществом и властью с целью оперативного и социально адекватного решения культурных проблем. И если другие проекты могут быть весьма сложными для восприятия обычных граждан, то проекты в сфере культуры являются достаточно интересными, актуальными для всех социальных сил, желающих быть причастными к жизни и развитию региона.

Каждый проект должен учитывать потребности и интересы всех заинтересованных сторон: власти, социальных групп, отдельных граждан, общественных и иных негосударственных организаций. Это способствует проявлению активности и инициативы как со стороны органов государственной власти, так и со стороны общественности. К такому поведению принуждают и особенности технологии социокультурного проектирования: ограниченность во времени, установление сроков начала и окончания проекта, конкретные ресурсы, определение цели, задач и условий осуществления проекта, системы взаимосвязей его участников и связей с внешними институциями и т. п. Это требует скоординированного, системного взаимодействия всех социальных субъектов, имеющих как непосредственное, так и косвенное отношение к проекту.

Для обеспечения максимально эффективного развития проекта нужно активно привлекать СМИ, создавать координационные экспертные советы при органах государственной власти, куда бы входили ученые, представители структур гражданского общества, специалисты в соответствующих областях жизнедеятельности социума, готовые взять на себя ответственность за разработку, научное обоснование, квалифицированную экспертизу и социальную оценку программ, проектов, общественных инициатив с точки зрения целесообразности и эффективности их осуществления.

Анализ практического опыта проектирования в сфере культуры дает возможность выделить следующие направления: организация музейного дела (реставрация, строительство, музеефикация объектов историко-культурного значения); развитие краеведческой деятельности, позволяющей фиксировать и изучать не только известные артефакты культуры, но и находить новые, мало известные; сохранение и развитие культурно-природных и культурно-исторических ландшафтов; сохранение и реконструкция памятников истории и культуры; развитие соответствующей туристской деятельности – культурного, этнокультурного, познавательного и др. туризма; создание имиджа региона как уникальной, самобытной, исторически и культурно значимой территории. Всё это позволит не только обеспечить полноценное развитие культуры в соответствующем регионе, но и использовать ее потенциал для повышения благосостояния населения, оптимизации трудовых, экологических, социальных и иных ресурсов.

При этом следует учитывать, что достижения региональных культур представляют возможности и успехи общероссийской национальной культуры, а потому развитие региональной культуры – это задача не только региональной культурной политики, но и общегосударственной.

Рассмотренные особенности и организационно-технологические аспекты региональной культурной политики позволяют придти к следующим выводам.

1. Взаимосвязь региональной и общенациональной культурной политики является стратегически важной необходимостью – без этого невозможно национальное и социокультурное единство. Особенности региональной культурной политики определяются тем, что, с одной стороны, она должна осуществляться в контексте общегосударственной, отражая общенациональные цели, ценности и идеалы, а с другой – приумножать и эффективно использовать территориальный культурный потенциал и его особенности для регионального и общегосударственного развития.

2. С технологической точки зрения региональная культурная политика представляет собой организованный процесс, состоящий из последовательных взаимосвязанных этапов: аналитико-диагностического – осуществляется всесторонний анализ социально-политической, экономической и культурной жизни региона; концептуально-прогностического, на котором исследуется и прогнозируется развитие социокультурной ситуации в определенных условиях (как наличествующих, так и измененных), а также разрабатывается концепция и общий сценарий социокультурного развития региона; перспективно-планового, на котором

социокультурные приоритеты воплощаются в разнообразных региональных и локальных (местных) программах; практически-реализационного, на котором осуществляются запланированные программы и мероприятия; контрольно-итогового, на котором обобщаются результаты реализованных программ и проектов с целью использования соответствующего опыта в дальнейшей социокультурной деятельности.

3. В современной действительности социокультурное проектирование является важнейшей технологией региональной культурной политики, так как направлено на конструирование желаемой социокультурной реальности, сочетая в себе творческое начало и решение конкретных социально значимых задач.

При этом следует исходить из того, что реализация социокультурных проектов и программ, проведение эффективной региональной культурной политики должны осуществляться в контексте стратегий регионального развития и развития страны в целом, задействовать все необходимые ресурсы, предусматривать системное взаимодействие и участие всех социальных субъектов, причастных к социокультурной жизнедеятельности региона.

Список литературы

1. Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года (утверждены Указом Президента РФ от 16 января 2017 года № 13. URL: http://docs.cntd.ru/document/420389221.
2. Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность (лекции 1–3) / О. Н. Астафьева // Культурологический журнал. Электронное периодическое рецензируемое научное издание. – 2010. – № 2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-politika-teoreticheskoe-ponyatie-i-upravlencheskaya-deyatelnost-lektsii-1-3.
3. Закон Республики Крым от 9 января 2017 г. № 352-ЗРК/2017 «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года». URL: http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/352z.pdf.
4. Астафьева О. Н. Региональная культура и культурная политика: образы и практика / О. Н. Астафьева // Альманах Научно-образовательного культурологического общества России «Мир культуры и культурология». Вып. IV. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – С. 291–308.
5. Кокорина К. А. Социокультурное проектирование в системе разработки и реализации региональной культурной политики // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 2 (39). – С. 141–143.
6. Максимова Е. Е. Культура управления как фундамент инновационных изменений / Е. Е. Максимова // Современная культурная политика как креативная деятельность: управление и инновации. Коллективная монография в 2 частях / Под общ. ред. О. Н. Астафьевой – СПб: ЭЙДОС, 2014. – С. 172–180.
7. Федотова Н. Г. Сфера культуры как стратегический ресурс региона / Н. Г. Федотова // Вестник Новгородского государственного университета им.Ярослава Мудрого. – 2011. – № 63. – С. 17–21.

Novoselskaja V.V. Regional cultural policy: organizational and technological aspects // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 142–152.

The article is devoted to organizational and technological aspects of regional cultural policy in the context of national (state) cultural policy. The purpose of the article is to examine the regional cultural policy and its features as a deliberate, organized technological process, which was suggested as a system of appropriate management actions and interrelated stages. To achieve this goal the author has set the following objectives: to highlight features of regional cultural policy in the context of national (state) one; to determine the main stages of implementation of the regional cultural policy in the organizational and technological aspect and to describe the content; to consider the social and cultural design as a special technology of the regional cultural policy.
The author noted that the national cultural policy basically solved some strategic tasks, determined national priorities and directions of development of culture in general. Regional cultural policy is provided in the context of the national cultural policy guided by goals, values and priorities. Regional cultural policy is realized in the certain area, considers some specific natural, economic, social, demographic, ethnic, etc. conditions and immediate needs and interests of the people, because it is as close as possible to the immediate creators and consumers of culture.
As a result the regional cultural policy has unprecedented opportunities for rapid and optimal solutions of the constantly emerging social and cultural issues, as well as the maximum using of cultural resources in the region for its social and economic development.
The article identified and described the main organizational stages of regional cultural policy (analytical and diagnostic, conceptual and predictive, prospectively-planned, practically-realizable, control and outcome) and corresponding technology of implementation. As a key technology to solve the cultural issues at the regional level, the article analyzed the socio-cultural projection and it is noted: the social and cultural engineering are not only considered as the creation and description of relevant projects, but also as the detailed design and implementation of socio-cultural events with the aim of constructing the desired social and cultural reality. The author also emphasized that the realization of social and cultural projects and programs, implementation of an effective regional cultural policy should be implemented in the context of regional development strategies and the development of the country as a whole, use all necessary resources to provide for system interaction and participation of all social actors involved into socio-cultural life of the region.

Key words: culture, cultural policy, regional cultural policy, socio-cultural design.

References

1. Osnovy gosudarstvennoj politiki regional'nogo razvitija Rossijskoj Federaciina period do 2025 goda (utverzhdeny Ukazom Prezidenta RF ot 16 janvarja 2017 goda № 13) [The foundations of the state policy of regional development of the Russian Federation for the period until 2025 (approved by the decree of the President of the Russian Federation from January 16, 2017, № 13)]. Available at: http://docs.cntd.ru/document/420389221.
2. Astafieva O. N. Kul'turnaja politika: teoreticheskoe ponjatie I upravlencheskaja dejatel'nost' (lekcii 1-3) [Cultural Policy: Theoretical Notion and Administration (Lectures 1–3)]. Culturological magazine. Electronic periodic peer-reviewed scientific publication, 2010, no. 2. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-politika-teoreticheskoe-ponyatie-i-upravlencheskaya-deyatelnost-lektsii-1-3.
3. Zakon Respubliki Krym ot 9 janvarja 2017 g. № 352-ZRK/2017 «O strategii social'no-jekonomicheskogo razvitija Respubliki Krym do 2030 goda» [The law of the Republic of Crimea from January 9, 2017 № 352-LRC/2017 «About the strategy of socio-economic development of the Republic of Crimea until 2030»]. Available at: URL: http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/352z.pdf.
4. Astafieva O. N. Regional'naja kul'tura I kul'turnaja politika: obrazy I praktika [Regional culture and cultural policy: images and practice]. Al'manah Nauchno-obrazovatel'nogo kul'turologicheskogo obshhestva Rossii «Mir kul'tury I kul'turologija». SPb., Center for Humanitarian Initiatives, Vol. IV, pp. 291–308.

5. Kokorina K.A. Sociokul'turnoe proektirovanie v sisteme razrabotki I realizacii regional'noj kul'turnoj politiki [Sociocultural design in the system development and implementation of regional cultural policy]. The world of science, culture, education, 2013, no. 2 (39), pp. 141–143.
6. Maksimova E. E. Kul'tura upravlenija kak fundament innovacionnyh izmenenij [Management culture as the Foundation of innovative changes]. Sovremennaja kul'turnaja politika kak kreativnaja dejatel'nost': upravlenie i innovacii. Collective monograph in 2 parts. Under the general. Ed. O. N. Astafyeva. St. Petersburg, EIDOS, 2014, pp. 172–180.
7. Fedotova N. G. Sfera kul'tury kak strategicheskij resurs regiona [Culture as a Strategic Resource in the Region]. Vestnik of Yaroslav the Wise Novgorod State University, 2011, no. 63, pp. 17-21.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 153–162.

УДК 0.08

АКСИОСФЕРНЫЕ ПАРАДОКСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИЙ 1917 ГОДА

Суворова И. М.

Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Российская Федерация

E-mail: suvormih@list.ru

Актуальность исследования обусловлена необходимостью культурологического анализа аксиологического сдвига в отечественной культуре, произошедшего вследствие свершения русских революций 1917 года. Целью работы является выявление парадоксальной сущности смены ценностных доминант, имевших судьбоносное значение для развития аксиосферы отечественной культуры. Автором используется сравнительно-исторический метод в оценке аксиологических трансформаций культуры в ходе февральской и октябрьской революций и делается вывод о ее сущностном изменении на духовном, художественном и материальном уровне. С аксиологической точки зрения в исследовании анализируется смещение с доминантных позиций отдельных политических, религиозных и экзистенциальных ценностей. Наибольшее внимание автор обращает на вытеснение с доминантной позиции экзистенциальной ценности жизни в период двух русских революций, отмечая долговременность данной аксиологической тенденции вплоть до конца XX века. На базе обширного статистического материала в исследовании делается вывод об усугублении процесса обесценивания феномена жизни и нивелировании жизни и смерти в отечественной истории и культуре XX века. С социологической точки зрения автор оценивает данную трансформацию как парадокс трансформации аксиосферы культуры в результате общественных катаклизмов, когда вместо усиления доминантной позиции в истории отечественной культуры произошло ее ослабление. Следствием данной трансформации автор выявляет парадоксальность статуса экзистенциальной ценности свободы как несоответствие декларирования советских прав и свобод и их реализации в культуре и общественной жизни. В итоге делается вывод о переломном влиянии двух русских революций 1917 года на аксиосферу отечественной культуры, которое кардинально изменило ее ценностные доминанты и определило ее дальнейшее развитие в советский период.

Ключевые слова: аксиосфера, культура, революция, ценности, аксиологические доминанты, жизнь, вера, свобода, история, кризис.

Столетний юбилей двух русских революций сегодня является бесспорным аргументом в пользу актуальности анализа этих исторических событий, качественно изменивших аксиосферу отечественной культуры. Также актуальным видится постановка проблемы ценностей в современной культуре в условиях популяризации европейских ценностей как общепризнанных и их соотношение с отечественной традицией. Культурологический подход в данном анализе предполагает выявление целого ряда следствий революций 1917 года, повлиявших на динамику развития отечественной культуры не только в XX, но и в XXI веке. Автору представляется

серьезной проблемой исследование аксиологических изменений в культуре России, поскольку «культура не есть осуществление новой жизни, нового бытия, она есть осуществление новых ценностей» [2].

Научная дискуссия относительно статуса февральской и октябрьской революций, возникшая в период перестройки, по сей день остается актуальной и по большей мере специфична для исторической науки. «При этом, говоря о кризисах, войнах, крупных социальных конфликтах и революциях в контексте изучения переходных эпох, исследователи все больше обращают внимание не столько на их непосредственную роль в процессе исторических преобразований, сколько на восприятие кризисных явлений и событий современниками» [15] и потомками. Если статус первой февральской революции относительно определен как «буржуазная, буржуазно-демократическая», а также имеет не вполне заслуженный статус «Великой бескровной Русской Революции» [7], то среди названий второй революции можно обнаружить взаимоисключающие: «октябрьский переворот» [18] и «Великая Октябрьская социалистическая революция» [9, с. 227]. Однако есть и иной взгляд на эти два события: считать их единой социальной революцией 1917 года, затянувшейся на несколько месяцев в контексте так называемой концепции единой революции [17].

С культурологической точки зрения каждая из русских революций значимо повлияла на развитие самой культуры в материальном, духовном и художественном контекстах. И в силу скоротечности событий (в пределах одного года) структурные изменения культуры (на уровне материальной, духовной и художественной) можно было бы объединить в контексте «концепции единой революции». Однако в свете аксиологического подхода к культуре автору видится принципиальная разница тех динамических изменений, которые произошли в аксиосфере отечественной культуры как следствие каждой революции в отдельности.

Если рассматривать аксиосферу отечественной культуры как синергетическую систему, то можно обнаружить, что накануне февральской революции 1917 года она находилась в состоянии диссипации под воздействием огромного количества внешних и внутренних флуктуаций. Поколебалась на своем «пьедестале» одна из древнейших для отечественной культуры ценностей – вера в царя как ключевую фигуру своего отечества, как гаранта национальной безопасности и духовной опоры.

Исторически роль русского «царя-батюшки» не только сводилась к верховному властвованию, но также предполагала защиту и проявление силы воли. Несмотря на почти вековую борьбу с самодержавием как пережитком прошлого, вера в царя, как бы заметил К. Г. Юнг на уровне коллективного бессознательного, оставалась определенной духовной опорой народа. Но «старый режим сгнил и не имел приличных защитников. Пала Священная Русская империя, которую отрицала и с которой боролась целое столетие русская интеллигенция» [1, с. 293]. Николай II не смог в полной мере сыграть заданную роль в силу психологических и морально-нравственных особенностей своей личности, а потому его отречение от власти было воспринято народом как предательство царя. Вот как оценивали эту ситуацию современники: «Верили ли подлинно в помазанничество государя составители его

манифестов? Он сам в последние месяцы своей жизни явил высокий образец религиозно-нравственного характера и жертвенного патриотизма. Но если помазанник Божий ставит эмпирическое благо народа выше своего долга перед помазавшим его Богом, то он не понимает своего долга» [6, с. 163]. С отречением от царства одномоментно рухнула не только монархия, но и вся ценностная сфера культуры на уровне политических ценностей потеряла своеобразную скрепу, доминировавшую столетиями даже в условиях критического отношения к ней. Однако у зарубежных историков встречается иная точка зрения в оценке падения самодержавия, например у М. Левина: «Искрящаяся революция, которая произошла в России в феврале – марте 1917 г., полна необычных черт. Царскую аристократию на самом деле никто не свергал: она исчезла со сцены посреди войны, без какой-либо очевидной альтернативы» [8, с. 442]. Сомнение вызывает в данной оценке и явная эмоциональность, и определенный фатализм в судьбе самодержавия. Безусловно, причины его свержения были гораздо глубже и весомее, чем элементарный фатализм. У английского советолога Э. Карра это историческое событие оценивается уже более сущностно: «Февральская революция 1917 г., свергнувшая династию Романовых, была стихийным взрывом недовольства масс, доведенных до отчаяния лишениями войны и явной несправедливостью в распределении жизненных тягот» [5, с. 75]. Данная оценка свержения самодержавия бесспорно может считаться объективной, поскольку базируется на анализе реальных исторических фактов и документов.

Современные отечественные исследователи рассматривают свержение монархии как идейный перелом в позиции либеральных сил российского общества: «Победа стихийного массового движения в Петрограде и в регионах над старым самодержавным режимом, который фактически рухнул, как подгнившее дерево, заставила либералов пересмотреть свое отношение к монархии, признав революцию “демократической”, “общенациональной” и “общенародной”». Это движение следовало возглавить, дабы оно в итоге приобрело политическую и правовую форму. Правда, уже в самом начале марта 1917 г. в газетных публикациях либеральной печати чувствовались ноты сомнения и скепсиса – давали о себе знать первые грозные признаки расползания власти и соответственно надвигавшейся анархии» [19, с. 35]. Таким образом, В. В. Шелохаев и К. А. Соловьев на основе анализа обширного историографического материала представляют позицию либералов (которые вплоть до февраля 1917 года поддерживали царя) в оценке свержения самодержавия как неоднозначное тревожное предчувствие грядущей анархии. Вероятно, по этой причине в отсутствии традиционной ценностной доминанты все дальнейшие поиски легитимной власти не увенчались успехом. А поскольку «русская буржуазная революция, требующая правового строя, была утопией, не соответствующей русским традициям» [1, с. 293], то поиски этой государственной легитимности продолжались вплоть до начала новой революции в октябре. Как свидетельствуют современные историки, «государственный аппарат Российской империи (при всех его архаичных чертах) мог стать базой для строительства, как правового государства, так и административно-командной системы. Временное правительство пыталось реализовать первый вариант.

Большевики с успехом реализовали второй» [12, с. 18]. Таким образом, Е. Н. Морозова и Д. И. Раскин утверждают, что даже после отречения царя от власти в ходе февральской революции прежний государственный аппарат мог быть адаптирован к новым условиям, более того, «вопреки расхожему тезису о сломе старой государственной машины реальная практика первых лет советского режима включала в себя, прежде всего, овладение старым правительственным аппаратом и приспособление его к задачам новой власти» [12, с. 21]. Также авторы данной позиции заявляют, что государственный «слом» являлся больше политическим лозунгом, чем реальной программой действий» [12, с. 8]. Подобное заявление больше соответствует формальному анализу проблемы смены политического режима и, как следствие, смены государственного управления, но сущностный подход к анализу этой проблематики обнаруживает ситуацию явного аксиологического кризиса власти или слома, реально состоявшегося в истории страны.

Подобный же кризис веры накануне февральской революции можно было наблюдать и в отношении собственно православной церкви, которая клеймилась позором еще с прошлого XIX века. Как свидетельствует современник событий Н. А. Бердяев: «В народе ослабели, подверглись разложению те религиозные верования, которые поддерживали самодержавную монархию» [1, с. 293]. Царившие в русской церкви пороки (пьянство, распутство и т. п.) стали притчей во языцех не только в народе, в кругах революционеров и философов, но и на полотнах художников-передвижников. То есть соотечественникам было недостаточно вербальной критики пороков церкви, но потребовалась и ее визуализация. Несмотря на организованный после отречения царя (который препятствовал данному событию) Поместный собор 1917–18 гг. как символ единения и очищения, православная церковь в период февральской революции также перестала выполнять функцию ценностной доминанты в русской культуре.

Таким образом, внутренние флуктуации в виде сверженной монархии и обличения церкви качественно изменили всю аксиосферу культуры на уровне политических, этических и религиозных ценностей.

Это трагическое изменение Л. П. Карсавин назвал «опасною болезнью “симфонической личности”, которая может привести не к новой государственности, а к смерти, к превращению народа в простой этнографический материал» [6, с. 158]. Вероятно, в таком состоянии «болезни» находилось российское общество в период между февральской и октябрьской революциями, когда определялась его судьба. «Либеральное движение было связано с Государственной Думой и кадетской партией. Но оно не имело опоры в народных массах и лишено было вдохновляющих идей» [1, с. 293]. Историками конкретно и подробно описаны все события этого этапа, проанализировано большинство причин краха Временного правительства и победы большевиков. Но с философской точки зрения можно сказать, что большевики в той драматичной ситуации проявили больше «воли к власти» и понимание того, что такое власть именем народа. «Недаром русские рабочие и русские крестьяне считают, что власть перешла к ним, и не придают значение хлесткой формуле: “не власть пролетариата, а власть над пролетариатом”» [6, с.

163]. В данном контексте декларируемые большевиками политические ценности свободы, равенства, братства оказались новыми доминантами, трансформирующими аксиосферу культуры. Однако «вместе с политическими формами народ разрушает свой социально-экономический и религиозно-нравственный уклад, расплавляя все в одном революционном потоке» [6, с. 165]. С синергетической точки зрения этот момент «расплавления» в аксиосфере отечественной культуры выглядит как пик хаоса, когда сама система находится в состоянии разбалансирования и диссипации и одновременно в ожидании фактора порядка, который выведет ее из этого состояния на путь аттрактора.

Таким фактором порядка очевидно можно признать концепт «новой государственности», выдвинутой большевиками как «власть народа: солдат, рабочих и крестьян». Так как по Платону «ближайшая к природе власть есть власть сильного» [13, с. 342], то в ситуации разрушительной революционной стихии такая власть способна утвердиться только благодаря насилию, что и произошло в русской истории в форме диктатуры пролетариата. Как утверждает Н. А. Бердяев, «по русскому духовному складу, революция могла быть только тоталитарной» [1, с. 293]. Оставим за скобками рассуждения о причинах, специфике и легитимности данной формы власти, поскольку для нас представляет интерес ее влияние на аксиосферу самой культуры.

В данном контексте очевидным следствием двух русских революций, Гражданской войны и установленной большевиками власти стала чрезвычайная по своей силе трансформация аксиосферы личности и культуры, которая обесценивала такую экзистенциальную ценность, как «жизнь». Безусловно, на процесс обесценивания жизни повлияла Первая мировая война, количество пострадавших в которой составляло более 60 % людских потерь от численности русской армии [16]. Об отношении к факту смерти и регистрации смерти в русской армии свидетельствует исторический источник: «Сведения о людских потерях российских вооруженных сил в первую мировую войну, встречающиеся в отечественных и зарубежных источниках, страдают в большинстве своем противоречивостью и разнобоем. Объясняется это прежде всего неодинаковой полнотой и достоверностью материалов, использованных исследователями, а также существенными различиями в методике подсчета потерь. В результате разница, например в количестве погибших и умерших российских солдат и офицеров, колеблется в опубликованных работах от нескольких десятков тысяч до 1–2 млн чел. В подтверждение этого факта приводим здесь ряд цифр безвозвратных демографических потерь русской армии, взятых нами из разных отечественных источников: 511 068 чел., 562 644 чел., 626 890 чел., 775 369 чел., 908 000 чел., 2 300 000 чел., 3 000 000 чел» [16]. Данная статистическая «неаккуратность» в виде «неполноты и недостоверности материалов» демонстрирует парадоксальное отношение к феноменам жизни и смерти: при их противоположной сущности они уравниваются в ценностном осмыслении, т. е. теряется собственно «благоговение перед жизнью».

Это своеобразный аксиологический парадокс в истории отечественной культуры отразился и в искусстве: плакатах, поэзии, лозунгах и песнях того

времени («Даешь красный террор!», «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!», «Положи жизнь на алтарь революции!», «Нас ждет или смерть, иль победа!», «В царство свободы дорогу грудью проложим себе!», «Домой вернемся молодцами, или геройски все умрем!»). Не менее яркими были полотна художников этого периода, которые раскрывали проблему пренебрежительного отношения к феномену жизни. Так, на полотне К. Ф. Юона (1921 г.) недвусмысленно показана картина гибели людей от «света Новой планеты» – революции; а большевик, шагающий в буквальном смысле по головам людей на одноименном полотне Б. М. Кустодиева (1919 г.), убедительно демонстрирует свое презрительное отношение к жизни «мелких людишек».

Также парадоксальное отношение к высшей экзистенциальной ценности обнаруживается и в правовом поле: смертную казнь большевики юридически отменили буквально на следующий день после своей победы, но восстановили уже через полгода.

Таким образом, большевики формализовали свое исключительное право на репрессивную деятельность по отношению к соотечественникам. Красноречивую статистику приводит в своей книге «История Советской России» Э. Карр: «Сообщения о карательных мерах ВЧК почти всегда отрывочны и ненадежны. Но существует кое-какая достоверная информация о репрессиях, которыми сопровождалось подавление множества восстаний летом 1918 г. В Ярославле восставшие продержались две недели, и, когда город был наконец взят, 350 из них расстреляли. В Нижнем Новгороде арестовали 700 «офицеров и жандармов» и местная ЧК «ликвидировала... белогвардейскую организацию, из которой арестованы почти все члены и часть расстреляна». В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. бывший царь и его семья были расстреляны в Екатеринбурге по приказу Уральского областного Совета. Когда 10 дней спустя городом овладели чехи, Уральская областная ЧК переехала в Вятку, арестовала там свыше 400 человек и расстреляла 35 «пойманных с поличным в заговорах». Когда в августе 1918 г. вспыхнуло «кулацкое восстание» в Пензе, сам Ленин по телеграфу передал указание «провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города» и советовал брать заложников, «отвечающих жизнью» за быструю и четкую доставку зерна. За этими скупыми сообщениями наверняка скрываются ужасы и жестокости, которые в пылу боя или хладнокровно совершают все партии, хотя в специальных отчетах это редко подвергается осуждению. Все эти факты, а также их преумножение, преувеличение и чистый вымысел, к которым прибегают враги, неизменно сопутствуют войне и революции такого яростного накала, каким отличалась борьба, развязанная в России событиями октября 1917 г.» [5, с. 143].

В 1919 году в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР утверждалось, что «Советское уголовное право имеет задачей посредством репрессий охранять систему общественных отношений, соответствующую интересам трудящихся масс в переходный от капитализма к коммунизму в период диктатуры пролетариата» [14]. В 1920 году Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР

от 17 января 1920 г. на короткое время смертную казнь отменили, а уже через несколько месяцев приказом Реввоенсовета Республики от 4 мая 1920 г. вернули, оформив соответствующий государственный акт в качестве «высшей меры социальной защиты». Апогея пренебрежительности к ценности жизни советская власть достигла к середине 1930-х годов в период массовых репрессий, а в итоге с «1918–1953 годы по делам органов госбезопасности были привлечены к уголовной ответственности за разные виды преступлений 4 308 487 человек, из которых 835 194 осуждены к высшей мере. И, если в сентябре 1917 года в тюрьмах бывшей империи находилось 34 000 человек, то в январе 1952 года – свыше 2 500 000 человек» [11, с. 169]. Всего, с 1825 года по 1905 год, к смертной казни в царской России было приговорено 1397 человек, казнено 894 человека [10, с. 130], а за весь советский период (с 1918 по 1990 гг.) только по политическим мотивам было казнено 828 000 человек [3]. Данная статистика красноречиво свидетельствует об обесценивании человеческой жизни в послереволюционный период.

С социологической точки зрения парадоксальность ситуации заключается в том, что, по мнению Р. Инглхарта [4], в периоды после войн, революций и общественных катаклизмов в аксиосфере любой культуры на первый план всегда выступают так называемые материалистические ценности: сохранение жизни на биологическом уровне любой ценой и обеспечение безопасности жизни. По Р. Инглхарту, эти ценностные доминанты сменяются другими (духовными и художественными), когда ценности жизни уже ничего не угрожает («когда сытые люди живут в относительном мире и спокойствии»). Но обнаруживается, что в истории нашей страны этот период пренебрежительного отношения к ценности жизни драматично «затянулся», что повлияло не только на формирование аксиосферы отдельно взятой личности, но и на аксиосферу культуры в дальнейшем.

С психологической точки зрения тенденция к обесцениванию феномена жизни настолько повлияла на личное и общественное сознание, что сформировала у граждан такие устойчивые и разноплановые психические установки по отношению к смерти: животный страх и привыкание, равнодушие и цинизм. Это в свою очередь повлекло такие общественные явления: доносительство, подозрительность и замкнутость, что в совокупности лишало личность такой экзистенциальной ценности, как чувство свободы. Парадоксальность состояла в несовпадении декларирования и реализации свободы слова, свободы передвижения, свободы вероисповедания, свободы совести в СССР. И в результате декларируемая на каждом большевистском плакате ценность свободы постепенно утрачивала свое сущностное значение в политике, праве, морали, искусстве, что, в конце концов, дискредитировало саму советскую власть.

Таким образом, в период двух русских революций 1917 года произошел кардинальный перелом аксиосферы отечественной культуры, сместивший впоследствии с доминантных позиций традиционные ценности ушедшей эпохи и обесценивший человеческую жизнь и свободу. В качестве новых аксиологических доминант были декларированы: вера в победу коммунизма, патриотизм, коллективизм, интернационализм, право на труд, право на образование и т. д. Однако не все из декларируемых советских ценностей были реальными, а

пресловутый Моральный кодекс строителя коммунизма и самими современниками воспринимался скептически в силу «удаленности от реальной жизни». И это несовпадение декларативных и реальных советских ценностей породило в результате не только скептицизм, но и цинизм, формализм и «показуху» как негативные явления социальной жизни. В итоге через семь десятков лет аксиосфера советской культуры претерпела очередной перелом и трансформацию, но уже по другому «сценарию», отличному от 1917 года. Но аксиосферный перелом в период двух русских революций оказался наиболее драматичным и даже трагичным с точки зрения потери экзистенциальной доминанты «человеческая жизнь», которая во многом определила судьбы людей и судьбу страны.

Список литературы

1. Бердяев Н. А. Русская идея / Н. А. Бердяев. – СПб: Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с.
2. Бердяев Н. А. Воля к жизни и воля к культуре // Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы / Н. А. Бердяев. – Париж: YMCA-PRESS, 1969. – 270 с.
3. Земсков В. Н. О масштабах политических репрессий в СССР. URL: http://istmat.info/node/19968 (Дата обращения: 13.07.2017).
4. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис (Политические исследования). – 1997. – № 4. – С. 6–32.
5. Карр Э. История Советской России. Кн. 1. Т. 1–2. Большевистская революция 1917–1923 / Э. Карр. – М.: Прогресс, 1990. – 763 с.
6. Карсавин Л. П. Феноменология революции // Русский узел евразийства / Л. П. Карсавин. – М.: Беловодье, 1997. – 525 с.
7. Катков Г. М. Февральская революция / Г. М. Катков. – М.: Русский путь, 1997. – 419 с.
8. Левин М. Советский век / М. Левин. – М.: Европа, 2008. – 680 с.
9. Ленин В. И. Полное собрание сочинений в 55 т. / В. И. Ленин. – М.: Политиздат, 1974. – Т. 35. – 600 с.
10. Миронов Б. Н. Социальная история России. В 2-х тт. / Б. Н. Миронов. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – Т.2. – 584 с.
11. Мозохин О. Б. ВЧК-ОГПУ. Карающий меч диктатуры пролетариата / О. Б. Мозохин. – М.: Эксмо, 2004. – 448 с.
12. Морозова Е. Н., Раскин Д. И. Становление советской государственности: использование имперского наследия в сфере центрального управления // Новейшая история России. – 2017. – №3 (20). – С. 7–23.
13. Платон. Государство / Платон. – М.: АСТ, 2017. – 448 с.
14. Постановление НАРКОМЮСТА РСФСР от 12.12.1919. «Руководящие начала по Уголовному праву РСФСР. URL: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr7311.htm (Дата обращения: 13.07.2017).
15. Репина Л. П. Опыт социальных кризисов в исторической памяти // Кризисы переломных эпох в исторической памяти. – 2012. – С. 3–37. URL: http://roii.ru/r/2/1 (Дата обращения: 13.07.2017).
16. Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование / Под об. ред. Г. Ф. Кривошеева. URL: http://demoscope.ru/weekly/2014/0623/analit04.php (Дата обращения: 13.07.2017).
17. Троцкий Л. Д. К истории русской революции / Л. Д. Троцкий. – М.: Политиздат. – 1990. – 448 с.
18. Цурганов Ю. Идея «Великой Отечественной войны» как основа советской мифологии наших дней. URL: http://www.posev.ru/files/articles/55.htm (Дата обращения: 13.07.2017).
19. Шелохаев В. В., Соловьев К. А. Либеральные оценки Февральской революции 1917 года // Новейшая история России. – 2017. – № 2 (19). – С. 33–43.

Suvorova I. M. Aksiosphere Paradoxes of Domestic Culture During Revolutions of 1917 // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 153-162.

The relevance of a research is caused by need of the culturological analysis and assessment of the changes in an aksiosphere to culture which have happened owing to fulfillment of the Russian revolutions of 1917. The purpose of work is clearing of dynamic changes aksiosphere of domestic culture at the level of valuable dominants. The author uses a comparative-historical method in assessment of axiological transformations of culture during the February and October revolutions and the conclusion about her intrinsic change at the spiritual, art and material level is drawn. From the axiological point of view in a research shift from prepotent positions of separate political, religious and existential values is analyzed. The author pays the greatest attention to replacement from a prepotent position of existential value of life during two Russian revolutions, noting long duration of this axiological tendency up to the end of the XX century. On the basis of extensive statistical material in a research the conclusion about aggravation of process of depreciation of a phenomenon of life and leveling of life and death in national history and the culture of the XX century is drawn. From the sociological point of view the author estimates this transformation as a transformation paradox aksiosphere of culture as a result of public cataclysms when instead of strengthening of a prepotent position in the history of domestic culture there was her easing. A consequence of this transformation the author reveals paradoxicality of the status of existential value of freedom as discrepancy of the declaration of the Soviet rights and freedoms and their realization in culture and public life. As a result the conclusion about critical influence of two Russian revolutions of 1917 on an aksiosfer of domestic culture, cardinally changed her valuable dominants and defined her further development during the Soviet period is drawn.

Key words: aksiosphere, culture, revolution, values, axiological dominants, life, belief, freedom, history, crisis.

References

1. Berdyaev N.A. Russkaya ideya [Russian Idea]. SPb., Azbuka-Attikus, 2012, 320 p.
2. Berdyaev N.A. Volya k zhizni i volya k kul'ture [The Will to Live and the Will to Culture]. Smysl istorii. Opyt filosofii chelovecheskoi sud'by [A Sense of History. Experience the Philosophy of Human Fate]. Parizh, YMCA-PRESS, 1969, 270 p.
3. Zemskov V.N. O masshtabakh politicheskikh repressii v SSSR [On the Scale of Political Repression in the USSR]. Available at: http://istmat.info/node/19968. (Accessed: 13.07.2017).
4. Inglkhart R. Postmodern: menyayushchiesya tsennosti i izmenyayushchiesya obshchestva [Postmodern: Changing Values and Changing Society]. Polis [Policy], 2008, no.4, pp. 6–32.
5. Karr E. Istoriya Sovetskoi Rossii [The History Of Soviet Russia. The Bolshevik revolution 1917– 1923]. B. 1. Vol.1–2. Moscow, Progress, 1990, 763 p.
6. Karsavin L.P. Fenomenologiya revolyutsii [Phenomenology of Revolution]. Russkii uzel evraziistva [Russian Site of Eurasia]. Moscow, Belovod'e, 1997, 525 p.
7. Katkov G.M. Fevral'skaya revolyutsiya [The February Revolution]. Moscow, Russkii put', 1997, 419 p.
8. Levin M. Sovetskii vek [The Soviet century] / Trans. from English V. Novikova, N. Kopelyanskoi. Moscow, Evropa, 2008, 680 p.
9. Lenin V.I. Polnoe sobranie sochinenii v 55 t. [Complete Works in 55 vol.]. Vol.35. Moscow, Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1974, 600 p.
10. Mironov B.N. Sotsial'naya istoriya Rossii. V 2-kh tt. [Social History of Russia]. St. Petersburg, Dmitrii Bulanin, 2003, 584 p.
11. Mozokhin O. B. VChK-OGPU. Karayushchii mech diktatury proletariat [All-Russian Extraordinary Commission-United State Political Administration. Punishing Sword of the Dictatorship of the Proletariat]. Moscow, 2004, 448 p.
12. Morozova E.N., Raskin D.I. Stanovlenie sovetskoi gosudarstvennosti: ispol'zovanie imperskogo naslediya v sfere tsentral'nogo upravleniya [The Formation of the Soviet State: Using the Imperial Heritage Area Central Office]. Noveishaya istoriya Rossii [Modern History of Russia], 2017. no. 3 (20), pp.7–23.

13. Platon. Gosudarstvo [The State]. Moscow, 2017, 448 p.
14. Postanovlenie Narkomyusta RSFSR ot 12.12.1919. «Rukovodyashchie nachala po Ugolovnomu pravu RSFSR. Available at: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr7311.htm (Accessed: 13.07.2017).
15. Repina L. P. Opyt sotsial'nykh krizisov v istoricheskoi pamyati [Experience Social Crises in Historical Memory]. Krizisy perelomnykh epokh v istoricheskoi pamyati [Crises Critical Epochs in the Historical Memory]. 2012, pp. 3–37. Available at: http://roii.ru/r/2/1 (Accessed: 13.07.2017).
16. Rossiya i SSSR v voinakh XX veka. Poteri vooruzhennykh sil. Statisticheskoe issledovanie [Russia and the USSR in the Wars of the Twentieth Century. The Loss of the Armed Forces. A Statistical Study]. Under. Ed. G.F.Krivosheeva. Available at: http://demoscope.ru/weekly/2014/0623/analit04.php (Accessed: 13.07.2017).
17. Trotskii L.D. K istorii russkoi revolyutsii [The History of the Russian Revolution]. Moscow, Politizdat, 1990, 448 p.
18. Tsurganov Yu. Ideya «Velikoi Otechestvennoi voiny» kak osnova sovetskoi mifologii nashikh dnei [The Idea of the "Great Patriotic War" as the Basis of the Soviet Mythology of Our Days]. Available at: http://www.posev.ru/files/articles/55.htm (Accessed: 13.07.2017).
19. Shelokhaev V.V., Solov'ev K.A. Liberal'nye otsenki Fevral'skoi revolyutsii 1917 goda [Liberal evaluation February Revolution 1917 Year]. Noveishaya istoriya Rossii [Modern History of Russia], 2017, no. 2 (19), pp. 33–43.

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 163–173.

УДК: 304.5

АНТРОПОЛОГИЯ ГРАНИЦЫ: «ОДЕЖДА ДЕЛАЕТ МОНАХА»

Шоркин А. Д.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация.

E-mail: alexshorkin@mail.ru.

В статье подвергается критике распространенное представление о границах культур, согласно этому представлению границы сводятся к внешнему контуру периферии, замыкающему ойкумену с ее ядром. Этому топографическому подходу следует предпочесть трактовку культуры как сети, сложные сплетения которой образуют субкультуры как локальные узоры порядка. Человек извлекает из мира только то, к чему приспособлены его понятийные, коммуникативные и иные сети. Он является существом, находящимся и действующим в сотканной им самим культурной паутине норм и смыслов.
Габитусы составляют не только ядро культуры, но и ее границы. Суть культуры состоит в установлении границ допустимого и мыслимого. Ни структуры, ни морфологии мира без границ не установить. Без них нет смыслов культуры. Границы инкорпорированы в причудливой топологии ее сетей, испещренных складками. Складки и габитусы позволяют определять, различать, разграничивать. Границы культур далеко не всегда вынесены в безопасную зону маргинальной периферии, большая их часть расположена внутри сетей. Двигаясь по привычным и надежным сетям, мы всегда остаемся рядом с инобытием, в тревожной близости с иной культурой. Контуры границ обрисовываются, если на них смотреть с двух сторон – изнутри данной культуры, а также извне. Граница всегда – «между»: между двумя мирами, между моими и чужими габитусами. «Своей» границы нет, она непременно принадлежит и Другому.
Для описания процессов трансграничных культурных взаимодействий в статье привлечен концепт «мембраны». Не претендуя на аналитическую строгость, мембрану можно представить как маленькое и всегда открытое отверстие, сквозь которое проходит «свет» чужих смыслов и символов, осуществляются процессы диффузии культур, заимствования и переноса. Межкультурную границу «на замок», как калитку в заборе, не закрыть. Проникающий сквозь мембраны «свет» подвержен дифракции и интерференции – как обычная световая волна, которая проходит сквозь малое отверстие в преграде или накладывается на встречную волну. Суть этих хорошо известных явлений состоит в том, что ранее однородное световое поле теперь распадается на чередующиеся участки большей и меньшей освещенности. Мир культурного пограничья странен и непривычен. Он опасен: человек не может, находясь в нем, избежать темных холодных зон, где теряется идентичность и гаснет разум. Его хронотоп составлен причудливо перемежающимися сгустками и разряжениями тьмы и света, холода отчуждения и теплоты сопричастности, сквозь которые человек пробирается в поисках новых смыслов.

Ключевые слова: границы культуры, габитус, сеть, транскультурная мембрана, пограничный хронотоп.

Французская поговорка «L‘habit fait le moine», которая вынесена в заглавие данных заметок, наверное, сослужила добрую службу многим социологам и культурологам: без ключевого концепта «габитус» их дискурс заметно бы поблек. Ряса и клобук – это нечто вполне привычное и традиционное, но также, заметим,

нечто внешнее, окутывающее. Одежда отграничивает наши тела от мира и от Других, мы регулируем процессы обнажения и облачения, а вообще без нее обходимся редко. Она, как вторая – «культурная кожа» человека, издавна не сводится к утилитарным функциям, а исполняет роль семиотического текста и покрова. Ограничен и диапазон приемлемой одежды, но, главное, любая одежда – это уже граница. Младенец сначала для обретения Я открывает границы собственного тела, а потом, в подростковом возрасте, демонстрирует найденную персону одеждой – традиционной, как прежние времена, или, как сейчас, вызывающей. Полтора столетия назад мечтой невесты было подвенечное платье ее бабушки. Но кто рискнет предложить его современной невесте?!

Итак, габитусы (в другой транскрипции – хабитусы), включая одежду (habitus), составляют не только некое центрирующее основание культуры, часто именуемое «ядром», но являются и ее границами. Распространенная пространственно-топографическая схематика культуры (на которой носители габитусов расположены в центральном ядре, подальше, на периферии – отступающие от габитусов пассионарии и маргиналы, а уже за ними – граница, за которой габитусы вообще не действуют) является иногда полезным упрощением. Однако, по сути, остается примитивной и сбивающей с толку картинкой, сопоставимой с макетом атома в школьном кабинете физики: из шарообразной красной тушки «ядра» торчат желтые палочки с голубыми маленькими шариками «электронов» на концах.

Скорее в пространственном отношении культуры похожи на сети: понятийные, образные коммуникативные и иные. На паутину, сложные и разнообразные хитросплетения которой образуют локальные узоры порядка, именуемые субкультурами. Макс Вебер и Клиффорд Гирц сравнивают человека с существом, висящим на сотканной им самим культурной паутине смыслов [4, С. 11]. Ткань культуры не только разрежена (она не имеет плотности сукна, ее фактура сродни изысканности кружев, нежной прочности узорчатой драгоценной бязи), но и скомкана в причудливой топологии, испещрена многими сгибами и складками. От Лейбница до Делеза представители герменевтики и постмодернизма полагают «складку» исходным для людей способом различать что-либо в мире, идентифицировать вещи, себя и Другого. Мы извлекаем из мира только то, к чему приспособлены наши сети, сплетаем нити слов в тексты и ловим вещи в капканы фраз, – вся наша добыча зависит от устроения сетей и капканов.

В середине паутины или в потаенности складки каких-либо зловредных насекомых нет, по ее невидимым нитям среди бездонных провалов уверенно движемся мы сами, ее строители и хозяева; но из дырок сетей и загадочного лона складок чернеет пустота. Конечно, некоторые из нитей достигают края сетей, но большая часть границ расположена внутри; двигаясь по привычным и надежным сетям, по сгибам ткани культуры, мы всегда заглядываем в пропасти инобытия. Чтобы перейти культурную границу, вовсе не обязательно быть обитателем маргинальной субкультуры, пассионариев рождает и истеблишмент. Устроение культуры совсем не такое, как топография села, в центре которого стоит церковь и сельсовет (ядро и святыни), дальше, за ойкуменой хат, – огороды (как

символическое место обитания лазающих по чужим огородам маргиналов и чучел), а за околицей (границей) – дикий лес.

Пространственные схематики культуры, если они не топографические, не «школьные», сопряжены с иной, странной топологией, где многие границы культуры проложены «внутри» ее самой. В соотнесении с нашим сознательным опытом обитателей макромира, с накопленными матрицами его образов столь непривычная данность мегамира культуры (как и бессознательных содержаний психики) зачастую, естественно, воспринимается подозрительной и парадоксальной. Да и не хочется думать, что опасные границы нашего уютного и правильного бытия не там, вдалеке, за околицами, где живут «всякие не такие правильные как мы» маргиналы, а где-то рядом. Как трещины на леднике, коварно прикрытые от альпиниста корочкой наста. Ничем иным я не могу пояснить, отчего с такой настойчивостью продолжаются топографические поиски «ядра» и «периферии» культуры, но гораздо реже – ее, скажем, ключевых инвариантных смыслов, вариаций стратагем, культурных кодов и отклонений от них. Желаем мы того или нет, границы всегда рядом, оступиться и соскользнуть в их трещины – проще некуда. Один неверный шаг, – и ты на краю мира.

Излюбленное сравнение Ницше человека с канатоходцем над пропастью, однако, романтически и недостоверно драматизирует реальность. Приграничное бытие, вопреки оценкам многих философов, вовсе не всегда трагично. Прежде всего, оно нормально, другого у нас нет. Большинство людей живут, уверенно двигаясь по «нитям» культуры, их укрепляя и используя. Через «трещины» они не ходят, «складки» огибают – движутся по проторенным путям. Ни в какие пропасти не заглядывают, ибо о них и не ведают. Совсем не трудно пройти по широкой доске, когда она лежит на земле, страшно, а потому и рискованно – когда доска переброшена через шахту лифта. По толстенным «канатам» Ницше мы передвигаемся так, будто они лежат на земле, с уверенностью скользящего по паутинке паука. Подобно хозяйственным муравьям, мы, как правило, спокойно снуем по стеблям культуры.

Есть, конечно, и другие люди, о провалах и пропастях знающие, и даже те, призвание которых состоит в поиске предательски скрытых трещин. Им труднее, ведь во всякой мудрости многие печали. И все же не только скорбь и трагическое мироощущение сопутствует этим специальным поискам. Среди занятых ими художников и ученых – гораздо больше оптимистов, напряженными творческими усилиями которых сеть культуры растет и перестраивается, становится более надежной и совершенной. Трагизм Босха, Баха или Врубеля – только одна из многих нот и красок в жизнеутверждающей партитуре музыки и на многоцветной палитре живописи. Среди литераторов пессимистов больше, ведь грязь нашей (хоть прошлой, хоть настоящей) жизни ясно видеть надобно, чтобы она чище стала. Хотя некоторые ее смакуют и предрекают мрачное будущее. Конечно, так проще получить скандальную известность и умным прослыть: сбудется, так «а я ведь предупреждал», не сбудется – так никто ведь и не вспомнит об ошибочности былых предсказаний. Кроме того, картина все время перед глазами, музыка – на слуху, а книжку – закрыл, о тревожном ее содержании только память напомнить сможет.

Поэтому в книжках больше пессимизма можно допустить. Но разве произведения Аристофана, Рабле или Данте характерны трагическим мироощущением? Комедии, особенно в кино, – жанр более популярный, чем трагедии. Смеховая культура неустранима, она проникает даже в строгую объективность научного поиска. Известный биолог и методолог А. А. Любищев, в 20-х годах – ассистент Таврического университета, педантично, с точностью до минут, хронометрировал режим всей своей жизни. Что не помешало ему как-то заметить, что «наука – баба веселая, паучьей серьезности не терпит».

Итак, складки и габитусы культуры – это то, что позволяет человеку разграничивать, различать. Без этой способности нет не только культуры, но и вообще жизни: раздражимость, коей обладали микроорганизмы уже миллиарды лет назад, состоит в генетически закрепленной избирательной реакции на среду, в умении отличить в ней полезное для себя – от ненужного. Растения еще не отличают опасного от безопасного, но разница эта хорошо известна, многократно испытана «на своей шкуре» всяким насекомым и животным. В дополнение к тому, что ранее уже вбито в генетические коды, люди установили разницу между сакральным и профанным, между достоинством и унижением. Без подобных границ (между прекрасным и безобразным, между истиной и заблуждением и многих иных) попросту невозможны те ключевые оппозиции, на которых только и зиждется культура.

С появлением речи содержания понятий (то есть суть вещей, которые мыслятся в понятии) раскрываются логической операцией определения. Ею устанавливаются существенные признаки, которые позволяют различать вещи и без которых вещь перестает быть собой. Вслушиваясь в тайную мудрость естественного языка, на время испортим привычные слова дефисами: «о-пределение», «со-держание». Определить понятие, как подсказывает нам язык, – это значит установить его предел. Ни структуры, ни морфологии мира без границ не установить. Что может психика «со-держать» и «у-держивать» вне замкнутых контуров границ, маяков пограничной «о-черченности», «о-пределенности»? Свет смыслов тускнеет и мерцает все реже, когда границы расплываются и стираются. Он гаснет, когда границы исчезли, – и тогда уже нет никаких различий между прекрасным и «без-образным», между устремленностью и «без-различием». Угасает культура, угасает психика. Человек возможен лишь постольку, поскольку он способен устанавливать различия, охранять границы своей культуры. Пренебрежение ими Ф. М. Достоевский считал «бесовщиной».

Разве не такие нужные границы мы подразумеваем в предостерегающих выражениях «ты перегибаешь палку», «зашел слишком далеко», «не знаешь меры»? Возможно, меры действительно не знает только одно исключительное, но, увы, нередкое людское качество – глупость.

Безбрежный океан устрашает мощью и безжизненностью своей безграничности и пустынности. За пределами щедрых шельфов, где он встречается с сушей, в его бескрайних далях рыба почти не водится. Такова и пустыня: чем дальше и недоступнее границы, тем в ней все более пусто (потому и «пустыня»), тем труднее там выжить и зверю, и человеку. Пустынь отшельника поглощает соблазны

различий, избыточные содержания исчезают, когда их некому и незачем удерживать, смыслы съеживаются и заостряются до единственного абсолюта. Пустота становится культурным пространством только наличием границ. Альбер Камю рассказывает о «мертвом городе» Джемила, из которого «никуда не попадешь» и у которого «нет округи». Там стихии останавливают время, срывают с человека оболочки культурных смыслов, отрешают человека от самого себя, неумолимо истощают и поглощают его. Вместе со смертью прошлого и будущего там «умирает дух» [5, С. 529].

Мы, однако, скорее не знаем, а угадываем смыслы культуры, продираясь сквозь джунгли их всевозможных интерпретаций. Клиффорд Гирц в известной методологии «насыщенного описания» настаивает на необходимости всестороннего учета и построения вариантов координации таких интерпретаций. Но нахождение «общей почвы» есть «занятие изматывающее и никогда не бывающее вполне успешным» [4, С. 21]. Тонкость разграничений в этом случае ценнее широты абстракций. Попытки построения аналитически строгой карты Континента Смыслов, таков контекст рассуждений автора, дадут лишь его спекулятивно сухой и безжизненный ландшафт. Смыслы без наличия границ – такая же пустая абстракция, как и наивный примитив топографической их жесткости. Контуры границ вырисовываются и обретают четкость, если на них смотреть с разных сторон, не только изнутри, но и извне, снаружи. Границы рождаются в столкновении габитусов и оценок, в схватке интерпретаций. «Своей» границы нет, она всегда принадлежит и Другому.

«Если нечто определено как предел, – пишет об этом одним из первых Гегель, – мы тем самым уже вышли за этот предел» [3, С. 116]. В метафизике границы данное важное обстоятельство традиционно именуется «трансгрессией». М. Хайдеггер предпочитает говорить об «экстатичности своего бытия». Однако в связи с тем, что в подобных дискурсах постулируется наличие «тотально сущего», как-то блекнет, мельчает и уходит на второй план различие между тем, что люди изменяются с течением времени, и тем, что и в любом синхронном его срезе люди и культуры разительно отличны. «Мы», о которых говорят метафизики, поглощает и одно, и другое. А жаль, потому что исходный вклад в конституирование границы вносят именно синхронно сосуществующие Я и Другой.

Хронотоп культуры и человека, разумеется, также открыт в диахронном измерении, в котором только и можно проследить приобретения и изъяны времени: непростые коллизии становления и развития новшеств, утраты и восстановления прежних культурных достижений. Напомним, что, по А. Камю, в пустоши мертвого города личность гибнет вместе со смертью времени, которое там застывает в настоящем. Культура больше, чем топос, культура, на чем правильно настаивал М. М. Бахтин, – это хронотоп. Топос культуры не прибить гвоздями, как и текущую реку, но ее хронотоп всегда сопряжен с ограничениями, хотя бы с неустранимой границей конечности человеческих жизней. Вновь и вновь воспроизводит себя культура в каждом родившемся ребенке. Да и разве известна хоть одна какая-нибудь культура, идущая от начала времен? Известны исчезнувшие цивилизации. Меняются люди, меняется мир. Но прежде чем выстраивать понимание того, как

растет и отцветает культура, необходимо констатировать само ее наличие в виде синхронно сосуществующих конкурирующих габитусов.

Дискурс же умозрительного философствования здесь лишь соскальзывает в содержательно глубокую древнюю колею, проторенную от Парменида и Гераклита. Изменчивость или константность бытия, «апейрон» или «пейрос», диалектика или метафизика? Ж. Деррида на этот счет вообще оставляет жалкий выбор: либо фиксировать собственную идентичность, либо стать симулякром, утонуть в бесконечном становлении, в «игре восполнений». Глубокие вопросы о том, как «нечто» возникает из «ничто», как возможно «единичное» (уникальное) в тотальности «всеобщего», как «А» становится «не А» там, в метафизике, носят спекулятивный характер; тонкие рассуждения выстраиваются в архаичной изоляции от эмпирических данных, от фактов. Жонглирование словами и высокопарная, отдающая манией величия стилистика, отталкивает, например, Юнга – от Гегеля [9, С. 18–20], Теодора Адорно – от Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса [1].

Но поднятые метафизиками вопросы не перестают оставаться глубокими. В претенциозном кружеве слов, скорее всего, упакованы пока невостребованные нужные смыслы. Они могут извлекаться оттуда по мере построения новой методологии и философии науки, в том числе в ходе становления теории культуры. Без обращения к современным тенденциям и результатам науки метафизика, однако, рискует превратиться в малосвязанные эзотерические дискурсы, адепты и неофиты которых красиво щебечут на своих птичьих языках, непонятных для остальных.

Разве, например, привлекла нужное внимание метафизиков синергетика, которая сегодня обоснованно претендует на статус основы научной картины мира XXI века? А ведь в ней содержатся эффективные, проверенные на практическом опыте модели решения некоторых ключевых тем метафизики: проблем соотношения необходимости и случайности, стандартной закономерности, которой подчинены вещи, и их неустранимой уникальности. Удивительно, как можно игнорировать, что среди многих тысяч листьев одного дерева нет двух одинаковых или что в стандартных закономерностях кристаллизации каждая из триллионов снежинок имеет свой уникальный узор! А ведь в синергетической картине мира такова вся природа, она – и типична, и уникальна. Похоже, нужно научиться замечать вещи мира (такие, как снег или деревья), чтобы иссушенные абстракции метафизиков укоренялись в природной почве и приносили осязаемые плоды.

Словом, метафизика границы пока не дает нужной методологии для построения антропологии границы. А распространенные представления о границе сводят ее к внешнему контуру, замыкающему ойкумену с ее ядром. Как забор вокруг палисадника. Но как возможны границы субкультур внутри «палисадника культуры»? Тоже «заборы»? Но тогда каким образом в нем умудряется свободно и комфортно передвигаться любой человек, который всегда встроен в великое множество субкультур?

Конечно, «забор» – это некоторая метафора препятствия, преграды, барьера, фиксации предела. Чем же граница является на самом деле? По моему мнению, более уместным концептом здесь может служить «мембрана». Забор мертвый и

глухой, через него можно только перепрыгнуть. Транскультурная мембрана живет, дышит, сквозь нее зачастую можно легко проникать, но она способна переходы ограничить или заблокировать – смотря кто (или что) стучится в ее двери. Таковы биологические мембраны, без которых невозможна жизнь. Сквозь культурные мембраны проходит в своем развитии человек, взаимодействуют культуры и субкультуры. «Заграница нам поможет», если мембрана позволит. Изъяны мембран стараются исправить, иногда их, по неразумению или злой воли, наоборот, провоцируют. Но интенсивное движение сквозь них никогда не прекращается. В текстах герменевтики прочность предрассудка обрело утверждение, что понимание достигается посредством диалога «поверх» границ. Вовсе не поверх, а сквозь границы мы проникаем, когда хотим друг друга понять, наладить взаимодействие! Как невозможно, развиваясь, двигаться поверх времени, а только сквозь него. Прыжков «через» в хронотопах культур не существует.

Когда культуры сталкиваются в схватке, мембраны общих границ почти наглухо закрываются, а вокруг них образуется «ничейная полоса» – то есть дикое (лежащее вне культур) поле. Ценой за попытку прохождения ничейной полосы, как на войне, является жизнь. В экзистенциальном конфликте эту высшую цену, однако, соглашаются заплатить, чтобы мембраны взломать, сокрушить. По такому же сценарию проходят межличностные экзистенциальные конфликты: чтобы добраться до врага, нужно одичать самому, пересекая дикое поле (wilderness). Но, сокрушив противника, уже никогда не останешься прежним. Бескомпромиссная борьба за собственную идентичность способна привести к ее утрате вследствие победы, когда пограничные мембраны повреждены: ведь они всегда настолько же свои, насколько – чужие и враждебные.

Люди от начала времен беспрестанно воюют друг с другом, маргиналов подвергают обструкциям, а старые поколения недовольны новыми. Но все же экзистенциальные конфликты с мощью их необратимых деструкций в долгой истории человечества сводятся к немногим исключениям. «Схватками цивилизаций» скорее пугают, «чтобы неповадно было». Обычные, массовые и типичные кросскультурные взаимодействия, а также межличностные контакты и персональные процессы развития протекают в иных, более мягких, спокойных, хотя и конкурентных режимах. Зоны (что Шенгенская, что для заключенных) стандартно отграничены мембранами, устанавливающими те или иные режимы пропуска людей и технологий, мифологем, товаров и денег. Кто и на каких условиях ее «топчет» и «греет». Вслушаемся опять в язык: совсем разные социальные и культурные конгломераты отграничены нами стандартно именуемыми «зонами», «режимами». Транскультурные мембраны здесь работают избирательнее, получение пропуска обычно не требует непомерной цены жизни. Границы стран закрываются «на замок» или «железным занавесом» не от всех и не от всего, а только для всяких диверсантов и прочих вредоносных влияний. В конце девятнадцатого века нищий художник из России мог пешком, не ведая никаких виз, отправиться в Италию. Политические карты национальных государств появились после 1630 года.

Возможно, быстро набравшая сакральное значение топографическая фиксация национальной государственной территориальности и послужила предтечей

ущербной пространственно-топографической схематики культуры. Но, заметим, фактически границами разделены не сами государства, а страны, в которых действует государственная юрисдикция. Отнюдь не общества с их многими заграничными анклавами, межличностными связями. И тем более не культуры с их неустранимой, как доказал Франц Боас, диффузией, без которой они вянут и усыхают. Реальная жизнь регламентируется установлениями принципиально разного рода. Среди них обязательные для исполнения государственные законы и подзаконные акты составляют лишь условия реализации устремлений, вызванных совсем иными, негосударственными культурными потребностями, ориентирами и смыслами.

Проникающий сквозь транскультурные мембраны свет смыслов подвержен дифракции и интерференции – как обычная световая волна, которая проходит сквозь отверстие в преграде или накладывается на встречную волну. Суть этих известных природных явлений состоит в том, что ранее однородное световое поле теперь распадается на чередующиеся участки большей и меньшей освещенности. Возникают темные полосы или концентрические круги и пятна, а рядом – светлые и яркие, где белый скучный свет способен обернуться сочным цветом.

Мир культурного пограничья странен и непривычен. Он опасен: ты не можешь, находясь в нем, избежать темных холодных зон, где теряется идентичность и гаснет разум (ну что делать, нет там никакого света). Но рядом – и спасительная теплота яркости (иногда даже интенсивнее и разнообразнее приевшейся «белизны» привычных габитусов), где разум крепнет, а идентичность обогащается. Он – не шахматная доска, через черные клетки которой можно и перепрыгнуть. Его хронотоп составлен причудливо перемежающимися сгустками и разряжениями тьмы и света, холода отчуждения и теплоты сопричастности, сквозь которые (опять-таки, не «через») человек пробирается в поисках новых смыслов, то и дело оказываясь в сумрачных зонах.

«Мысли с неба» способны, согласно Милораду Павичу, «завеять меня как снег» так, что потом едва удается «согреться и вернуться к жизни» [7, С. 234]. А М. М. Бахтин в его последней работе отмечает «теплоту любви и холод отчуждения», свойственные моменту противопоставления «своего» – «чужому» [2, С. 361]. У того, кто отважился ступить в мир пограничья, разум и неразумие вступают, показывает М. Фуко, в опасную связь. Wilderness (дикое поле фронтира) порождает, вновь вслушаемся в язык, wildered («недоумение»). В сумерках и всполохах света идентичность «странника», конечно, становится «странной», начинает мерцать, временами наполняясь новым светом смыслов или угасая. Но и Сова Минервы вылетает только в сумерках.

Гертруда Стайн с подкупающей честностью говорила, что identity автора (его «идентичность», «узнаваемость», а не «самость», как дано в переводе) не имеет к созданному им шедевру «никакого отношения» [Цит. по: 8, С. 169]. Аналогично, показывает Е. В. Петровская, Герман Мелвилл размышляет: как юмор и любовь (какой уж тут, кстати, пессимизм) препятствуют печальной участи утраты identity при попытке достичь неизведанных глубин. Отважный ныряльщик, умелый и осторожный, поначалу осваивает меньшие (чем предельная) глубины. Он

периодически всплывает на дискурсивную поверхность родных габитусов, окрашенную любовью и юмором; глубина его погружений, возрастая, «пульсирует» [8, С. 80–82]. Подмеченные «пульсации» – от поверхности эго к его утрате – поясняются в нашей модели дифракционным мерцанием света и тепла культурных смыслов в хронотопе пограничья. Похоже, авторы наиболее значительных культурных достижений расплачиваются за то, что они создали хотя бы частью собственной прежней идентичности. Оттуда, из дальних странствий в приграничье, они возвращаются иными, а с ними приходят и поправки в хронотоп. Как когда-то, в стародавние времена мифа из поиска за Золотым руном: «Одиссей возвратился, пространством и временем полный» [6, С. 104].

Подводя итоги, вспомним, что в античные времена рабы часто именовались названиями используемых ими инструментов: «эй, Весло, иди сюда». Как хорошо люди всегда были осведомлены о проверенных опытом границах применения всех без исключения ими созданных артефактов, что даже могли так простодушно и кощунственно переносить эту разграничивающую классификацию на себе подобных! Без способности различать разные растения и множество животных человечество просто не смогло бы выжить. Без тонких разграничений процессов и структур неорганической природы не сложились бы даже первобытные практики построения культурных ландшафтов. Суть культуры, таким образом, состоит в установлении границ существующего, допустимого и мыслимого. Без них нет смыслов культуры. Они не только составляют внешний контур культуры, но, главное, инкорпорированы в топологии ее «тела», в устроении тонких и разветвленных коммуникативных и субкультурных сетей.

Границы культуры не отгораживают свою территорию, подобно глухому забору, а представляют собой чувствительные транскультурные мембраны, которые способны и блокировать нежелательное, и беспрепятственно пропустить нужное. Непроницаемая и неподвижная граница культуры рано или поздно превращает ее идеалы в идолов. Тогда она костенеет, перестает справляться с новыми вызовами и гибнет. Удел культур – дерзость перемен, сокрушение стесняющих движение границ при бережном, однако, отношении к сокровищу традиций. Их развитие состоит не в абсурдном и слепом отказе от границ, а в установлении новых. Пограничные разметки территории культуры, за которые нельзя заходить, человек то и дело пересекает – из нужды, любопытства, азарта, упрямства и многих прочих мотивов. На протяжении всей истории они также то и дело самонадеянно передвигаются группами людей, полагаются «фронтиром» (Ф. Д. Тернер) – краем правильной и развитой цивилизации, которая усилиями общества расширяется, наступая на «отсталые» (или испорченные) культуры.

Сегодня мы наблюдаем процессы начала спада Западного фронтира трех последних столетий и попытки восстановления фронтира Исламского халифата. Самоуверенное продвижение фронтиров с давних времен и до настоящего времени, конечно, отчасти способствовало переносу и распространению нужных людям технологий и смыслов. Но каких неприемлемых издержек всегда это стоило, разве не крахом и не последующим смирением заканчивались в истории подобные, мягко говоря, нескромные притязания? Коллективная стратегия фронтира прямолинейна и

энергична, этим она сильна, поэтому востребована. Но она, повторим, лишь грубо навязывает, а не созидает культурные достижения.

Творческое же их созидание вызревает в приграничных зонах персональными усилиями. Там, где свет символов и значений перестает быть привычным и однородным, в причудливых перепадах его странного теплого сияния и сумрачной холодной тусклости, – ибо так устроены транскультурные мембраны, создающие дифракционный эффект. Культура прирастает воображением и талантом личностей, которые отважились погрузиться в неведомый мир пограничья даже ценой реальной угрозы потери собственной идентичности. Для отдельного человека не только утрата идентичности, но и всякий резкий ее сдвиг редко оказывается желанным даром, скорее, такие перемены нежелательны, болезненны и даже трагичны. Но такова плата за развитие культуры (и, соответственно, за появление нового человека), которая отнюдь не метафорически, а в самом прямом смысле является способом бытия человека. Или кому-нибудь нужно, чтобы мы до сих пор сохраняли нашу первобытную, в те архаичные времена нормальную, а ныне почти утраченную идентичность каннибала?

Список литературы

22. Адорно Теодор. Жаргон подлинности. О немецкой идеологии / Теодор Адорно. Пер.: Е. В. Борисов. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. – 191 с.
23. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук / М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 361–373.
24. Гегель Г.-В. Ф. Наука логики / Г.-В. Ф. Гегель. – СПб.: Наука, 2005. – 800 с.
25. Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры / Клиффорд Гирц. Интерпретация культур // Пер с англ. – М.: РОССПЕН, 2004. – С. 9–42.
26. Камю А. Ветер в Джемила / Альбер Камю. Избранное // Пер с фр. – М.: Прогресс, 1969. – С. 529–534.
27. Мандельштам О. Э. Стихотворения / О. Э. Мандельштам. – Ленинград: Издатель «Советский писатель», 1978. – 336 с.
28. Милорад Павич. Хазарский словарь / Павич М. – СПб: Азбука, 1998. – 383 с.
29. Петровская Е. В. Часть света / Е. В. Петровская. – М.: Ad Marginem, 1995. – 175 с.
30. Юнг К. Г. О природе психе / К. Г. Юнг. – М.: Рефл.-бук. Киев: Ваклер, 2002. – С. 7–95.

Shorkin A.D. Anthropology of the Border: "Clothes Make the Monk" // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 163–173.

The article criticized the common views about the boundaries of cultures, which reduce them to the outer contour of the periphery, to the closing of the ecumene with its nucleus. This topographical approach is to be preferred to the interpretation of culture as a network, a complex web which forms a subculture as local patterns of order. A person draws from the world only what suits his conceptual, communication and other networks. He is being located and acting in the woven web of cultural norms and meanings.

The habitus is not only the core of the culture, but also its boundaries. The essence of culture consists in the establishing the boundaries of the acceptable and the conceivable. Neither the structure nor the morphology of a world without borders can not be installed. There is no sense of culture without them. The borders are incorporated into the bizarre topology of its networks, riddled with folds. Folds and habitus allow us to determine, to distinguish, to differentiate. The boundaries of cultures are not always delivered in a safe zone of a marginal periphery, most of them are located inside the networks. Driving on familiar and reliable networks we always remain close to otherness, in alarming proximity with another culture. The contours of the borders are drawn, if you look at them from two sides from within the culture as well as from the outside. The border

is always "between": between two worlds, between my and other people's habitus. There is no «your» border, it certainly belongs to Another.
To describe processes of cross-border cultural interactions the concept of "membrane" is brought in the article. No pretension to analytical rigor, the membrane can be thought as small and always open hole through which the "light" of other people's meanings and symbols passes. Intercultural border, "the castle" can not be closed as the gate in the fence. Penetrating through the membrane "light" is a subject of diffraction and interference as an ordinary light wave, which passes through a small hole in the barrier or is superimposed on the oncoming wave. The essence of these well known phenomena is that a previously homogeneous light field now breaks up into alternating sections of greater and lesser light. The world of the cultural borderland is strange and unusual. It is dangerous: a person may not avoid the dark cold areas where identity is lost and the mind goes blank. Its chronotope is made up of fancy interspersed clots and rarefactions of darkness and light, cold and distance, the warmth of belonging through which a man wades in search of new meanings.

Keywords: the borders of culture, habitus, network, transcultural membrane, the border chronotope.

References

1. Adorno Teodor. Zhargon podlinnosti. O nemeckoj ideologii [The Jargon of the Authenticity. About German Ideology]. Moscow, «Kanon+» ROOI «Reabilitacija», 2011, 191 p.
2. Bahtin M.M. K metodologii gumanitarnyh nauk [To the Methodology of Human Studies]. Moscow, «Iskusstvo», 1979, pp. 361–373.
3. Gegel' G.-V. F. Nauka logiki [The Science of Logic]. SPb., Nauka, 2005, 800 p.
4. Girc K. «Nasyshhennoe opisanie»: v poiskah interpretativnoj teorii kul'tury [Thick Descriptions Toward an Interpretive Theory of Culture. The Interpretation of Culture]. Moscow, ROSSPEN, 2004, pp. 9–42.
5. Kamju A. Veter v Dzhemila [The Wind in Jemila]. Moscow, Progress, 1969, pp. 529–534.
6. Mandel'shtam O.Je. Stihotvorenija [The Poems]. Leningrad, «Sovetskij pisatel'» publ., 1978, 336 p.
7. Milorad Pavich. Hazarskij slovar' [The Hazarian Dictionary]. SPb, «Azbuka», 1998, 383 p.
8. Petrovskaja E. V. Chast' sveta [The Part of the World]. Moscow, Ad Marginem, 1995, 175 p.
9. Jung K.G. O prirode psihe [About the Nature of Psyche]. Moscow, Refl.-buk. Kiev, Vakler, 2002, pp. 7–95

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 174–189.

УДК: 008:(821.112.2+94(3))

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ «И ЦЗИН» В РОМАНЕ Г. ГЕССЕ «ИГРА В БИСЕР»

Элькан О. Б.

Крымский университет культуры, искусств и туризма., г. Симферополь, Российская Федерация.

E-mail: elkanolga@gmail.com.

Статья посвящена изучению влияния восточной философии на творчество Г. Гессе. «Восток», как и «игра», входит в число магистральных мотивов во всём творчестве Гессе. Особенно ярко этот метасимвол представлен в романе «Паломничество в страну Востока», обычно рассматриваемом как «пролог» к «Игре в бисер».
Влияние Востока обусловлено биографией автора, многолетней связью его семьи с Индией. Несмотря на это, творчество писателя демонстрирует наиболее существенное воздействие не столько индийской, сколько китайской философской и религиозной традиции. Автор статьи выделяет следующие факторы данного «парадокса»: 1) путешествие молодого Гессе в Индию, сильно его разочаровавшее; 2) личность и труды друга Гессе, выдающегося немецкого синолога Рихарда Вильгельма. В первую очередь это касается наиболее важной для Гессе книги – «И Цзин».
Влияние И-Цзин и других древнекитайских произведений на гессевский роман «Игра в бисер» рассматривается в двух аспектах: внешнем (нарративном) и внутреннем (И Цзин рассматривается как семиотическая система, во многом сопоставимая с «Игрой в бисер»). Обнаружено, что последовательность гексаграмм № 12, 11 соотносится не только с содержанием и структурой «Жизнеописания Йозефа Кнехта», но и с процессом духовной и творческой эволюции самого писателя.

Ключевые слова: культура, Древний Восток, «И Цзин», Г. Гессе, «Игра в бисер», гексаграмма.

Статья продолжает ряд публикаций, посвященных культурологическому анализу романа Г. Гессе «Игра в бисер»: изучена ономастика «говорящих» имен собственных [1], рассмотрены основы музыкально-литературного синтеза произведения [2].

Цель настоящего исследования – определить причины и пути влияния древнекитайского философского текста «И Цзин» на творчество Г. Гессе.

Задачи:

– установить причины творческого интереса немецкого писателя к «восточной» теме;

– определить приемы, использованные Гессе для репрезентации положений китайской философии в прозе;

– систематизировать идеи современников о возможности соотнесения «матрицы» гексаграмм И Цзин с текстом романа «Игра в бисер» (С. Аверинцев, Р. Вильгельм, Ю. Гутерман, Р. Каралашвили, Ю. Щуцкий).

«Восток» входит в число магистральных мотивов всего творчества Германа Гессе. Истоки колоссальной роли, которую играет в творчестве Гессе философская

и религиозная мысль древнего Востока, следует искать не только в его собственной биографии, но и в биографии его предков. Отец писателя, Иоганн Гессе, некоторое время провёл в Индии в качестве протестантского (пиетистского) миссионера. Намного дольше жил в Индии дед Гессе по матери, Герман Гундерт, завоевавший высокий авторитет не только своей миссионерской деятельностью, но и научными изысканиями: так, им был составлен первый англо-малаяламский словарь, высоко оцененный индологами и лингвистами [3]; в Индии родилась и его дочь – мать Г. Гессе Мария. Уже в Кальве в шкафу у деда хранились вывезенные из Кералы сувениры – статуи индийских божков, безделушки и различная утварь, – образы которых Гессе пронес через всю жизнь: «еще задолго до того, как я выучился читать и писать, они до такой степени переполнили мое существо первозданными образами и мыслями страны Востока, что позднее я переживал каждую встречу с индийскими и китайскими мудрецами, как свидание со знакомцами, возврат в родной дом…» [4. С. 25]. Сам дед, не только владеющий всеми этими «волшебными» вещами, но и умевший говорить и писать на пали и санскрите и знавший множество чудесных восточных историй, мальчиком воспринимался не иначе как «тайновед, посвященный, мудрец» [4. С. 25]; стремление достичь подобного уровня также сопутствует ему в течение всей дальнейшей жизни.

Именно желанием подкрепить детские впечатления собственным опытом объясняется «паломничество в страну Востока», предпринятое Германом Гессе в 1911 г. вместе с близким другом, художником Гансом Штурценеггером, будущим прототипом героя романа «Росхальде». Тогда же был издан восточный дневник Гессе Aus Indien, иллюстратором которого также выступал Штурценеггер. Название сборника не совсем точно передаёт его содержание: до «родной» для Гессе Индии молодые «паломники» так и не добрались, ограничившись Шри-Ланкой, Малайзией и Индонезией. В целом путешествие скорее разочаровало Гессе, не сумевшего найти на Востоке страстно чаемые мудрость, полноту жизни, медитативное созерцание. Тем не менее самому идеалу Гессе никогда не изменил, стремясь воплотить его в собственных книгах: новеллы «Легенда об индийском царе», «Король Ю», романы «Сиддхартха», «Паломничество в страну Востока», «Игра в бисер».

Влиянию восточной мысли на творчество Гессе и, в частности, проявлениям этого влияния в «Игре в бисер» посвящен уже солидный массив академической литературы, в том числе отечественной, в рамках которой следует особо отметить работы Р. Г. Каралашвили [5], [6], Ю. О. Гутерман [7], Е. А. Лебедевой [8], Н. А. Нагорной [9]. Однако обратим внимание на парадоксальный аспект проблемы: несмотря на подчеркиваемые «индийские корни» Гессе, его творчество постоянно демонстрирует наиболее существенное воздействие не столько индийской, сколько китайской философской и религиозной традиции.

По нашему мнению, наибольшее воздействие на Гессе и его великое произведение оказало, безусловно, произведение «И Цзин», или «Книга перемен» (в более точном переводе – «Канон перемен»). «Астральный смысл знаков бытия, сопряжённость Неба и Земли, музыкальный смысл мира поначалу ещё опосредованно (в “Степном волке”), а позднее и непосредственно (в “Игре в бисер”)

связаны у Гессе со всё более глубоким пониманием “И Цзина”, с естественным включением открытых там истин в контекст европейской культуры» [10. С. 88].

В рамках этого воздействия можно выделить два аспекта: «внешний» (нарративный, связанный с развитием сюжетной линии) и «внутренний» («И Цзин» как семиотическая система, во многом сопоставимая с «Игрой в бисер»).

Рассмотрим сначала первый из этих аспектов.

Знакомство с И Цзин и его глубокое изучение играют важную роль в духовном становлении героя. Кнехт уже «на втором году своего пребывания в училище начал всё больше интересоваться “И Цзин”, “Книгой перемен“» [11. С. 102]. Эта книга сопутствует ему на самых важных этапах его биографии. Закончив школьное обучение в Вальдцеле и получив вместе с другими «свободу самостоятельно выбирающего предмет занятий» [11. С. 94] студента, он глубоко погружается в «изучение китайского языка и классики» [11. С. 100]. Чтобы пополнить свои знания, он отправляется к легендарному отшельнику, прозванному «Старшим Братом», – признанному мастеру «И Цзин», каллиграфии и расшифровки древних рукописей. Европеец, влюбленный в китайскую культуру, создал в самом центре Европы крохотный уголок Китая – знаменитую Бамбуковую рощу, где и живёт долгие годы отшельником.

Интересно, как подробно описана процедура гадания по «И Цзин», предпринятая отшельником по поводу желания Кнехта обучаться у него. Детальное представление об этой процедуре Гессе получил из работ Р. Вильгельма, и описание выпавшей гексаграммы в оригинальном тексте тоже дается в переводе Вильгельма: «…маг сидел теперь на полу на камышовой циновке и долго молча разглядывал листок с итогом своего гаданья.

– Это знак Мон, – сказал он. – Название этого знака “глупость молодости”. Вверху гора, внизу вода, вверху Дзен, внизу Кан. У подножья горы бьёт родник, символ молодости. А ответ такой:

Глупость молодости добивается успеха.
Не я ищу молодого глупца.
Молодой глупец ищет меня.
При первом гадании я отвечу.
Спрашивать много раз – это назойливость.
Если он будет назойлив, отвечать не стану.
Упорство на пользу…» [11. С.106].

– Этот символ, по мнению отшельника, вполне благоприятен – и Кнехт проводит в Бамбуковой роще, изучая И Цзин, несколько месяцев, которые он впоследствии назовёт «не только особенно счастливой порой, но часто и “началом своего Пробуждения”, ибо с той поры в его высказываниях часто встречается образ пробуждения…» [11. С. 107].

Следующий этапный поворот в биографии Кнехта – решение правления Ордена отправить его с дипломатической миссией в бенедиктинский монастырь Мариафельс. Ещё даже не подозревая, что «призвание в Мариафельс означает особое отличие и важный первый шаг по ступеням иерархии» [11. С. 117], Иозеф всё же решается «посоветоваться» с «И Цзин». «В “Книге перемен”, с которой,

совершив церемонию с палочками, справился Кнехт, он напал на знак Лю, что значит “странник”, с суждением: “Удача благодаря малости. Страннику на пользу настойчивость”. Он нашёл шестерку на втором месте и отыскал в книге толкование:

«Странник приходит под кров.

Его достояние с ним

Он добивается настойчивости молодого слуги…» [11. С. 123].

Знание Кнехтом «Книги перемен» и искусность в её толковании оказываются, помимо прочего, важными факторами в успехе возложенной на него миссии: настоятель монастыря сам увлечён И Цзин – и, давая ему и другим монахам уроки по великой книге, Кнехт быстро преодолевает отчуждение между собой и ими, что весьма способствует успешному выполнению его задания.

Наконец, и темой первой своей публичной игры уже в статусе Магистра Кнехт также выбирает И Цзин. «За основу построения и размеров партии […] следовало взять старую, конфуцианско-ритуальную схему китайской усадьбы, ориентировку по странам света, ворота, стену духов, соотношение и назначение построек и дворов, их связь с небесными телами, с календарем, с семейной жизнью, а также символику и правила разбивки сада. Когда-то, при изучении одного комментария к “И Цзин”, мифический порядок и значительность этих правил показались ему особенно привлекательным и милым подобием космоса и местоположения человека в мире…» [11. С. 203].

Следующий уровень «присутствия» И Цзин в тексте романа – сложный собственно-семиотический «слой», отсылающий, прежде всего, к значительному её подобию с самой Игрой в бисер. Как и Игра в бисер, И Цзин представляет собой сложную семиотическую (знаковую) систему, своего рода код, в знаках которого «зашифрован» весь универсум (как в знаках Игры в бисер «зашифрована» вся человеческая культура). Как вспоминает сам главный герой, уподобляя Игру классическому китайскому подходу: «Я вдруг понял, что в языке или хотя бы в духе Игры всё имеет действительно значение всеобщее, что каждый символ и каждая комбинация символов ведут не туда-то или туда-то, не к отдельным примерам, экспериментам и доказательствам, а к центру, к тайне и нутру мира, к изначальному знанию. Каждый переход от минора к мажору в сонате, каждая эволюция мифа или культа, каждая классическая художническая формулировка, […] – это не что иное, как прямой путь внутрь тайны мира, где между раскачиваниями взад и вперед, между вдохом и выдохом, между небом и землёй, между Инь и Ян вечно вершится святое дело…» [11. С. 96].

Эти «единство и борьба» Ян и Инь, полярность двух противоположных начал всего сущего и в то же время их стремление друг к другу – базовый принцип, разделяемый даосизмом и И Цин, в котором он принимает почти «математическое» выражение – что, вероятно, особо привлекало Гессе, ведь и в его «Игре в бисер» математика наряду с музыкой играет ведущую роль. Ян, согласно классическим подходам, представляет «мужской» принцип (его проявлениями выступают свет, день, небеса, творчество, сила), Инь – «женский» (тьма, ночь, земля, покой, пассивность, приятие). Единство Инь и Ян находит свое выражение в знаменитом символе, где две эти силы представлены черным и белым элементами, каждый из

которых, однако, включает в себя и «семя» второго элемента – символ незримого присутствия в каждом из них «зародыша» противоположной силы. В целом же весь символ являет Дао, или Тайцзи («Великий Предел», он же – «Верховный Абсолют, выход в феноменальное; Единое, или, другими словами, то, откуда произошло всё» [112. С. 7]) – то всеобъемлющее единство, в котором ни один факт или явление неотделимы от системы, от бесконечного многообразия всех существующих фактов и явлений.

«… в “И Цзин”, – утверждал Р. Вильгельм, главный «наставник» Гессе в понимании китайской Книги книг, – противоположности не есть нечто самодовлеющее, они – лишь состояния, сменяющие друг друга. Так само противостояние становится относительным. Всё дело в выборе правильного отношения. Если выбор верен, стремление к одному полюсу, подразумевающее негативное отношение к другому, сменяется свободным движением в потоке времени и переживанием противостояния в себе самом. При этом вся работа по адаптации к конфликту во внешнем мире совершается внутри…» [12. С. 8].

В «Игре в бисер» этот принцип принимает форму гегелевского концепта «единства и борьбы противоположностей». В романе он формулируется так: «Давно известно: чем острее и неумолимее сформулирован тезис, тем настойчивее требует он антитезиса»; позднее рассказчик вспоминает об определенной школе игроков в бисер, отличавшейся особым пристрастием к данному принципу в стремлении «сопоставлять, вести навстречу друг другу и наконец, гармонически сводить вместе две враждебные темы или идеи, такие, например, как закон и свобода, индивидуум и коллектив, причём большое значение придавалось тому, чтобы провести обе темы или тезы совершенно равноценно и беспристрастно, как можно чище приводя к синтезу тезис и антитезис…»[11. С. 31].

Собственно же «знаки» или «символы» (кит. гуа) И Цзин представлены тремя уровнями:

Черты (кит. яо): Ян отображается цельной чертой (–), Инь – прерванной (- -).

Триграммы, собираемые из «янских» и «иньских» черт, например: две главных триграммы, построенные только из «янских» или только «иньских» яо: ☰ – триграмма «Цянь» («Небо» или «Творящее». «Все три составляющие Цянь черты — сильные. Цянь представляет Силу и Цельность, которым присуще неуклонное стремление вперед») и ☷ – триграмма «Кунь» («Земля» или «Воспринимающее», «знак гуа, состоящий из трех прерванных черт, является противоположностью Цянь) [По: 12. С. 8].

Восемь триграмм (ба гуа), получающихся в итоге, по представлениям китайцев, охватывают всю сферу мироздания и все проявления.

Гексаграммы (как и «триграммы», это, конечно, европейское название – в китайском языке те и другие так и остаются гуа, т. е. «символами» или «знаками). Каждую гексаграмму составляют две из восьми триграмм; всего же гексаграмм, как легко подсчитать, 64, каждая имеет собственное название и относится к одному из 64 аспектов бытия в целом и человеческой жизни в частности.

Таким образом, система И Цзин представляет собой «сетку» или матрицу 8х8, которую можно «наложить» на любые факты и явления окружающего мира.

Поразительное совпадение или пока ещё не понятая нами закономерность – но, по крайней мере, два (к тому же из числа наиболее существенных) уровня физической реальности действительно могут рассматриваться в рамках подобной матрицы: неживая природа – в рамках Периодической системы Менделеева, живая – в рамках генетического кода, одинакового для всего живого на Земле.

И всё-таки абсолютизировать аналогию между «И Цзин» и «Игрой в бисер» было бы неверно». Их главное отличие следует всегда иметь в виду – поскольку оно одновременно отражает и главный идейный посыл романа, его гетевски-«фаустианский» пафос – выбор в пользу реального мира и активной практической деятельности, сделанный в итоге и гетевским Фаустом, и Иозефом Кнехтом. Игра в бисер охватывает всю сферу человеческой духовной культуры – но только лишь ее, И Цзин – всё мироздание. Не случайно признание Кнехта, что он «хочет умудриться включить в Игру систему “И Цзин”», его учитель, «китаец»-отшельник по прозвищу Старший Брат, встречает смехом: «Что ж, попробуй! – воскликнул он. – Посмотришь сам. Вместить в мир бамбуковую рощицу можно. Но удастся ли садовнику вместить весь мир в свою бамбуковую рощу, это, по-моему, сомнительно…» [11. С. 107].

Вернёмся теперь к семиотическому аспекту рассматриваемого вопроса (И Цзин в романе «Игра в бисер»). Как и положено «высшему» уровню системы, он органически включает в себя уровень более низкий, в нашем случае – сюжетно-нарративный. Действительно, практически каждый этапный поворот в жизни Кнехта, напрямую связанный с И Цзин, играет одновременно и роль сложного «знака», символа, метафоры. Метафорична встреча Кнехта со Старшим братом и весь процесс обучения у него: ведь мотив «учитель – ученик» насквозь пронизывает весь роман. Более того, в романе нет женских образов – и отображению принципа «единства и борьбы противоположностей» Инь – Ян в рамках сюжета служат не отношения мужчины и женщины, а именно отношения «учитель – ученик», «молодой – старый». С самого начала мы наблюдаем Иозефа в роли ученика, следим за развитием его отношений в этой роли с Мастером музыки, Старшим братом, с отцом Иаковом из монастыря Мариафельс, и это – идеальные, эталонные образцы отношений такого типа; постепенно Кнехт осваивает и другую роль, призвание к которой тоже чувствует с детства, – роль учителя (сначала как Магистр игры, потом как домашний учитель Тито Дезиньори). Таким образом, процитированный выше афоризм, относящийся к гексаграмме «Мон», мог бы послужить прекрасным эпиграфом ко всему роману, который не случайно относят, помимо прочих жанров – таких как «роман-утопия» или «философский роман», – и к жанру «роман воспитания».

Несколько особняком в символической системе романа стоит эпизод с Тегуляриусом, не принятым в ученики Старшим братом. Хорошо известно, что в образе Фрица Тегуляриуса были «воплощены некоторые черты духовного облика Фридриха Ницше […] и перипетии внутренней полемики Гессе с немецким философом, последовавшей за периодом юношески страстного увлечения им» [13. С. 475]. Отголоски этого страстного увлечения юноши, в комнате которого висел портрет Ницше [14. С. 64] и который писал когда-то отцу: «Я не встречал

образов более печальных, чем создал этот аристократ, обладавший необыкновенно тонкой внутренней организацией…» [Цит. по: 14. С. 119], можно найти и в «Игре в бисер»: это – знаменитая ницшевская amor fati (лат. «любовь к судьбе»), которую Гессе упоминает в связи с судьбой своего героя: «Как у всякого значительного человека, у него есть свой внутренний голос и свой amor fati; но его amor fati предстает нам свободным от мрачности и фанатизма» [11. С. 36]; и еще раз, гораздо позднее: «Помогали ему, однако, […] отсутствие у него карьеризма и уже тогда довольно сильный в нем amor fati» [11. С. 157].

Впрочем, этот мотив нельзя назвать чисто ницшеанским. Поиск «своей судьбы», «своего пути», беззаветное следование им – одна из важнейших тем во всех произведениях Гессе, в том числе и в «Игре в бисер», и в то же время это одна из важнейших тем конфуцианства и даосизма (следование естественному Дао-пути, пребывание в Дао-потоке), И Цзин (прямое соответствие между «знаком» ситуации и поведением человека в этой ситуации) – и также, last but not least, юнгианской аналитической психологии.

Ницше внес серьёзный вклад в философскую разработку темы «единства и борьбы противоположностей»; речь идет о его знаменитом трактате «Рождение трагедии из духа музыки», в котором в качестве двух главных начал античной трагедии автор выводит начала «аполлоническое» (представляющее свет и сознание и вполне сопоставимое с китайским «мужским» принципом Ян) и «дионисийское» (символизирующее мрак, экстаз, бессознательное и близкое «женскому» принципу Инь), сделав, однако, особый упор на их «борьбе» и фактически отрицая возможность их «единства». «Аполлон, как этическое божество, требует от своих меры, – утверждает Ницше, – и, дабы иметь возможность соблюдать таковую, самопознания. […] Самопревозношение и чрезмерность рассматривались как враждебные демоны не-аполлонической сферы» [15. С. 71] – т. е., уточним, сферы «дионисийской».

В более ранней прозе Гессе (особенно наглядно, пожалуй, в его сказках – таких как «Август», «Странная весть о другой звезде», «Ирис» и др.) мы ещё часто встречаем примеры по-ницшеански эмоциональной битвы между «светлым» и «темным» началами в мире и человеке.

Однако позднему Гессе, автору «Паломничества в страну Востока» и «Игры в бисер», уже нашедшему свой духовный идеал в гармонии и синтезе, этот подход абсолютно чужд. Как чужд он и китайской классике, из которой Гессе и почерпнул то самое стремление к гармонии. Потому и эпизод с Фрицем, отвергнутым Старшим братом, на первый взгляд проходной, в действительности может оказаться имеющим глубокий смысл, отражая ту самую «внутреннюю полемику» Гессе с Ницше, о которой упоминает в своих комментариях В. Д. Седельник.

«Нетрудно, – писал С. Аверинцев, – усмотреть сходство между принципом “И-цзин” и идеей гессевской “Игры”, которая также являет собой некий калейдоскоп символов»; так, каждой из шестидесяти четырёх гексаграмм «Книги перемен» «соответствует афористическая словесная формула более или менее загадочного содержания, требующая особой интерпретации (вроде тех, которые фигурируют у Гессе)» [16. С. 314].

Также несложно и «продлить» ряд аналогий, распространив его и на юнгианскую систему архетипов. Да и само увлечение Гессе китайской Книгой книг не обошлось, вероятно, без влияния все того же Юнга, написавшего в числе прочего и очень глубокий комментарий к английскому переводу немецкого перевода «И Цзин» Р. Вильгельма, с которым он, как и Гессе, был дружен. «Я, – писал Юнг в предисловии к этому переводу, – обязан Вильхельму [Так в цитируемом нами русском переводе. – О. Э.] ценнейшими разъяснениями сложной проблемы “И Цзин”, а также практического применения полученных результатов. Я и сам уже более двух десятков лет занимался этой гадательной техникой, которая показалась мне весьма интересной с психологической точки зрения, и ко времени нашей первой встречи с Вильхельмом в начале двадцатых годов я уже довольно хорошо изучил ее. Однако, несмотря на это я оказался под сильным впечатлением от работы самого Вильхельма…» [17. С. 245].

Исследователи, в том числе и отечественные, уже обратили внимание на возможность соотнесения отдельных фрагментов романа «Игра в бисер» с конкретными гексаграммами И Цзин. Так, Р. Каралашвили убедительно аргументирует, что «64-я гексаграмма “И цзин” (Вей цзи. Еще не конец) лежит в основе заключительной сцены романа – эпизода гибели Кнехта» [6]. Ю. О. Гутерман идёт ещё дальше. Она обращает внимание на структуру «Жизнеописания» Иозефа Кнехта как центральной части романа «Игра в бисер» – и, в связи с «двенадцатичленностью» этой части (состоящей из 12 глав), на возможную связь этой структуры с парными «шестичленными» гексаграммами «Книги перемен» (парность которых как раз и даёт в итоге ту же «двенадцатичленность», что позволяет указанному автору рассматривать «Жизнеописание» как «определенный структурно-тематический комплекс, по шесть глав каждый). При этом первый структурно-тематический блок (1–6 главы) соответствует 63-й гексаграмме «И-Цзин», а второй (7–12 главы) – 64-й гексаграмме» [7. С. 14].

Для иллюстрации этого подхода приведем здесь текст обеих последних гексаграмм в переводе Ю. Щуцкого вместе с краткими выдержками из его же комментариев к ним.

Гексаграмма № 63. ䷾ Цзи цзи. («Уже конец»)

«[…] процесс завершен, и предпоследняя гексаграмма называется “Уже конец” […] Но именно здесь необходимо принять во внимание другой закон, существующий в теории “Книги перемен” и состоящий в том, что всё имеет тенденцию превратиться в свою противоположность. […] Поэтому, как увидим ниже, последняя гексаграмма представляет собою полную противоположность данной. Таким образом, если весь предыдущий процесс, от первого импульса творчества и до достижения полной гармонии, которая выражена в данной гексаграмме, является тем счастьем, которое стоит в начале и которое упоминается данным текстом, то именно это счастье приводит также к необходимости полной и кардинальной смены, приводит к тому хаосу, который стоит в конце и упоминается

в данном афоризме […] Принимая всё это во внимание, можно понять текст, гласящий:

Уже конец.

Свершение.

Малому – благоприятна стойкость.

В начале – счастье. В конце – беспорядок…» [18. С. 448–449].

Гексаграмма № 64. ䷿ Вэй цзи. («Ещё не конец»)

«Ситуации разворачиваются так, что, наконец, наступает хаос, но он рассматривается не как распад созданного, а как бесконечность, возможность бесконечного творчества всё вновь и вновь. Не как нечто отрицательное выступает здесь хаос, а как среда, в которой может быть создано нечто совершенно новое […] Вот почему текст говорит:

Ещё не конец.

Свершение...» [18. С. 452–452].

Основываясь на внутреннем смысле этих парных гексаграмм, Ю. О. Гутерман делает следующее заключение: «в шестой главе (Magister Ludi) завершается процесс внутреннего саморазвития героя, его становления как личности – Кнехт вступает в должность магистра. В седьмой главе (Im Amte) начинается экстраполирование результатов этого развития вовне – деятельность Кнехта на посту Magister Ludi. Здесь же возникает и другой, абсолютно новый процесс – внутреннее стремление Кнехта покинуть Касталию, – завершившийся в двенадцатой главе романа (Die Legende) его уходом в мир.

Поскольку 63-я и 64-я гексаграммы теснейшим образом связаны друг с другом (этот факт подчеркивается их названием: Цзи цзи (Уже конец) и Вей цзи (Ещё не конец), постольку структура романа демонстрирует образ такого гармонического развития, когда завершение одного процесса предполагает новое творчество. Конец возвещает начало, являясь исходной точкой для нового цикла. Оставив Касталию, “сменив свое искусство” на другое, Кнехт переходит в противоположное качество. Вместе с тем начинается новый процесс: бывший магистр становится наставником Тито. В судьбе мальчика Кнехт играет ту же роль, что когда-то сыграл в его собственной мастер музыки. Важно подчеркнуть, что в контексте романа данный процесс выходит за рамки отдельной биографии Кнехта и является символом жизни вообще. Таким образом, микрокосмос романа соответствует представлению Гессе о структуре универсума, где взаимодействие противоположных полюсов бытия обуславливает их неразрывное Дао-единство…» [7. С. 15].

Мы привели полностью эту цитату, чтобы более наглядно продемонстрировать предложенный Ю. О. Гутерман подход. Больше того, по нашему мнению, сопоставление парных гексаграмм и «двенадцатичленного» жизнеописания Кнехта не просто само собой напрашивается, но представляет собой приём, вполне сознательно использованный Гессе при работе над романом. Однако выбор, сделанный Гутерман, не является, конечно, единственно возможным. Вызывает некоторое сомнение, в частности, сопоставление гексаграммы «Уже конец» с одним

из самых активных, динамичных и творческих периодов жизни Кнехта, с вершиной его карьеры – вступлением в должность Магистра Игры.

Мы готовы предложить собственные размышления на ту же тему, поскольку считаем, что другая пара гексаграмм ещё больше соответствует тем самым духу и букве Игры и посвящённого ей романа. Это одна из самых важных пар в «Книге перемен», а именно гексаграммы 11 и 12. Ознакомимся с ними поближе, как выше мы сделали это с гексаграммами 63 и 64 (прибавим только, поскольку здесь это необходимо для понимания, что счёт черт в гексаграммах «И Цзин» ведется снизу вверх).

Гексаграмма № 11. ☷☰ Тай. («Расцвет»)

«Пожалуй, ни в одной гексаграмме не встречается столь гармоническое соотношение основных категорий – света и тьмы, как это дается в данной гексаграмме; хотя обе силы – свет и тьма – признаются равноценными, но всё же теоретическое предпочтение отдается активной, центробежной силе света перед пассивной, центростремительной силой тьмы. […] Силе света присуще стремление ввысь, тогда как сила тьмы тяготеет вниз. Но в мире события происходят во благо лишь при гармоническом сочетании обеих сил, которые идеально предрасположены к взаимодействию. […] В данной гексаграмме вся сила света сосредоточена внизу, а сила тьмы – наверху. Поэтому, если принять во внимание указанные выше направленности их движения: света – вверх, а тьмы – вниз, то ясно, что здесь, более чем где-либо, они приходят во взаимодействие, имея самый широкий доступ друг к другу […]

Расцвет.

Малое уходит, великое приходит.

Счастье.

Развитие» [18. С. 313–314].

Гексаграмма № 12. ☰☷ Пи. («Упадок»)

«… ни в одной паре гексаграмм их противоположность не выступает столь заметно, как в данной гексаграмме и в предшествующей. Это ощущалось всегда настолько, что их названия создали идиоматическое выражение в китайском языке, соответствующее нашему “как небо и земля”, т. е. “совершенно не схожи” […] Полное несходство выражено здесь не в пространственной статике, а в динамике развития, где Расцвет и Упадок – наибольшая противоположность. Там – единение и взаимодействие сил Света и Тьмы, Неба и Земли. Здесь – полное отсутствие связи между ними: Небо (триграмма Творчество) – наверху и стремится все выше, Земля (триграмма Исполнение) – внизу и не может подняться вверх. Между ними взаимодействия здесь нет […] Афоризм данной гексаграммы – следующий:

Негодные люди упадка не благоприятствуют стойкости благородного человека.

Великое отходит, малое приходит…» [18. С. 317–318].

По отношению к истории Касталии, Ордена и Игры совпадение почти буквальное; в подтверждение приводим выдержку из письма, написанного Иозефом ближе к финалу романа: «… наша система и Орден уже перешагнули вершину

расцвета и счастья […] Мы находимся в упадке, который протянется еще, может быть, очень долго, но, во всяком случае, ничего более высокого, прекрасного и желанного, чем то, что у нас уже было, ждать не приходится, дорога ведет вниз…» [11. С. 298] [Выделено нами. – О. Э.]. Использование Кнехтом слов «расцвет» и «упадок» кажется здесь почти «синхронистичным», поскольку именно так перевёл китайские термины «Тай» и «Пи» Ю. Щуцкий – Р. Вильгельм же, например, перевел «Пи» на немецкий как «Застой», «Тупик» (Die Stockung), при этом его толкование данного знака совпадает с толкованием Щуцкого: «Небо стремится ввысь, оно поднимается; Земля движется вниз, она опускается. Разнонаправленное движение разобщает в этом знаке Небо и Землю…» [12. С. 18].

Но по отношению к жизнеописанию Кнехта нам, судя по всему, стоит заменить порядок следования гексаграмм на обратный – 12, потом 11. Как легко заметить, гексаграмма 11 в наиболее чётко сформулированной форме выражает тот самый идеал гармонии и синтеза, к которому (вдохновляясь в том числе и «Книгой перемен») так стремился Гессе. В гексаграмме же 12 можно увидеть сформулированный с той же чёткостью ницшеанский концепт непрекращающейся и бескомпромиссной борьбы «дионисийского» и «аполлонического» начал в искусстве и в жизни.

И хотя в «Игре в бисер», в отличие от более ранних произведений её автора, мы не найдем примеров противостояния по-настоящему высокого накала, диалектический конфликт присутствует, конечно, и здесь. Это тот самый конфликт, изначально заявленный в качестве ведущего мотива романа: конфликт между «игрой» как способом бегства от реальности – и стремлением к практическому познанию и преобразованию этой реальности. В романе он представлен долгой и достаточно ожесточенной дискуссией между Кнехтом, защищающим Касталию, и его оппонентом Плинио; и дискуссия эта («внутренняя история этой дружбы-вражды между Иозефом и Плинио, или этой музыки с двумя темами, или этой диалектической игры между двумя душами» [11. С. 181]) продолжается на протяжении их школьных и студенческих лет, т. е. как раз в первой половине жизнеописания Кнехта.

В последних же главах ситуация почти волшебным образом меняется, плавно «гармонизируясь»: «Нет, истинным и уж подавно образцовым касталийцем Дезиньори не стал. Но то, что Кнехт поставил себе целью, ему удалось вполне…» [11. С. 272]. Он, в частности, «завоевал Дезиньори полностью и наставил его на верный путь» [11. С. 278]. Плинио, бывший касталийский вольнослушатель, теперь посещает Касталию с удовольствием и уж, во всяком случае, без тени былой враждебности. Гораздо примечательнее, однако, метаморфоза, произошедшая с Кнехтом: рыцарь Касталии покидает её, чтобы стать домашним учителем Тито, сына Дезиньори…

И, вероятно, ещё лучше та же пара гексаграмм, в том же «обратном» порядке (12-я и затем 11-я) могла бы описать весь процесс духовной и творческой эволюции самого писателя: ницшеански-драматичное противоборство в более ранних его книгах – и тихая, мягкая, светлая гармония «Паломничества» и «Игры», о которой в тексте говорится, в том числе, и так: «Вообще партии с негативным или

скептическим, дисгармоническим окончанием были, за некоторыми гениальными исключениями, непопулярны и временами даже запрещены, и это было глубоко связано со смыслом, который приобрела для игроков в своем апогее Игра…» [11. С. 31].

Выше мы привели несколько фрагментов переводов, сделанных выдающимся советским синологом, ицзинистом и «даологом» Юлианом Щуцким. Мы в настоящей работе использовали второе издание «Китайской классической “Книги перемен”» – главного труда Щуцкого [18], в которое вошло составленное им самим собственное «Жизнеописание».

Общая структура всего издания представляет как бы инвертированную структуру «Игры в бисер». Последняя состоит из двух главных разделов: «Игра в бисер. Опыт общепонятного введения в ее историю» и «Жизнеописание Магистра игры Иозефа Кнехта» («с приложением оставшихся от него сочинений»); российское издание – из двух блоков: в первый («Вступительная часть») вошли «Жизнеописание» Ю. Щуцкого плюс еще несколько его «жизнеописаний», составленных его коллегами-китаистами, второй составил собственно перевод И Цзин – систему которой, как мы помним, Кнехт мечтал «умудриться включить в Игру».

Не меньший интерес вызывают и некоторые аналогии между обоими «Жизнеописаниями». Кнехт – талантливый ученый, музыкант, поэт, поклонник китайской культуры – в первую очередь И Цзин и даосизма, ради которых он даже выучил язык. Щуцкий «был высокоодаренной личностью, наделённой как экстраординарными научными способностями, так и большим художественным талантом, прежде всего в области музыки, живописи и поэзии» (из «Жизнеописания»: «Самое сильное увлечение в моей юности – это музыка, особенно Скрябин и позже Бах…») [18].

Помимо перевода И Цзин, перу Щуцкого принадлежат и специальные «даологические» работы «Дао и дэ в книгах Лао-цзы и Чжуан-цзы» [19. С. 329–339] и иероглифический указатель к «Дао дэ цзин». Кнехт несколько месяцев проводит в «китайской» Бамбуковой Роще, изучая И Цзин; Щуцкий 4,5 месяца, в рамках своей научной подготовки, живет в Японии в буддистском монастыре.

Но даже на фоне этих действительно любопытных аналогий между структурой двух книг и между двумя биографиями, вымышленной и реальной, совершенно особую группу составляют совпадения между текстами имеющихся в обеих книгах небольших стихотворных вставок. В «Игре в бисер» это стихи Иозефа Кнехта, в российском издании – глава «Отражение “Книги перемен” в художественной литературе», состоящая – за исключением авторского вступления и одного прозаического отрывка – из сделанных Щуцким переводов стихотворений древних и средневековых китайских поэтов, посвященных И Цзин. Ниже приведены несколько наиболее показательных фрагментов.

Мэн Цзяо. «После того как отшельник Инь объяснил “Книгу перемен”, при расставании дарю ему»:

«… С первым познанием все расторжены путы.

В думе вечерней склоняюсь к тревожному утру.

Лодке скитальца нет на волне остановки…» [18. С. 230].

Иозеф Кнехт. «Жалоба»:
«… Но нам остановиться не дано,
Найти на счастье, на беду ли дом,
Везде в гостях мы, всё для нас одно,
Нигде не сеем и нигде не жнём […]

Застыть хоть раз бы камнем, задержаться,
Передохнуть и в путь пуститься снова!
Но нет, лишь трепетать и содрогаться
Нам суждено, – и ничего другого» [11. С. 361].

Сюда же «просится» и стих Кнехта «Ступени»:
«Пристанищ не искать, не приживаться,
Ступенька за ступенькой, без печали,
Шагать вперёд, идти от дали к дали,
Всё шире быть, всё выше подниматься!..»

Цю Чэн. «Рассматриваю черты “Книги перемен” и показываю их Чжэн Дунцину»:
«В Переменах ясный смысл в образах заложен.
Но никто в одних чертах вскрыть его не сможет.
Кто не знает смысла черт, тот толкует всуе:
Точно он незримый вихрь красками рисует» [18. С. 230].

Иозеф Кнехт. «Буквы»:
«Берем перо, легко наносим знаки
На белый лист уверенной рукой.
Они ясны. Понять их может всякий,
Есть сумма правил для игры такой.

Но если бы дикарь иль марсианин
Вперился взглядом в наши письмена,
Ему б узор их чуден был и странен,
Неведомая, дивная страна,
Чужой, волшебный мир ему б открылись…» [11. С. 362].

К стихотворению Цю Чэна с очень высокой «точностью попадания» можно отнести, в частности, слова, сказанные С. Аверинцевым о сопоставленном нами с этим стихом стихотворении Кнехта: «Гессе в поэтической форме намечает ту проблему, над которой бьются многие современные западные представители философии культуры (начиная от Шпенглера до структуралистов), – проблему культуры как знаковой системы, фиксирующей свой смысл в ряде формальных

условностей и обессмысливающейся для людей, не посвященных в эти условности...» [16. С. 315].

Итак, «Игра в бисер» демонстрирует также высокий уровень синтетичности, в частности, существенное влияние древневосточных тем и мотивов, что обусловлено «индийскими корнями» Гессе; восточная проблематика выступает смыслообразующим фактором творчества, при этом влияние китайской культуры оказывается особенно значительным;

– результаты исследования позволили выделить два аспекта репрезентации «И Цзин» в романе Гессе: сходство развития сюжетной линии (внешний аспект) и сопоставимость семиотических систем указанных произведений (внутренний аспект);

– факторы этого «парадокса» – 1) «индийское» путешествие молодого Гессе, сильно его разочаровавшее; 2) личность и труды друга Гессе, выдающегося немецкого синолога Рихарда Вильгельма;

– дискуссионная проблема – ограничение рамок Игры классическими достижениями «творческих эпох» – может также объясняться влиянием китайской культуры;

– ранее уже делались попытки соотнесения содержания и/или структур И Цзин и «Игры в бисер»; так, Ю. О. Гутерман проводит аналогию между парными «шестичленными» гексаграммами № 63–64 и состоящего из 12 глав «Жизнеописания Иозефа Кнехта». Соглашаясь с таким подходом, мы пришли к выводу, что более адекватным будет рассмотрение в данной связи другой пары гексаграмм – № 11–12.

Список литературы

1. Элькан О. Б. Феномен «Говорящих» имен собственных в ономасфере немецкоязычной культуры XX века (на примере романа Г. Гессе «Игра в бисер») // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2017. – № 25. – С. 54–68.
2. Элькан О. Б. Роман Г. Гессе «Игра в бисер» как музыкально-литературный ребус // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2017. – № 28. – С. 68–82.
3. Gundert H. Malayalam and English dictionary. – Missionhaus, Mangalore–London– Basel, 1872. – 1116 p.
4. Гессе Г. Детство волшебника // Гессе Г. Письма по кругу; пер. с нем.; сост., авт. предисл. и коммент. В. Д. Седельник. Художественная публицистика. – М.: Прогресс, 1987. – С. 22–35.
5. Каралашвили Р. Г. Проблемы поэтики Г. Гессе: К типологии немецкого романа XX в. Автореф. дис. … д-ра филол. наук / Р. Г. Каралашвили. – Тбилиси, 1983. – 51 с.
6. Каралашвили Р. Г. Философские основы позднего творчества Г. Гессе. Автореф. дис. … канд. филол. наук / Р. Г. Каралашвили; Тбилис. гос. ун-т. Тбилиси, 1971. – 32 с.
7. Гутерман Ю. О. Поэтика романа Г. Гессе «Игра в бисер» в контексте философии буддизма и даосизма. Автореферат дис. ... канд. филол. наук / Ю. О. Гутерман. – Москва, 1999. – 17 с.
8. Лебедева Е. А. «Долбление и клевание», или буддизм в романе Г. Гессе «Игра в бисер» // Актуальные вопросы современной науки: сб. науч. тр. – Новосибирск: Центр разв. науч. сотруд. – 2011. – Вып. 17. – Ч. 1. – С. 174–181.
9. Нагорная Н. А. Миф о Майе в романе Г. Гессе «Игра в бисер» // Культура и текст. – 1998. – № 3. – С. 81–92.
10. Завадская Е. В. Культура Востока в современном западном мире / Е. В. Завадская. – М.: Наука, 1977. – 168 с.

11. Гессе Г. Игра в бисер. Опыт жизнеописания магистра Игры Иозефа Кнехта с приложением оставшихся от него сочинений // Гессе Г. Собрание сочинений в 8 т. – М.: Издат. группа «Прогресс» – «Литера», Харьков: Фолио, 1994. – Т. 5. ; пер. с нем. С. К. Апта. – 484 с.
12. Вильгельм Р. Понимание «И Цзин» / Р. Вильгельм, Г. Вильгельм; пер. с нем., англ. В. Б. Курносовой. – М.: Алетейа, 1998. – 208 с.
13. Седельник В. Д. Комментарии // Гессе Г. Игра в бисер. Опыт жизнеописания магистра Игры Иозефа Кнехта с приложением оставшихся от него сочинений // Гессе Г. Собрание сочинений в 8 т. – М.: Издат. группа «Прогресс» – «Литера», Харьков: Фолио, 1994. – Т. 5. ; пер. с нем. С. К. Апта. – С. 467–478.
14. Сенэс Ж. Герман Гессе, или Жизнь Мага / Ж. Сенэс, М. Сенэс; сер. ЖЗЛ. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 277 с.
15. Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Соч. в 2 т.; пер. Г. А. Рачинского Т. 1. – М.: Мысль, 1990. – 830 с.
16. Гессе Г. Игра в бисер. / Г. Гессе; пер. с нем. Д. Каравкиной и Вс. Розанова; ред. пер., коммент. и пер. стихов С. Аверинцева. – М.: Художественная литература, 1969. – 317 с.
17. Юнг К. Г. Предисловие к «И Цзин» // Юнг К. Г. О психологии восточных религий и философий. – М.: Медиум, 1994. – 256 с.
18. Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен» / Ю. К. Щуцкий. – 2-е изд., испр. и доп. под ред. А. И. Кобзева. – М.: Изд-во «Восточная литература» РАН, 1990. – 544 с.
19. Щуцкий Ю. К. Дао и дэ в книгах Лао-цзы и Чжуан-цзы // От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре: сб. ст. Отв. ред. Борох Л. Н., Кобзев А. И. – М.: Изд-во «Восточная литература» РАН, 1998. – 422 с.

Elkan O.B. Representation of the “I Ching” in the Novel by Hermann Hesse “The Glass Bead Game”// Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 174–189.

The article is devoted to the study of the influence of Eastern philosophy on the creative work of Hermann Hesse. "East" and "the game" belong to the main motives in Hesse's work. This metacharacter is especially evidently represented in the novel “Journey to the East”, usually considered as the "prologue" to the "Glass bead Game". The influence of the East is cause by the biography of the author, a long connection of his family with India. Despite this, the creative work of the writer demonstrated the most significant impact not so much of Indian as of Chinese philosophical and religious traditions. The author of the paper identified the following factors for this "paradox": 1) the disappointing journey of young Hesse to India; 2) the person and writings of a friend of Hesse, a prominent German sinologist Richard Wilhelm. First of all it concerned the most important for Hesse book – “I Ching”.
The influence of the I Ching and other ancient Chinese works on Hesse’s novel "The glass bead Game" is considered in two aspects: external (narrative) and internal (the I Ching is regarded as a semiotic system, comparable with "The glass bead game"). It was discovered that the sequence of hexagrams No. 12,11 correlated not only with the content and structure of the "Biography of Joseph Knecht", but also with the process of spiritual and creative evolution of the writer.

Key words: culture, Ancient East, I Ching, H. Hesse, “The glass bead game”, hexagram.

References

1. Elkan O.B. Fenomen «Govorjashhih» imen sobstvennyh v onomasfere nemeckojazychnoj kul'tury XX veka (na primere romana g. Gesse «Igra v biser») [The «Speaking» Proper Names Phenomenon in the Onomasphere of the German Speaking Culture of the XX-th Century (on the Example of H. Hesse's novel «The glass bead game»)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologija i iskusstvovedenie [Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History], 2017, no.25, pp.54–68.

2. Elkan O.B. Roman G. Gesse «Igra v biser» kak muzykal'no-literaturnyj rebus ["The Glass Bead Game" by Hermann Hesse as a Musical-literary Riddle]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologija i iskusstvovedenie [Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologija i iskusstvovedenie [Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History], 2017, no.28. pp.68–82.
3. Gundert H. Malayalam and English Dictionary. Missionhaus, Mangalore–London– Basel, 1872, 1116 p.
4. Hesse H. Detstvo volshebnika [Childhood magician. Letters in a circle] Trans. from German, Comp., Aut. Foreword and Comment by V.D. Sedelnik. Artistic Publicism, 1974, 123 p.
5. Karalashvili R.G. Problemy pojetiki G. Gesse: K tipologii nemeckogo romana XX v. [Problems of Poetry by G. Hesse: To the Typology of the German Novel of the Twentieth Century]. Extended abstract of doctor's thesis, Tbilisi, 51 p.
6. Karalashvili R.G. Filosofskie osnovy pozdnego tvorchestva G.Gesse [Philosophical Foundations of a Late Work by Hermann Hesse]. Extended abstract of candidate's thesis, Tbilisi, 32 p.
7. Guterman Ju. O. Pojetika romana G. Gesse "Igra v biser" v kontekste filosofii buddizma i daosizma [Poetics of the novel by Hermann Hesse "The glass bead Game" in the context of the philosophy of Buddhism and Taoism]. Extended abstract of candidate's thesis, Moscow, 17 p.
8. Lebedeva E. A. «Dolblenie i klevanie», ili buddizm v romane Gesse «Igra v biser» [Slotting and pecking", or Buddhism in the novel Hesse's "Glass bead game"]. Aktual'nye voprosy sovremennoj nauki: sb. nauch. tr. [Topical issues of modern science: collection of scientific works]. Centr razv. nauch. sotrud [Development center for scientific cooperation]. Novosibirsk, 2011, Ed. 17, P. 1., pp. 174–181.
9. Nagornaja N. A. Mif o Maje v romane G. Gesse "Igra v biser" [The myth of Maya in the novel by Hermann Hesse "The glass bead game"]. Kul'tura i tekst [Culture and text]. 1998, no.3, pp.81–92.
10. Zavadskaja E. V. Kul'tura Vostoka v sovremennom zapadnom mire [Eastern culture in the modern Western world.]. Moscow, Nauka, 1977, 168 p.
11. Hesse H. Igra v biser [The game of beads. Experience of the life of the master of the Game of Joseph Knecht with the application of the remaining works from him].Collected works in 8 volumes. Moscow, Publishing group "Progress" - "Litera", Kharkov, Folio, 1994. Vol. 5.; trans. from the German S. K. Apt, 484 p.
12. Wilhelm R. Ponimanie «I Czin» [Understanding "I Ching"] trans. from the German, Eng. V.B. Kurnosova. Moscow, Aleteya, 1998, 208 p.
13. Sedel'nik V. D. Kommentarii [Comments]. Hesse H. Igra v biser. Opyt zhizneopisanija magistra Igry Iozefa Knehta s prilozheniem ostavshihsja ot nego sochinenij [The glass bead game]. Collected works]. Moscow, Ed. Group "Progress" - "Litera", Kcharkov, Folio, 1994, pp. 467–478.
14. Senjes Zh., Senjes M. German Gesse, ili Zhizn' Maga [Herman Hesse, or the Life of a Magician]. Moscow, Jung Guard Publ., 2004, 277 p.
15. Nicshe F. Rozhdenie tragedii, ili Jellinstvo i pessimizm [The birth of tragedy, or Ellinstvo and pessimism]. Moscow, Mysl' Publ., 1990, 830 p.
16. Gesse G. Igra v biser [The game of beads]. Trans. from German D. Karavkina and Vyach. Rozanova; Ed., trans., comment. and the trans. of poems by S. Averintsev. Moscow, Hudozhestvennaja literature Publ., 1969, 317 p.
17. Jung K. G. Predislovie k «I Czin». O psihologii vostochnyh religij i filosofij [Preface to "I Ching". On the psychology of eastern religions and philosophies]. Moscow, Medium Publ., 1994, 256 p.
18. Shhuckij Ju. K. Kitajskaja klassicheskaja «Kniga peremen» [Chinese classic "Book of changes"]. Mocow, Vostochnaja literatura Publ., 1990, 544 p.
19. Shhuckij Ju. K. Dao i dje v knigah Lao-czy i Chzhuan-czy. Ot magicheskoj sily k moral'nomu imperativu: kategorija dje v kitajskoj kul'ture: sb. st. [Tao and te in the books of Lao-Tzu and Chuang-Tzu. From magical powers to the moral imperative: category te in Chinese culture: a collection of articles]. Mocow, Vostochnaja literatura Publ., 1998, 422 p.

Сведения об авторах

Антипов Г. А. – д-р филос. н., профессор кафедры философии Новосибирского государственного университета экономики и управления. E-mail: Dr-eji2@yandex.ru.

Балкинд Е. Л. – заслуженный художник Республики Крым, доцент кафедры дизайна Крымского университета культуры, искусств и туризма. E-mail: kompozicia@mail.ru.

Благовестный М. Б. – аспирант кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры Уральского федерального университета. E-mail: pelennor@mail.ru.

Габриелян О. А. – д-р филос. н., профессор, декан философского факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. E-mail: gabroleg@mail.ru.

Гандалоева М. Т. – аспирант кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета. E-mail: madina-dinzik@mail.ru.

Гросфельд Е. В. – к. полит. н., доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. E-mail: alegros@mail.ru.

Дрожецкая Е. В. – магистр направления подготовки «Философия» Российского государственного гуманитарного университета. E-mail: elena_drozheckaya@mail.ru.

Зарапин О. В. – к. филос. н., доцент кафедры философии социально-гуманитарного профиля Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. E-mail: zaraoleg@yandex.ru.

Заякина Р. А. – к. филос. н., доцент кафедры конституционного и международного права Новосибирского государственного технического университета. E-mail: raisa_varygina@mail.ru.

Зудилина Н. В. – к. филос. н., доцент кафедры философии социально-гуманитарного профиля Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Email: nadiya.z17@gmail.com.

Ислямова Э. Э. – к. полит. н., преподаватель кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. E-mail: defi77@yandex.ru.

Львов А. А. – к. филос. н., старший преподаватель кафедры онтологии и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета. E-mail: a.lvov@spbu.ru.

Новосельская В. В. – к. пед. н., министр культуры Республики Крым. E-mail: mincult@rk.gov.ru.

Суворова И. М. – к. филос. н., доцент кафедры философии и культурологии Петрозаводского государственного университета, г. Петрозаводск. E-mail: suvormih@list.ru.

Сулейменов И. Э. – д-р хим. н., канд. физ-мат. н., профессор, заведующий лабораторией наноэлектроники Алматинского университета энергетики и связи. E-mail:esenych@yandex.ru.

Фахрутдинова А. З. – д-р. филос. н., профессор кафедры государственного и муниципального управления СИУ-филиала РАНХиГС. E-mail: faamina@yandex.ru.

Шоркин А. Д. – д-р филос. н., профессор кафедры философии социально-гуманитарного профиля философского факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. E-mail: alexshorkin@mail.ru.

Элькан О. Б. – кандидат культурологии, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин Крымского университета культуры, искусств и туризма. E-mail: elkanolga@gmail.com.

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ

Антипов Г. А. Об онтологическом статусе феномена прошлого и путях его освоения…..……..…… 3

Благовестный М. Б. Некоторые аспекты этики Менегетти в их связи с нетомизмом: проблема поиска философских основ онтопсихологии…… 15

Габриелян О. А., Сулейменов И. Э. Необратимые фазовые переходы в сложных системах…….. 24

Дрожецкая Е. В. Структура воображения и восприятия как критерий их различения в работах Э. Гуссерля……. 35

Зарапин О. В. Философский диалог в контексте компаративистики…….. 45

Заякина Р. А. Реальный сетевой дизайн: статический структурный дескриптор……... 58

Зудилина Н. В. О неатрибутивности индикаторов фрактальности, связанных с хаусдорфовой размерностью…….. 66

Львов А. А. Историки философии в поиске оснований своей дисциплины: статус истории философии и историко-философская работа…… 84

Фахрутдинова А. З. Конфигурации объяснительных моделей социальных трансформаций…….. 95

ПОЛИТОЛОГИЯ

Гандалоева М. Т. Интернет-мем как избирательная технология……... 104

Гросфельд Е. В. Роль национально-культурного и этнорелигиозного

самоопределения тюркских народов в Крыму в развитии общероссийской гражданской идентичности…… 113

Ислямова Э. Э. Геополитическое значение Черноморского региона: теоретико-концептуальное измерение……. 124

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Балкинд Е. Л. Феномен объема и пространства в скульптуре…… 134

Новосельская В. В. Региональная культурная политика: организационно-технологические аспекты……. 142

Суворова И. М. Аксиосферные парадоксы отечественной культуры в период революций 1917 года…… 153

Шоркин А. Д. Антропология границы: «одежда делает монаха»……. 163

Элькан О. Б. Репрезентация «И Цзин» в романе Г. Гессе «Игра в бисер» 174

Сведения об авторах 190

Содержание 192

About the Authors

Antipov G. A. – Doctor of Philosophy, Professor of Philosophy Department of Novosibirsk State University of Economics and Management. E-mail: Dr-eji2@yandex.ru.

Balkind E. L. – Honored Artist of the Republic of Crimea, Assistant Professor of the Department of Design Crimean University of Culture, Art and Tourism. E-mail: kompozicia@mail.ru.

Blagovestniy M. B. – Graduate student of Department of the History of Philosophy, Philosophical Anthropology, Aesthetics and Theory of Culture of Ural Federal University. E-mail: pelennor@mail.ru.

Gabrielyan O. A. – Doctor of Philosophy, Professor, Dean of the Faculty of Philosophy of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. E-mail: gabroleg@mail.ru.

Gandaloeva M. T. – postgraduate at the Department of Public Policy and Public Administration, Krasnodar, Kuban State University. E-mail: madina-dinzik@mail.ru.

Grosfeld E. V. – Candidate of Political Sciences, Associate Professor at the Department of Political Science and International Relations Crimean Federal V.I. Vernadskiy University. E-mail: alegros@mail.ru.

Drozhetskaya E. V. – master's degree in Philosophy of Russian State University for the Humanities, e-mail: elena_drozheckaya@mail.ru.

Zarapin O. V. – candidate of philosophy, associate professor of the Philosophical Department of V.I. Vernadskiy Crimean Federal University. E-mail: zaraoleg@yandex.ru.

Zayakina R. A. – Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Constitutional and International Law of Novosibirsk State Technical University. E-mail: raisa_varygina@mail.ru.

Zudilina N. V. – PhD in Philosophy, Assistant Professor of the Department of Philosophy of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Email: nadiya.z17@gmail.com.

Islyamova E. E. – Candidate of Political Sciences, Lecturer at the Department of Political Science and International Relations Crimean Federal V.I. Vernadskiy University. E-mail: defi77@yandex.ru.

Lvov A. A. – PhD ('candidate of sciences') in Philosophy, Senior Lecturer at the Department of Ontology and Theory of Knowledge of Saint Peterburg State University. E-mail: a.lvov@spbu.ru.

Novoselskaja V. V. – Candidate of Pedagogical Sciences, Minister of Culture of the Republic of Crimea. E-mail: mincult@rk.gov.ru.

Suvorova I. M. – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of of Philosophy and Culturology of Petrozavodsk State University, Petrozavodsk. E-mail: suvormih@list.ru.

Suleimenov I. E. – Doctor of Chemical Sciences, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of the Laboratory of Nanoelectronics of Almaty University of Energy and Communications. E-mail: esenych@yandex.ru.

Fakhrutdinova A. Z. – Doctor of Philosophy, Professor of Siberian Institute of Management, branch RAN and PS. E-mail: faamina@yandex.ru.

Shorkin A. D. – Doctor of Philosophy, Professor of Philosophy Department of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. E-mail: alexshorkin@mail.ru.

Elkan O. B. – Candidate of Culturology, Associate Professor at the Department of Philosophy, Culturology and Humanitarian Sciences of Crimean University of Culture, Arts and Tourism. E-mail: elkanolga@gmail.com.

CONTENT

PHILOSOPHY

Antipov G.A. On the ontological status of the past, and on the ways of its development…… 3

Blagovestniy M.B. Some Aspects of Menegetti Ethics in their Relation With Neo-Thomism: the Problem of Searching for Philosophical Foundations of Ontopsychology……. 15

Gabrielyan O.A., Suleimenov I.E. Irreversible Phase Transitions in Complex Systems…… 24

Drozhetskaya E.V. The Structure of Image Consciousness and Perception as a Distinction Criterion in E. Husserl's Works…… 35

Zarapin O.V. Philosophical Dialogue in the Context of Comparative Studies 45

Zayakina R.A. Real Network Design: Static Structure Descriptor…….. 58

Zudilina N.V. On the Non-Attributiveness of the Indicators of Fractality, Related to Hausdorff Dimension……. 66

Lvov A.A. How Historians of Philosophy Substantiate Their Discipline: the Status of History of Philosophy and Historical and Philosophical Research… 84

Fahrutdinova A.Z. Configuration Explanatory Models of Social Transformation……...…… 95

POLITICAL SCIENCE

Gandaloeva M.T. Internet-meme as the Electoral Technology…….. 104

Grosfeld E.V. The Role of National Cultural and Ethnoreligious Self-Determination of Turkic Peoples in Crimean in Development of All-Russian

Civil Identity……..……..…… 113

Islyamova E.E. The Geopolitical Significance of the Black Sea Region: the Theoretical and Conceptual Dimension……..…… 124

CULTUROLOGY

Balkind E.L. Phenomenon of Volume and Space in Sculpture…… 134

Novoselskaja V.V. Regional cultural policy: organizational and technological aspects……..……... 142

Suvorova I. M. Aksiosphere Paradoxes of Domestic Culture During Revolutions of 1917…… 153

Shorkin A.D. Anthropology of the Border: "Clothes Make the Monk"…….. 163

Elkan O.B. Representation of the “I Ching” in the Novel by Hermann Hesse “The Glass Bead Game”…… 174

About the Authors ……..…….. 190

Content ……... 192